



**Григорий  
БАКЛАНОВ**

---

**ВХОДИТЕ  
УЗКИМИ  
ВРАТАМИ**

**Г. Бакланов**

**ВХОДИТЕ  
УЗКИМИ  
ВРАТАМИ**



Москва  
РИК «Культура»  
1996

**ББК 84Р7-4  
Б 19**

**Издание осуществлено при поддержке  
Комитета Российской Федерации  
по печати**

**Б 4700000000-018  
Б 59(02)-95  
ISBN 5-8334-0033-3**

© Г. Я. Бакланов, 1995 г.  
© РИК «Культура», художественное  
оформление, 1995 г.

## ВОТ И КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

Полтора месяца моей жизни я был товароведом. Контора наша, довольно странная, относившаяся то ли к Министерству лесной и бумажной промышленности, то ли еще к какому-то министерству, помещалась вблизи Большого Каменного моста, внизу, в Лебяжьем переулке. Всякое учреждение должно иметь начальника, и у нас был начальник. К восьми утра, когда мы сходились, он уже сидел за столом в распахнутой шинели с желтыми, начищенными пастой латунными пуговицами, и пылала печь. Около круглой этой металлической печи, стоявшей на железном листе, собирались шофера и грузчики и первым делом, как водится, закуривали. Шофера были мужчины, грузчики – женщины, молодые, лет по двадцать пять, по двадцать восемь, все полные, крепкие. Тогда я еще не понимал, что полнота эта не от здоровья, а от недоедания, оттого, что много едят бесполезной, небелковой пищи. С одной из них, самой красивой и по душе хорошей, жил наш начальник, отец семейства.

Печь раскалялась быстро, уже в гимнастерке становилось жарко сидеть, но он все так же не снимал шинели с плеч, а стену над ним украшала меховая офицерская ушанка, на которой оставался вмятый след от звездочки. Это были два разных человека: в шинели и без шинели. Однажды я пришел рано – сидит он в серой немаркой рубашке, сморщенный, впалогрудый, шипит что-то вкось на углу текста, резолюцию свою накладывает. Застыдась себя при постороннем, он влез в шинель с подкладными плечами, облачился, преобразился – командующий сидит над картой, планирует операцию. И жаль мне стало эту грузчицу. На каком из полей войны, каким снарядом или пулей оборвало ее безымянную судьбу? Я все эти годы ровесников моих видел и тех, кто старше, а моложе нас начали появляться на фронте уже со второй половины войны, ближе к победе. Сколько их осталось лежать в болотах, в окопах, на подступах к каждой высотке, которые мы так трудно брали и отдавали и брали вновь. Глядя теперь на этого семьянина и на нее – а она в залатанной на спине телогрейке, в растоптанных валенках, в юбке хлопчатобумажной зимой была, как королева, – я, может быть, впервые увидел другую сторону войны: поколения эдов, многие из которых и женами не побывали. А жизнь идет, жить надо.

Обычно перед рейсом машины стояли на морозе в пере-



улке, заслоняя кузовами свет в окнах, шофера и грузчицы курили вокруг железной печи, спешили накуриться. Отдельно ото всех, за столом начальник шелестел бумагами, писал на углах вкось.

— Та-ак, — произносил он наконец: без «так» ни одна его молитва не начиналась. — Та-ак...

И, глядя поверх шапок и голов, никого из нас как бы не различая в отдельности, вызывал:

— Полста двенадцатый!

Казалось ему так авторитетней — выкликать человека не по фамилии, а по номеру машины. И начинался лай. Кого наряжали ехать в Тутаево за товаром, требовал, чтобы его послали в Александров, кого в Александров, кричал, что едет в Тутаево. Были, конечно, тут свои расчеты, не могло не быть, хоть я за время службы в товароведях так и не постиг этой премудрости, но больше, по-моему, просто драли глотку. Переждав время, начальник вставал, придерживая на впалой груди борта шинели, шел к печи, нагибался, подкладывал полешко — как бы через силу и хворь, мол, глотки дерете, а полено и то без него подложить некому — и, исполнив все это, возвращался на свое место, за стол, сидеть за которым было его жизненным назначением. Наверное, чем меньше человек сам по себе, тем больше в нем эта потребность возвыситься над людьми, чтобы и смотреть на него могли только с дистанции.

Любопытно было наблюдать мирную жизнь, от которой я отвык. Никаких определенных планов на дальнейшее у меня в ту пору еще не возникало. Война кончилась, я вернулся живой, а что с собой делать, не знал и беспокойства по этому поводу не испытывал, не поселилось оно еще во мне, не гнало, не торопило, и так хорошо я себя чувствовал в жизни, как, может быть, потом уже не чувствовал никогда. Жил я совершенно один в промерзавшей до инея шестиметровой комнате, топил плиту, что-то готовил в алюминиевой кастрюле, потом она затерялась, потом наплась, недоеденная рисовая каша в ней посинела, алюминий пролегло насквозь, и мыть кастрюлю уже не потребовалось.

Комната на время досталась мне в полное мое пользование: тетка уехала в Германию к мужу, где он еще служил, сестру перевела жить к подруге, и, если я, допустим, не возвращался домой ночевать, фанерная ставня так и закрывала окно изнутри и сутки, и двое. И друзей в Москве у меня еще не завелось. Иногда мы беседовали с управдомом о жизни.

Он демобилизовался раньше, ходил, как все мы, в офи-

церской шинели без погон. В прошлом танкист, он смотрел на себя в новой своей должности, как на фронте боевые офицеры смотрят на интендантов, но для желающего и умелого должность его в то время открывала много возможностей, он знал.

Шли мы обычно в палатку в конце Пятницкой улицы, где была у него знакомая продавщица газированной воды, подходили, кивали, и она, закрасив сиропом от посторонних глаз, наливала нам под прилавком по стакану водки: почему-то, не помню уже почему, продавать водку в палатке не разрешалось. Мы выпивали, закусывали конфеткой и шли, беседовали не спеша, садились где-нибудь на лавочке посидеть, опять шли. Хороший он был мужик и тоже не знал еще, куда себя девать. После великой войны, которая вознесла нас, каждому открыла истинную его цену, хоть мы этого еще не сознавали тогда, трудно было найти в жизни место по себе, все казалось временным. Он так и не успел распорядиться собой, погиб в том же сорок шестом году, и погиб до обидного глупо.

В конторе домоуправления, откуда дверь открывалась прямо на улицу, была такая же, как у меня в комнате, плита, сложенная из кирпича, с двумя чугунными конфорками сверху. Поссорюсь с женой, выпив крепко со зла, пошел ночевать он в домоуправление, раскалил печь и заснул, как был, в шинели, спиной во сне привалясь к плите. Выскочил оттуда, из дыма, когда все горело на нем и тлело. И кто-то от большого ума ударил по нему струей из огнетушителя. Дважды горел человек в танке и жив остался, чтобы вот так погибнуть.

На похоронах билась лбом о край гроба жена, совершенно обеспамятевшая, ноги под ней подламывались. Открыто, никого не стыдясь, в голос ревела бухгалтерша – вдова, баба властная, резкая, многие вокруг зависели от нее, шли к ней с подношениями. Когда грузовик уже трогался со двора, она спешно сунула под плоскую подушечку, под холодный его затылок какие-то листки: молитву, переписанную от руки, как после я узнал. Вот так оборвалась эта судьба – война кончилась, но в людях все еще длилась.

Однако наш начальник, хилый с виду, заряжен был жить долго и утверждался в жизни. Обычно перед рейсом он структурировал меня особо, поскольку был я на этой работе человек новый и в товарах, которыми мне полагалось везти, не понимал ровным счетом ничего: «Ты не очень, понял, не очень с ними! Ты гляди-гляди, а поглядывай!.. С ними знаешь как?.. Вот именно что!..» И почему-то при этом

хмуро смотрел вслед грузчице, с которой жил. По привычке ни одну фразу он не договаривал ясно, а означать это должно было вот что: пока носят со склада и грузят тюки и ящики, мне надлежало стоять с листом бумаги и, глаз не спуская, считать, отмечать, чтобы потом все сошлось.

Девчата эти молодые, у которых вся жизнь впереди, грузили на себя прямо-таки бесстрашно. Только, бывало, спросит одна другую: «Резко тяжело?» — и несет, сомкнув за спиной руки под грузом или за угол придерживая одной рукой через плечо. И вот офицеру в недавнем прошлом стоять начальником и смотреть на них? Тут нужен был особый характер. Однажды раненая моя, бессильная рука не удержала, и перед самым кузовом машины, когда оставалось только поворотиться и спиной поддать груз вверх, тяжелый ящик съехал с меня, оборвав хлястик шинели, ударился углом и раскололся. Следы я тут во сто глаз, пока собирали, я бы не уследил. Но все сошлось. И всегда сходилось, хоть, видел я, девчата себя не обижают: спокойно вынув из-за пазухи тряпочку какую-нибудь или тоненькие чулки, разглядывают их на обратной дороге, советуются; ничего этого в ту пору было не купить.

Вот ехали однажды зимой за товаром, и шофер взял попутно пассажиров с грузом — это был его законный заработок. Чаще всего я тоже забирался в кузов, тепло было с девчатами в веселой их толкотне, но в тот раз сидел в кабине, смотрел на зимнюю дорогу перед собой и ехал бы так, ехал хоть в Тутаево, хоть в Александров, а если во Владивосток, так еще лучше.

Я не вылез из кабины, пока шофер договаривался: при этом разговоре лишний человек ни к чему. Спустя время слышно стало, как в кузове за спиной застучали по доскам, грузили что-то. Баба в коричневой шубе суетилась около чемоданов на снегу, и стоял прямо высокий человек в офицерской шинели без погон, курил, не вынимая папиросы изо рта. В круглое боковое зеркальце он виден был мне со спины, ветер полоскал полы его длинной шинели, закидывал назад рукава; я еще подумал, должно быть, шинель просто наброшена. Потом заметил мельком, как баба под спину подсаживает его в кузов.

Мотор перегревался, в кабине тепло было лицу, я задремал. Проснулся оттого, что машина стояла, слышны были громкие голоса. На этой дороге и прежде останавливали — милиция ловила спекулянтов. В таких случаях, если надо, шофер шел договариваться сам, знал как. Но что-то уж слишком долго скандальным голосом, каким скликают толпу на улице, кричала там баба:

— Ты кого трясешь? Кого трясешь?..

Я вышел.

— Выгружай! — говорил милиционер непреклонно и указывал на дорогу. Он стоял позади машины, а в кузове баба расстегивала на рослом человеке шинель, торопилась.

— Ты вот кого трясешь, гляди!

Шинель упала, человек легко спрыгнул вниз на сильные ноги в хромовых сапогах. И стал перед милиционером: китель с тремя орденами расстегнут, красная на морозе грудь, два пустых рукава повисли по бокам. Он шевельнул в них короткими, до самых плеч обрубками, рукава подпернулись навстречу.

— И ты его трясешь? А совесть у тебя осталась? — в голос разорялась баба. И слезала вниз в коричневой своей шубе мехом навверх, грузная, как медведица. — Пуцай, пуцай расстегивает чемоданы, прикажи ему! Ты ему руки дашь?..

А тот, слова не говоря, твердо стоял распахнутой грудью на ветер — на фронте он ею не чемоданы заслонял. И милиционер сдался:

— Езжай! — И рукой махнул. Руки у него были обе.

Потом мы сидели в чайной за одним столиком. Километров двадцать с небольшим отъехали и зашли в чайную, мы и прежде здесь, бывало, останавливались. Скинув с себя шубу нагретой подкладкой навверх, баба мигом смоталась к стойке, принесла сто пятьдесят граммов водки в потном граненом стакане, это она прежде всего стукнула перед ним. Я хотел помочь ему выпить, но он сам привычно зубами за край поднял стакан, вылил в себя водку, только кадык вздрагивал на вытянутом напрягшемся горле. И поставил на место. Сидел, ждал. Один глаз его заслезился, другой, с расщепленным помигивающим веком и синими порошинами вокруг, глядел грозно. Как на часах при взрыве останавливается время, так в этом его глазу, в незрячем разлившемся зрачке осталось былое, грозное, и уж, видно, до конца дней.

— С какого фронта? — подбородком снизу вверх качнул он на мою шинель.

— Третий Украинский.

— А меня... под Кенигсбергом, — глаз смигнул несколько раз кяду.

— Пехота? — спросил я.

Он гордо расширился в груди.

— Командир батальона. Комбат!

И требовательно оглянулся. За всеми столами кланялись тарелкам головы из воротников (полушубки, ватники здесь, как правило, не снимали, только шапки скидывали перед едой), дальше к стойке гуще народу, пар над людьми.



– Лизка!

Зеленая вязаная кофта замелькала меж столиками. В двух руках баба несла тарелки. Одну, с борщом и ложкой в нем, поставила для себя, другую – макароны и плоская сверху котлета – ему. Ни вилки, ни ложки там не было.

– Борща взять?

Он качнул головой резко.

– Неси еще! Ну!

Опять замелькала меж столиками, удаляясь, зеленая вязаная кофта. Я уже доел свой борщ, и ложка у меня освободилась. Я отряхнул ее над тарелкой.

– Если не брезгуешь, помогу?..

Он медленно покачал головой, как человек, знающий порядок и меру во всем.

– Не надо!

В нем разгибалось достоинство – хмелел, выпито было на старые дрожжи. И начал есть сам, губами с тарелки всасывал в себя макароны, встряхивал головой, откусывая от котлеты. Ордена его стучались о край стола, увесистей других ударялся тяжелый орден Александра Невского. Этот, младший в ряду полководческих орденов, давали не за одну смелость – представлять к нему могли за удачно проведенную операцию.

Опять вернулась баба, поставила перед ним граненый стакан, опять унеслась, привычно лезла без очереди в самую тесноту. Так же – стакан в зубах – он выпил. И даже губы, рот утереть было нечем.

– Жена? – спросил я, кивнув на тарелку с борщом, от которого еще шел пар.

Грозный глаз его глядел в упор, мешал он мне. Все тянуло в него смотреть, а не в тот, зрячий.

Он вдруг поозирался быстро.

– Достань!

И подбородком открывал борт кителя, оттягивал нетерпеливо.

– Во внутреннем кармане, там... Залезь!..

Обрубки его рук дергались в рукавах.

Я полез во внутренний карман, тоже зачем-то заозиравшись, страшно мне вдруг стало лезть под китель.

– Ну! – торопил он.

Я вынул на стол теплый от его тела бумажник.

– Раскрой! Вон фотокарточка, видишь?

И сам тянулся к ней зубами.

За обсыпавшийся уголок я вытянул из бумаг, из справок с печатями помятую фотографию: молодая женщина обняла

за плечи двух девочек, они, как зайчата, склонились с обеих сторон бантами к ее голове.

— Покажи!

Я держал фотографию перед ним, а он смотрел.

— Не вернулся я к ним. Вышел из госпиталя... не решился. Пожалел их, — обрубки его рук дернулись опять в рукавах. — Возжу вот барахло с ней, — он пнул под столом чемоданы. — Возжу!.. Чуть что, меня вперед пхает. А мне что? Могу заслонить.

Ноздри его расширились, из распахнутого кителя выставилась грудь вперед. Немного оставила ему война: один зрячий глаз, когда-то грозный, а теперь пьяный, мокрый, и сильное мужское тело.

— Прячь! —дохнул он испуганно. — Быстро!

Все само собой получилось, как будто мне что-то подсказало, я сунул бумажник ему в карман, а фотографию, как была она у меня в ладони, прижал под столом к колену. И сидел так.

— Я тебе еще раз котлету с макаронами взяла, — умильно говорила его сожительница, подойдя к столу. В одной руке она держала две мелкие тарелки со вторым, другой, зажав сверху, стаканы, в них еще полплескивалась водка, по сто граммов в каждом. Поставила на стол, утерла потное лицо. — Ладно уж, и я с тобой выпью.

— Борщ остыл, пока ходила, — грубовато бросил он, а голос был не свой, виноватый, испуганный. Женщина почувствовала что-то, взгляделась в него, в меня.

— Опять людям показывал? Опять сам глядел? А что говорил? Что обещал? Обещал ты или не обещал? Порву! Ту порвала и ету порву!

И выворачивала у него из карманов на стол, что было там, лезла под китель. На них уже смотрели от других столиков, не встречал никто. По пьяному делу всякое бывает, пропил небось деньги, а она теперь ищет по карманам. Расстегнутый — вся душа наружу, — сидел он, пока его обыскивали при людях.

Я отдал ему фотографию в туалете, куда мы пошли с ним вместе, поглубже засунул ее в бумаги. Потом помог справиться с остальными делами и даже тогда не подумал, что у этой бабы, которую, будь моя воля, избил бы, что ведь у нее тоже есть своя правота. А когда застегивал китель на этом рослом человеке, неспиряженно, с ним взглядом. Единственный его глаз смотрел неприязненно, отпихивал от себя.

Ни разу не обернувшись, он пошел, распрямив плечи, на полголовы, на голову выше многих. Нам тоже пора было ехать.

Больше я его никогда не встречал. Одни с тех пор выросли, стали взрослыми, другие давно уже успокоились. Но иногда я продлеваю судьбы, мысленно складываю их по-иному, не так, как жизнь сложила. И вижу, нет у меня права судить даже ту бабу. Когда-то и она, девочкой, клонила голову к надежному материнскому плечу, а всей ее жизни я не знаю. Но чем дольше я живу на свете, тем непостижимей для меня глубина простых слов: не судите да не судимы будете.

## БАБИЧЕВ

В нашем шестом классе «Б» был рыхлый, чем-то тяжело больной мальчик Бабичев. В этом возрасте не сочувствуют больным и слабым, образец для подражания – смелые, идеал – сильные. Когда мы гоняли мяч по полю, Бабичев стоял за воротами, издавал дрыгал ногой по воздуху и тоже кричал «мазила!». Если случалось вратарю пропустить мяч, Бабичева гнали от штанги, словно это он приносит несчастья. И уже была в классе девочка, которая ему нравилась, она стыдилась его, избегала, чтобы над ней не смеялись тоже. И вдруг стало известно: Бабичев умер, мы все поедem его хоронить.

То, что умер именно Бабичев, никого не удивило: он и так постоянно отсутствовал. И даже фактом своей смерти как бы утверждал наше бессмертие, потому что он был не такой, как мы, он был больной и постоянно болел, а мы здоровые.

На следующий день во двор школы въехало два грузовика с красными и черными полотнищами по бортам и скамейками поперек кузовов. Первым погрузился духовой оркестр. У нас в школе оркестр поголовно состоял из двоечников и второгодников. Обычно задолго до праздников их освобождали от занятий, и они, гордые своей исключительностью, сидели под лестницей и дули в трубы. И теперь, едва разместившись в грузовике, начали разногласо и не в лад дуть в трубы и вытряхивать из мундштуков слюну. А девочки сидели на скамейках в обнимку с букетами цветов.

Почему-то мы долго не выезжали со двора, из всех классов из окон смотрели на нас. Все учились, только мы не учились: у нас умер мальчик, мы едем его хоронить. Наконец выехали. И, когда мы мчались на грузовиках по городу, нам хотелось громко петь пионерские песни, но петь было нельзя, потому что по бортам машин протянуты траурные полотнища и прохожие оборачивались, а на остановках сочувственно смотрели на нас из окон трамваев. Мы сидели торжественные и грустные.

Потом, растянувшись, мы медленно шли за нашим оркестром по краю неогороженного кладбища среди берез, все в белых рубашках и пионерских галстуках, как на Первомайской демонстрации. В поле было яркое солнце и дул сухой ветер, отдувая к плечу концы наших красных галстуков, и

в задних рядах не было слышно оркестра, только звякали медные тарелки и бухал барабан. Весь откинувшись, барабанщик с огромным барабаном на животе взмахивал колотушкой, но звук опаздывал, он раздавался, когда колотушка уже отскакивала от барабана. А я шел, волновался и шептал про себя. Классная руководительница поручила мне произнести речь, мне надо было сказать, что сегодня мы хороним нашего товарища Сережу Бабичева (оказывается, его звали Сережей), которого мы все любили. Он был хорошим товарищем, и мы всегда будем помнить его. Еще надо было сказать, что болезнь помешала ему быть активным пионером, но он всегда, когда только мог... Я боялся спутать что-либо или забыть.

Классная руководительница поставила меня рядом с собой и каждый раз, когда по списку должны были вызвать очередного оратора, она тревожно подталкивала меня вперед и, наклоняясь, показывала, как и куда мне взойти, как стать, к кому повернуться лицом. Наконец директор школы вызвала меня – «А сейчас от шестого «Б» класса скажет...» – и посмотрела на меня предупреждающе строго. Я вышел, взмог, стал. Из-под ног у меня осыпалась глина, и, помню, я глянул вниз, куда скатились комья. А на другой стороне на такой же свежей насыпи стоял гроб, под который уже подсунуты были веревки.

Стараясь не смотреть туда, но боковым зрением все-таки видя, я говорил громким на ветру голосом, классная руководительница удовлетворенно кивала. Ждали под сосной оркестранты, сложив и поставив трубы на землю. Над нами была тень, и над ними была круглая тень, а в поле на солнышке текли и текли вдаль волны хлебов.

Вдруг я услышал тонкий собачий вой. За гробом стояла на коленях старая женщина в черном платке и кланялась, кланялась гробу и выла; ее подымали за плечи. А в гробу, непохожий на себя, желтолицый и строгий; с чернотой под глазами, с лиловыми пятнами от шеи к ушам, лежал маленький взрослый человек в пиджаке, в белой рубашке, причесанный, как на службу. Восковые руки его были сложены спокойно на твердом, торчащем вверх животе.

И тут что-то произошло со мной, я даже сам не знаю, как это все получилось. У меня вдруг задрожало в горле, я завсхлипывал и позорно при всех расплакался, говорил и глотал слезы. Я боялся потом взглянуть на ребят, а классная руководительница сказала, что я испортил все впечатление, что если бы она знала, если бы только она могла предположить...

Когда мы возвращались с кладбища, отец Бабичева обнял меня за плечи и вел так рядом с собой и говорил:

— Неудачный он был у нас, что сделаешь?.. Ничего теперь не сделаешь... С самого рождения знали... Все учился, старался от вас не отстать, а мы знали...

Я неловко чувствовал себя под его рукой, тяжело и горячо лежавшей на моих плечах. Старое сощуренное его лицо будто улыбалось, будто он извинялся перед нами за что-то. Для нас по дороге он начал рассказывать про первую мировую войну, на которой он был солдатом, про то, как во время войны был в Румынии. И умолкал надолго, забываясь, а я не решался снять с себя его руку. Перестав бояться, ребята окружили нас, он шел в центре класса, выше всех ростом, ласковыми, грустными глазами смотрел на нас, ровесников его сына.

— Бедно они там живут, в Румынии... Крестьяне у них совсем бедные...

И вздыхал.

Мы набились в машины, расселись на скамейках, ждали, когда наконец тронемся, а они стояли внизу, мать и отец Бабичева, очень старые оба, провожали нас от ворот кладбища, как от своих собственных ворот. И опять мы мчались по городу, все смотрели на нас, мы это чувствовали, и нам хотелось мчаться. Нас было два полных грузовика — шестой класс «Б» и школьный оркестр, — а до второй мировой войны и до нашей Отечественной, к которой мы все подрастали, и второгодники, и отличники, оставалось уже немного. Я и сейчас вижу эти два грузовика, мчащихся по городу, полных ребят, гордых тем, что на них смотрят, как они возвращаются с похорон. Людям не дано в начале жизни заглянуть в ее конец, и хорошо, что не дано, никому не надо заранее знать свою судьбу.

Бабичев умер отдельной от всех смертью, это была первая смерть в нашем классе, а класс тогда означал больше, чем поколение, такими отвлеченными категориями мы еще не мыслили. Потом началась война и длилась долго, и как-то на четвертом году войны, в конце августа, ночью, в пыльных сапогах, в ремнях, в пилотке, со звездочками на погонах, сидел я со своими солдатами на бахче, старшим над ними и очень молодой. И два румынских крестьянина в высоких бараньих шапках сидели с нами. Они что-то говорили и кивали своими шапками, и мы что-то говорили, при этом то один из них, то другой подкатывал ко мне по сухой земле арбуз, светлый ночью. Ничего мне не вспоминалось в тот момент: ни про Румынию, ни про румынских крестьян.

По праву старшего я втыкал свой нож в арбуз, и он, слабо треснув, распадался на две сахарных половины. А за бахчой во тьме стояли наши пушки, которые мы тянули сюда по горам, где и вьючные лошади оскользались; когда ветер дул с той стороны, наносило от тракторов запах керосина.

Шел сорок четвертый год двадцатого столетия, так богатого войнами. В этом столетии я прожил уже двадцать лет. Я не знал тогда и не мог знать, что из всего нашего класса, из тех ребят, что пошли на фронт, мне единственному суждено было живым вернуться с войны.

## БУРКИ

Сколько помню себя, почему-то с самого детства хотелось мне бурки. Белые фетровые, с тупыми коричневыми кожаными носами и такими же кожаными задниками. А от носка вверх и от задника вверх узкие кожаные ремешки, прошитые по всей длине. Такие высокие, выше колен фетровые бурки, дважды отвернутые — сначала вниз, а потом опять вверх, — у нас в Воронеже носили немногие, но все они как-то очень уверенно ставили ногу, твердо ступали по земле. Было время твердых людей. Возможно, они мне и нравились. Но хотелось мне бурки. Прошло много лет, прошла вся война, и вот уже после войны случилось так, что я надел специально по моей ноге спитые бурки. И даже походил в них по комнате, прошелся по полу, глядя себе на ноги.

Но прежде надо рассказать историю самих бурок. В Австрии, когда еще шли бои, один мой разведчик приволок белую фетровую полость, говорил, что нашел ее в брошенном разбитом доме, не пропадать же, мол, добру. И будто бы в этом доме жил какой-то сбежавший фашист, он даже показывал его ордена. Никогда я не притрагивался к чужим вещам, пусть они сто раз брошены. Еда — другое дело, на то война. Как-то уже после войны — стояли мы тогда в Болгарии — начальник связи нашего дивизиона, стариковатый, семейный, признался мне, когда уже было крепко выпито, что есть у него такая вещица, маленькая такая вещица, давно он таскает ее с собой, а стоит она... И назвал баснословную цену. А утром, трезвый, просил меня никому не рассказывать. С тех пор мы не могли смотреть друг на друга, он ненавидел меня за свое унижение, за то, что я знаю.

Был еще у меня телефонист, фамилию его уже не помню, законченный алкоголик. Перед войной получил он срок — десять лет. Оттуда, из лагерей, попал на фронт. Война стольких убила, а его, по сути дела, спасла. Но после войны, когда мы из Австрии двигались по железной дороге эшелонам, он где-то в Румынии, на какой-то станции исчез. Говорили, что были у него монеты или часы, не знаю. Двадцать суток, пока не пропился окончательно, он догонял свой полк не спеша. Через двадцать суток в Болгарии его судил трибунал. Поразила меня тогда его опытность. Тихий, отчужденный, стоял он перед столом трибунала, тихим голосом говорил: гражданин прокурор, гражданин на-



чальник... Не «товарищ», «гражданин» — этого он по прошлому своему опыту не забыл. А мы сидели под деревьями на скамьях, на земле — весь полк.

За двадцать суток он получил десять лет, те же десять лет, что имел перед войной, как будто между прежними десятью годами и новым сроком ничего другого у него в жизни не было. Вот эти двое. А больше ни про кого из моих бойцов ничего такого слышать не приходилось.

Правда, одно время, когда перешли границу, началось повальное увлечение, так сказать, транспортным средством — велосипедами. И те, кто мог, и такие дядьки, которые сроду велосипеда не видели, все катили по дорогам на двух колесах. Тысячи километров пройдено, а все-таки, хоть ноги и привычные, пожалеть их надо. И вот в шинелях, с вещмешками на горбу, с котелками, с лопатками на боку рулили изо всех сил. И пошли жертвы: то машина в темноте без фар врезалась в колонну, то кто-то сам налетел на машину — неумелого всегда влечет. И это в конце такой войны, когда уже казалось, домой вернется. Командир нашего полка полковник Комардин, человек непреклонный и в действиях решительный и скорый, приказал однажды свалить велосипеды в кучи, и давили их тракторами. На том кончилась в нашем полку велосипедная эпопея.

Так вот, повторю: еда — другое дело. И, конечно, оружие. В Вене видел я подземный склад, где по рельсам катались вагонетки, и была там целая стена ящиков одесского коньяка. На этом складе попались мне сыпучие такие пакетики: высыпешь в кружку с водой, зашипит, зашипит, и вот готовая газированная вода. Сознаюсь, поразили они тогда мое воображение, некоторое время мы ими забавлялись.

И другой склад был в Вене. Шел бой, когда мы ворвались в него. Железные раздвигающиеся ворота, как в цеху, стеллажи по стенам, а на стеллажах ящики с гранатами, пистолетами, все это в большом порядке, каждый пистолет, как, бывало, перед войной продавали лимоны, завернут в бумажку. Смазанные, новенькие, я разворачивал их, совал в карманы. Был я в телогрейке, в кожаной куртке и всюду, во все карманы насовал маленькие пистолеты «вальтер», то ли девять, то ли тринадцать штук — много что-то.

Мы шли улицей, дым еще не рассеялся, щебень всюду под ногами, а на углу у двери пивной стоял хозяин, толстый австриец, держал в обеих руках кружки с пивом, по многу на пальцах. Рядом с ним женщина, русская, она тоже держала кружки, улыбалась тревожно: «Его не трогайте, он не обижал». А, собственно, что нам было трогать его? Мы сду-

вали пену с кружек на свои пыльные сапоги, хозяин суетился, выносил еще, и улицы за две отсюда грохотало.

Вечером в дом, который мы заняли, набились летчики, прослышав откуда-то про пистолеты. Они предлагали за них унты, настоящие меховые унты, я гордо не желал: не желаю, и все. Почему? Уже выпито было достаточно, а главное, потому, что вот вы, летчики, выше всех, а я не желаю. А на первом этаже дома еще лежали убитые.

Все пистолеты я потом раздарил – не таскать же на себе такую тяжесть. И «парабеллум», прошедший со мной полвойны, сдал, когда демобилизовался. Но офицерский пистолетик, скорей даже дамский какой-то, с перламутровой рукояткой, к которому у меня была неполная обойма, привез с собой в Москву. И привез большой эсэсовский кинжал; этим кинжалом с одного удара я пробивал любую железную бочку из-под горючего. По молодости лет – а мне уже тогда было двадцать два года – я все не мог расстаться с оружием, война кончилась, но непривычно было без оружия, неуверенно как-то без него. В Москве тогда, по разговорам, шастали банды, «Черная кошка» объявилась, я ходил в любой час и по улице, и проходными дворами, и не так я этой «Черной кошки» опасался, как просто приятно было ощущать в заднем кармане галифе маленький пистолет. Но за холодное оружие давали тогда три года, за огнестрельное – пять лет, и кончилось тем, что кинжал я выбросил, только на фотографии остался он у меня висеть на поясе, а пистолет подарил. Куда-то я ехал, ночью на маленькой станции сел без билета в поезд, в мягкий вагон, заплатив проводнику. Он отвел меня в купе, в темноте я забрался на верхнюю полку, натянул на себя шинель и заснул. Когда проснулся утром, внизу за столиком завтракали моряки, офицеры. Позвали и меня сверху. Им я подарил свой пистолет. Не почему-либо, а просто был он мне не нужен, я уже свыкся с этой мыслью, а эти ребята – все трое – фронтовики. Но осторожное послевоенное время вступало в свои права. Когда я вынул пистолет из заднего кармана и вот так открыто отдал им, возникло вдруг отчуждение и даже подозрительность какая-то. Старший по званию забрал себе пистолет по праву старшего и, разглядывая его в крупных пальцах, говорил, будто меня уже здесь не было: «Прэдав дэ нэбудь». В Москве мы расстались, как незнакомые.

Так вот бурки, от которых я что-то далеко уклонился. Принес разведчик эту белую полость, и мне загорелось, не устоял, одним словом. По оставшейся войне возили эту полость где-то в прицепе с батарейным имуществом, а уже в

Болгарии отнес я ее сапожнику шить бурки мне и еще маленькие бурочки моему двоюродному брату, который подросток за войну: было ему пять лет, стало девять. Мне казалось, ничему он так не обрадуется, как буркам, главное, самому хотелось, как если бы мне привез старший брат.

Сапожник попался, надо сказать, непонятливый на редкость: никак не мог взять в толк, зачем шить бурки выше колен, если потом их отворачивают дважды? Проще, считал он, шить до колен. И еще сбивало это на турецкий лад покачивание головы: говорит «да», глазами, улыбкой «да», а головой качает отрицательно. Когда же «нет», согласно кивает. Всех нас это сбивало поначалу, можно себе представить, какие недоразумения возникали, например, с девушками, с «девушками».

Качали мы, качали головами каждый по-своему, и наконец он понял. А когда я пришел брать, стоят невысокие бурки, до колен, не выше. Но так они были хороши — белые, с теми самыми узенькими ремешками, кожаными тупыми носами и задниками, — что я утешился. Принес обе пары, маленькие поставил на кровать, на подушку, чтобы смотрели оттуда на меня и я на них смотрел, а большие надел. И прошелся. Я прошелся в новых бурках по школьному классу, где стояло восемь или десять наших кроватей, а на одной из них сидел капитан Лесов, Леня Лесов, двухметрового роста красавец, смуглый, с опущенными висками и мелко вьющимися черными, как у негра, волосами. Он сидел на кровати, выдвинув из-под нее чемодан, и, расставя ноги, искал в нем что-то, а я прошелся перед ним, проскрипел кожаными подошвами. Надо полагать, Леня обратил бы на меня внимание, на мои бурки, но как раз в этот момент он обнаружил под бельем пистолет, про который забыл, а у оружия вообще такое свойство: стоит взять его в руку и сразу хочется в кого-нибудь или во что-нибудь целиться. И он прицелился в меня, сидя на кровати, причем был совершенно трезвый.

— Подыми пистолет, — сказал я, прохаживаясь, не теряя все же надежды обратить его внимание на мои ноги.

— Дурашка! Он не заряжен.

А палец уже на спусковом крючке, уже прижимает его потихоньку. Неприятно это, когда черный глазок нацелен на тебя, следует за тобой.

— Подыми, — сказал я.

В последний момент все же что-то подтолкнуло его, он поднял руку над собой. И грохнул выстрел, посыпалась штукатурка с потолка. Леня Лесов сидел серый, на бритых щеках, как у мертвеца, проступила щетина.

— Он не заряжен был...

Так в тот раз никто и не полюбовался моими бурками, которые я впервые в жизни надел. А мог бы и остаться лежать в них.

Тут вскоре началась демобилизация, только этим и жили мы в те послевоенные месяцы. Леня Лесов, до войны студент третьего курса какого-то технического вуза, прекрасный волейболист, мечтал вернуться в институт, заканчивать учебу. Его оставили в армии. Комбат-шесть Старых, в прошлом паровозный машинист, спал и видел себя офицером на всю дальнейшую жизнь. Его демобилизовали одним из первых.

Стало вдруг известно, что демобилизация скоро коснется бойцов с высшим образованием, и у меня во взводе мгновенно чуть ли не половина разведчиков и связистов оказались с высшим образованием, все это удостоверялось справками, присланными из дома. Все они были хорошие ребята, но я и предположить не мог, что они такие высокообразованные.

О себе я не очень беспокоился: ограниченно годный по ранению, иными словами, не годный к строевой службе, я знал, очередь моя подойдет. Но тут командование полка осенило: я был вызван и мне, лейтенанту, предложили остаться служить на капитанской должности то ли начальника ПФС, то ли ОВС, не помню точно. Словом, предложили ведать продуктами или портянками.

А все дело — случай. Как раз незадолго перед этим повел я батарею в кино. Теперь всюду и везде солдатам полагалось ходить строем, только строем, а строй этот должен был кто-то вести. Это в бою, на фронте не равняются с товарищами ни духом, ни плечами. В мирное время основа всего — строй, даже двое идут в ногу, а один солдат на улице обязан чувствовать себя в строю и так держаться.

Отвел я батарею в кино, кончился фильм, построил. Делается это так: «Третья бат-гар-рея, станови-ись! — и вытянутой рукой указываешь от себя направление строя. Подровнял, повернул: «Ша-агом марш!»

И грянули песню.

Бывает такое настроение, когда самим хочется. Вечер теплый, южный, за парком болгарский город Пазарджик, а мы, быть может, последний раз вот так идем вместе: уже молодые прибывают служить, они сменят нас, мы разъедемся врозь после целой войны. Я и в себе, и в них почувствовал: ждут! «Запевай!» И грянули под шаг. Идут,

поют, а все на нас любят, весь город слышит, да мы и сами про себя знаем: молодцы! Другие батареи тянутся, как неживые, а мы несем над собой песню. Уже палатки забелели в темноте, плац виден, но песня не допета. Я чуть отпустил от себя строй: «И-на месте!»

Командование полка тоже шло из кино, услышало, приблизилось. Стоят в темноте, блестят орденами. И среди всех наш командир дивизиона глядит орлом: его батарея, его бойцы. Неважненький был у нас командир дивизиона. Случалось идти с ним вблизи передовой — какое уж «вблизи», если идешь в полный рост, — обязательно он зайдет так, чтобы между ним и возможной пальной пулей был ты, загораживал его собой. Все это про него знали. Но война кончилась, он расправил крылья, орлом глядит из-под лакового козырька, исключительно орлом.

Командование стояло молча на должном отдалении, я хоть и не смотрел, а видел, чувствовал спиной. И батарея чувствовала. Нельзя уронить себя, с посвистом, с гиканьем оторвали песню. Повернул строй к себе лицом, подровнял: «Смир-рна!» А у самого звонко натянулось в душе: «Молодцы! Спасибо за песню!» И слышу басовитое позади себя: «Он, оказывается, хороший офицер...» Это начался новый счет, по меркам мирного времени.

Неисповедимыми путями движется мысль начальства. Если б не этот случай, не песня, не покажи я себя в тот раз, хоть и в мыслях не было себя показывать, не пришла бы командованию идея поощрить меня: произвести строевого офицера в начальники обозно-вещевого снабжения. Я скромно поблагодарил за честь; я и вообще-то не собирался служить в армии после войны, тем более интендантом. Но еще с месяц меня продержали в полку, давали подумать.

Только в декабре ранним утром ехал я по городу на извозчике. Всю ночь шло прощание с моим взводом, с офицерами дивизиона; теперь часто прощались. Взвод, полк, город — все спало в ранний этот час, меня укачивало на рессорах пролетки, докали подковы лошади по камням. На фронт уходил пешком, возвращаюсь на извозчике.

Холодное светило солнце, синее небо, лиловые в дымке холмы. И не оставалось даже мысли, что я, наверное, последний раз в жизни вижу это вокруг себя, что никогда, быть может, не случится вновь увидеть Болгарию, город Пазарджик, где простояли мы целых полгода. Я возвращался домой. Как там, что дома, ничего этого я себе толком не представлял. Знал, что дом, в котором мы жили в Воронеже на проспекте Революции, бывшей Большой Дворянской,

разрушен, что и сам Воронеж лежит в развалинах. Где-то в Москве как-то уютятся после эвакуации двоюродная моя сестра и тетка, у которой я жил с двенадцати лет, поскольку родителей у меня с двенадцати лет уже не было. А ее старший сын Юра и мой старший брат Юра – оба двадцать первого года рождения, оба они пошли на фронт добровольно – не вернулись с войны: один погиб под Москвой, другой под Харьковом. И муж ее еще служил, от него шли письма из Германии. Я возвращался первым.

Помню, стоял в тамбуре вагона, открыв дверь наружу, словно так поезд идет быстрее, когда все мелькает перед глазами, и вместе с летящим навстречу ветром откусывал колбасу от целого круга. Мелькало все и уносилось: виноградники, холмы, поля, повозки на полевых дорогах, запряженные черными неподвижными буйволами. Поначалу удивляло нас, как здесь пахнут на буйволах: не криком погоняют, не хворостинной, а лежит на чапиге длинный тонкий шест с гвоздем на конце, им и колют буйвола в зад, а тот все равно идет не спеша, вытянув вперед слюнявую морду, положила себе на шею серые могучие рога. Вот из буйволиного мяса и была та колбаса, которую я откусывал с ветром пополам.

В Киеве поезда брали штурмом. Очереди у воинских касс выстраивались на много суток, к коменданту не пробиться – фронтовики едут, возвращаются фронтовики. И билет сам по себе ничего не значил, надо еще в поезд сесть. В этой толчее встретил я однополчан – они демобилизовались раньше, я догнал их. Они уже были опытные. Организовались, решили действовать так: подходит поезд, одного кого-нибудь мы впахиваем в вагон и туда ему передаем вещи. Главное, вещи передать, а с пустыми руками пробьемся.

И вот поезд замедляет ход, за каждым вагоном – толпа военных, бегом, не отставая, сопровождают свою дверь. Но мы действуем не в одиночку, мы держимся сплоченным ядром. Пробились к поручням, втолкнули наверх двоих, начали передавать чемоданы. Шатает толпу у дверей. Шапки, шинели, погоны. На вытянутых вверх руках проплывают вещи над головами. Вот и мой чемодан поплыл. Он приметный: скручен крест-накрест зеленым телефонным кабелем, чтоб не раскрылся. Под верхом дверного проема вижу, как встал мой чемодан торчком, качнулся и ушел в темноту. Мелькнуло на миг лицо проводника, что-то он там кричал. Ну все. А с одним вещмешком за плечами уж как-нибудь.

Когда поезд тронулся, вагон был набит битком. Прежде

всего закурили. Вещи теперь никуда не денутся: двери, окна и с той и с другой стороны закрыты, забиты наглухо. Покурили, отдышались, начали разбираться, где чье. У одного раскрылся чемодан, спешно сгребает в него на полу, мешая всем. Я еще пошутил некстати: мой не раскроется, мой если только за ручку взять и унести целиком. Но что-то действительно чемодана нет и нет. И этот уже нашел свои вещи, и этот разместился, поставил рядом с собой, а моего нет. «Не может быть, — заверяют меня. — Никуда не денется...» И я говорю: «Не может быть...» Однако нет. Спрашивают у меня, спрашивают друг у друга: «Это какой? Зеленым телефонным кабелем перекручен?» И каждый радостно, будто нашел: «Так я его видел!»

Ищут уже всем вагоном, уже ходят смотреть на меня, уже начинают сочувствовать, а это совсем плохо. Одним неловко: у них цело, у меня нет. Кто-то, наоборот, умным почувствовал себя: вот у него не пропало. И от этого всеобщего внимания себя стыдно. Ты одурачен и ты же себя стыдишься.

Сильней всех волнуются мои однополчане, кто стоял в дверях, принимал вещи: через их руки шло, они чувствуют себя ответственными. «Сейчас пойдем проводникам морды бить!» Заново перевернули весь вагон, купе проводников перевернули вверх дном, те охотно помогали. Нет нигде. И окна не открывались, и из вагона никто не выходил — и нет. А поезд разогнался, стучат, стучат колеса, Киев далеко позади, там сейчас потрошат мой чемодан, пропиивать будут. Одни с фронта едут, другие, как шакалы, перехватывают их в пути. И такое зло жжет — сюда бы их сейчас! Не вещей мне жаль, обидно, вот что. Но и вещи тоже. Бурки один раз только надел, походил по полу. А еще больше жаль мне маленькие бурочки, брату их вез. Стояли у меня на подушке, как игрушечные... И никто не поверит, что я действительно спил, хотел привезти, вез. Он сын моей младшей тетки Фриды, а она лицом и характером похожа на мою покойную мать, такая же терпеливая в жизни. Самые терпеливые ведь те, кого жизнь много обижала ни за что, а им и постоять за себя было невозможно и за них постоять некому.

До войны была у нас фотография: мама моя и она, обе в летних сарафанах сидят на большом камне, а я между ними посреди свесил худые ноги в сандалиях. Мне на фотографии столько же лет, сколько теперь брату. И назван он так же, как я, в память нашего покойного деда.

Мысленно я все уже пересчитал и вспомнил, что было в

чемодане. Сигарет было много болгарских: рассказывали приехавшие, дома папирос не достать и не купить, торгуют ими поштучно, и дороги. Вот я запасаю. Еще был первый в моей жизни костюм: офицерский китель, галифе с красными артиллерийскими кантами — тоже все это в Болгарии сшил. Еще были сапоги. И подушка была. Ее я, честно говоря, стыдился. Я купил ее на базаре на возу и сунул в чемодан, главным образом, для того, чтобы там не колыхалось в дороге.

А самое досадное, что все равно продолжаешь думать, ищешь мысленно. Ведь убедился, нет, везде обыскали, но кажется, здесь он где-то, не можешь избавиться от этого. Вижу, как мой чемодан качнулся в тамбуре на руках, словно показал себя в последний раз, и поплыл. Знать бы, что уплышет...

Спустя время полез я в вещмешок за сигаретами, куда отложил на дорогу, на первый случай, и рука наткнулась на железное, холодное, рубчатое. Это я вез брату игрушку: маленький броневичок, поразительно точная копия тех немецких броневиков, по которым мы стреляли на фронте. Вращающаяся башня, пулемет, брызжущий огнем на ходу, баки для горючего, заклепки на броне, передний, задний ход, открывающиеся люки. И цвет тот самый, и кресты на бортах, черные с белым. Но вот что самое удивительное: я хорошо помню, как клал его в чемодан, положил, придавил подушкой. И вот он в вещмешке. Странные истории случались с ним и в дальнейшем. Этим броневичком, привезенным из Вены, играл мой двоюродный брат, которому теперь уже за сорок, играл мой сын, которому сейчас двадцать пять лет. Давно он уже поломан, несколько раз я сам его выбрасывал. А недавно полез за чем-то в стеной шкаф, и рука наткнулась на колючее, холодное, железное. Как крыса в темноте, прятался он там под нижней полкой в дальнем углу, тускло поблескивая, без башни, потерявший ход, но так же четки на нем кресты и номер «WH-196». И я не удивлюсь, если мой внук будет играть им, может быть, хоть он добьет его.

Когда окончательно все разобрались в вагоне и разместились, обнаружилось, что нет нашего однополчанина, остался в Киеве, не смог сесть. А вещи едут с нами. И, поскольку в Москве слезал я один, а все ехали дальше, решено было поручить его вещи мне с тем, чтобы известить коменданта и чтобы объявлялось к поездам. Вот так с одним вещмешком и чужими вещами я возвратился домой с войны.

Замоскворечье. Незнакомый двор, в котором я никогда в своей жизни не был. Серый, обшитый тесом, даже не серый,



а черный от времени и дождей двухэтажный дом-развалюха на снегу. Угол обит ржавым железом. Снег до подоконника. В темноте сеней я потянул на себя дверь, попал в темноту, в запах керосиновой копоти. Еще дверь в стене на ощупь. Толкнул, потянул на себя. От окна, от света, который она заслонила, обернулась ко мне моя тетка Берта Григорьевна, я не лицо ее узнал, силуэт. Я стоял в шапке, в шинели, в сапогах, как мог бы стоять в двери ее сын, если бы вернулся он, а не я. Что-то она вскрикнула, заплакала, помню только, мне нужно было согнуться, чтобы обнять ее. А вещмешок на горбу не давал закрыть дверь, и уже какие-то люди, соседи толпились там, смотрели на нас. И ступить было некуда: плита, стол кухонный перед окном, топчан по стене, по другой стене кровать, изголовьем в тот самый обитый железом угол, который насквозь промерзал, а между столом, топчаном, плитой и кроватью, как в колоде, двум человекам стать негде, одному тут же надо садиться. И я сел и первым делом начал доставать из вещмешка что там было: ненужный броневик, остатки продуктов. Со всех войн всегда возвращались с подарками, а мне и подарить было нечего. Я был сейчас единственный мужчина в семье, я ехал из-за границы...

Тут я вспомнил: я же за все дни, за всю дорогу ни разу не получал по продовольственному аттестату. Печенье, хлеб, сало, сахар, консервы – это же страшно много всего. Я не стал ждать, когда вернется сестренка из музучилища, к ее приходу я хотел все уже привезти.

Какая-то озябшая личность сопровождала меня через всю Москву: он подрядился на обратном пути поднести чемодан, поскольку чемодан будет тяжелым, да я и города не знал. Он тряся с утра не от мороза, с похмелья, он жаждал и меня торопил. Мы пересаживались с трамвая на троллейбус, опять на трамвай – все это он соображал и выгадывал. Прибыли наконец, встали в очередь, достоялись. Но пункты своих долгов не помнят и не возвращают никогда: не получил – не получишь. А я этот простой закон забыл. С буханкой хлеба и двумя банками консервов в чемодане – они перекатывались там, и в них что-то булькало – я возвращался через всю Москву: с трамвая на троллейбус и опять на трамвай. Когда уже дома вскрыли банку, оказались там потроха в бульоне. Но это ли потери после того, что унесла война. Все как-то мчалось радостно, наспех. И через два дня вместе с моей сестренкой мы шли в компанию встречать Новый год. Встречали его вскладчину, и я, свалившийся в последний момент, нес свою долю под мышкой – бутылку

шампанского и колбасу, купленные в коммерческом магазине, были тогда такие магазины, где все можно было купить по дорогой цене.

Ее старший брат Юра, студент философского факультета, погиб в сорок втором году. И мой старший брат Юра, студент исторического факультета МГУ, командир орудия на фронте, погиб осенью сорок первого года. Мы еще хотели бежать к нему с моим школьным другом Димкой, нас не призывали в ту пору, и я написал ему письмо, спрашивал, как найти его часть: если воевать, так вместе. Он успел ответить. Не надеясь отговорить меня, он писал, что посоветовался с комиссаром и тот советует нам идти в училище и уж тогда, после училища... Авторитет неведомого комиссара, как ни странно, повлиял на нас. Это письмо я получил, когда Юры, по-видимому, уже не было в живых. Он не хотел, чтобы мы тоже попали в ту страшную мясорубку сорок первого года, он видел, что происходит на фронте, и сделал последнее, что мог: оттуда, с того света он спас меня. Я никогда не узнаю, как он погиб. Раненый ли погибал, или был плен и все страшные, ни с чем не сравнимые муки плена? Я только хочу надеяться, что он погиб сразу.

Нужно было время осознать, что мы, младшие, есть, живы, а их нет и это уже навсегда. Но я все еще чувствовал себя так, словно после боя вернулся, а не с войны, словно судьба еще не окончательно разделила нас.

В последние часы военного, победного сорок пятого года мы с моей младшей сестренкой, счастливые, шли по Москве, по морозу встречать Новый год.

## НАДЯ

Война кончилась, но все еще жило и мыслилось войной и ждали тех, кто уже никогда не вернется. А к миру начинали привыкать заново. В этой наставшей для всех мирной жизни надо было и мне что-то с собой делать. Я уже начал писать понемногу, скрывая ото всех, как что-то стыдное. Честолюбивые мечты не одолевали меня, но по ночам, заслонив изнутри ставней окно, я сидел и писал, зачем-то мне это было нужно. И вот решил поступать в институт, многие из тех, кто вернулся с фронта, делали так, решился и я. Однако полагалось иметь аттестат об окончании школы, а я и того не помнил, где и когда он потерялся. Все, что я возил с собой в полевой сумке — фотографии из дому, два последних письма от брата из-под Москвы, из сорок первого года, — все это пропало, когда меня ранило. Даже почерка Юриного не сохранилось, последнего, что оставалось от него.

Может быть, за Уралом, где война не сгоняла людей со своих мест, города не бомбили и не обстреливали, сбереглись там и письма с фронта, и «похоронки», и все те справки-бумажки, которые сопровождают нас по жизни, удостоверяя, что мы, это мы, а не кто другой, сохранились и пережили своих хозяев. Но в Воронеже стоял фронт, с той и с этой стороны били по городу из орудий, взрывали его, бомбили — где тут чему уцелеть? И школа не уцелела, в которой я учился, и дома нашего не было, да и города фактически не было. Поэтому установили правило: если трое учителей могут подтвердить, что ты закончил школу, получил в свое время аттестат об окончании, тебе могли выдать дубликат аттестата. Трое — это не так мало, если иметь в виду, что одни погибли на фронте, другие — в тылу от голода и болезней, а чей-то след затерялся в эвакуации... Я написал моей однокласснице Наде — так буду называть ее, она разыскала троих учителей, все трое женщины, и среди них грозный наш директор, наша учительница химии Екатерина Николаевна Попова, про которую мы не столько сочинили, сколько из знаменитого пушкинского переделали: «Товарищ, верь, взойдет она, Екатерина Николаевна, восьмой класс вспрянет ото сна, и на листках дисциплинарки напишут наши имена...» Нам это казалось необычайно остроумным.

Был где-то еще и четвертый, мужчина, он вел у нас русский язык и литературу, он уже тогда, на наш взгляд, был пожилым. Его я вижу ясно, а лица стольких близких мне

людей отдалило время, и они смутно различимы. Бывало, принесет он кипу наших контрольных работ, положит на стол. «Посмотрим, кто у нас сегодня будущишники...» И выкликает по фамилиям тех, кто «будущее» написал через «ю», чтобы они встали, а все на них посмотрели. Одной из «будущишниц», Мусе Владимировой – она была на год старше нас, на тот второй год, на который осталась сидеть в восьмом классе, – он говорил не раз: «По-настоящему фамилия твоя Володи-ми-ро-ва!» Как он это произносил! И вот рассказывали, что он во время войны служил немцам.

Поезд на разбитый воронежский вокзал прибывал утром. С немецкой полевой сумкой в руке, куда я собрал немного, что требовалось в дорогу, я вышел заранее в тамбур и поверх голов смотрел на перрон, вдоль которого мы проезжали. Там среди встречавших стояла Надя. В шерстяном платке, в ботиках, которыми она постукивала нога об ногу, она глядела растерянно. Мелькали перед лицом вагоны, окна, лица, она дергала головой вслед. Спрыгнув, скользя и раскатываясь подошвами сапог по натоштанному снегу, я бежал к ней, а она глядела мимо. Вскрикнула, когда я набежал, вспыхнула до слез, мы так с ней от души радостно обнялись и расцеловались, как уже никогда после. И весь этот день за руку, под руку, рядом ходили мы по Воронежу, приходили к нашим учителям, и всюду нам радовались. Сказать по правде, я считал, что радуются, главным образом, мне – я вернулся с фронта. Но наша учительница географии, оставшаяся после войны одинокой, уже провожая нас, прижала к себе Надю в сенях, поцеловала ее в голову, а та вспыхнула благодарно.

Обедали мы с Надей на проспекте Революции в ресторане «Бристоль». Все предвоенные годы я видел огромные окна этого ресторана из окон нашей квартиры или с балкона – мы жили как раз напротив. За кремовыми сборчатыми шторами там звучала музыка по вечерам, шла своя неведомая жизнь, а в поздний час швейцар, похожий на адмирала, распахивал двери и выталкивал пьяного, тот сразу же начинал рваться обратно. Под рестораном были магазины, их разделяла арка во двор, и там, во дворе жила Надя. А в эти магазины столько раз становились мы в очередь: за маслом, за селедками, за дешевыми конфетами вместо сахара. Обычно за маслом подымались в пять утра, давали его по четыреста граммов в одни руки, номер очереди писали чернильным карандашом на ладони. Однажды я выбил в кассе чек на семьдесят пять граммов монпансье – на сто граммов у меня не хватило. И продавец при всех добил меня словом: «Как же это ты, мальчик, высчитал?..»

В гардеробе я снял с Нади шубку, платок, она пригладила волосы на висках ладошками, обдернула тесноватые рукава платья, шепнула: «Как ты думаешь, ничего, если я ботинки не сниму?» Я шел впереди, она, робея, как школьница, следовала за мной, я пропускал ее в дверях. И вот мы сидим друг против друга в высоком холодном зале у высокого окна. Стол покрыт жесткой от крахмала холодной скатертью. Крупный снег падает за окном, я смотрю, как на той стороне он сыплется внутрь нашего дома, куда провалилась крыша, рухнули перекрытия, полы, когда-то крашенные масляной краской, столько раз мытые... На все на это, погребенное, падает снег. Он сыплется сквозь металлический остов балкона, уцелевший над пустотой. Здесь росли в деревянных ящиках повители, петунии, табаки, сильно пахли они по вечерам. А по каменной лестнице, обрушенной и заваленной щебенкой и снегом, вбежала, помню, на балкон моя сестра: «Мы с Тоней идем на фронт!..» И вот я смотрю из «Бристоля», как туда, внутрь нашего дома, падает снег, и целая жизнь, которой нет и как будто вовсе не было, у меня перед глазами.

Подошла официантка, ставя графинчик, оценивающе оглядела Надю опытным своим взглядом бывалой женщины, чуть улыбнулась мне, вроде как своему. На миг и я увидел ее глазами Надю, стесненную непривычной ресторанной обстановкой, неуверенную в себе, косы ее жиденькие крендельком на затылке, запудренные прыщики у передней волос на большом выпуклом лбу. Сколько раз я списывал у нее контрольные по математике, весь восьмой и девятый класс, пока не перешел учиться в авиатехникум.

— Помнишь, мы собирались у меня в восьмом классе? — хватается Надя за прошлое, в котором она уверенней. — А помнишь, здесь раньше стояли Михайловские часы.

Да, правда, Михайловские. Уже не помню, почему они так назывались, их еще до войны снесли, немного сегодня найдется людей на свете, которые помнят их, зеленую дощатую будку на проспекте Революции.

Я смотрел туда, где они стояли, и видел, как здесь же, у «Бристоля», на садовой скамейке я сдавал экзамен по химии нашей строгой директрисе Екатерине Николаевне. Война уже шла, но наш год все не призывали. И вдруг разнесся слух — много тогда возникало всяческих слухов, — что возмут вначале тех, кто закончил десятилетку, а я не закончил, я из девятого класса пошел в авиатехникум. Вот тогда мы со школьным моим другом Димкой Мансуровым решили, что мне надо срочно сдавать экстерном за десятый класс

— на фронт мы хотели идти вместе. И химию у меня принимали на садовой скамейке, а на другой скамейке сидел Димка, подсказывал, потом к нему сел пьяный и очень веселился. «Ты на себя посмотри! — возмущалась Екатерина Николаевна. — Нет, ты посмотри на себя и на Мансурова! Мансуров идет, я понимаю, от него прок будет. А ты что идешь?» И вот жива Екатерина Николаевна, жив я, приехал в Воронеж за аттестатом, а Димки Мансурова нет.

Однажды зимой мы шли с ним из бани по морозу и все не могли расстаться никак: то он проводит меня, то я его провожу. Мы решали, как будем жить дальше, и решили вот что: я заканчиваю авиатехникум, иду работать и помогаю ему, пока он закончит институт. Потом поступаю в институт я, а он помогает мне. Это была последняя предвоенная зима, следующей зимой или весной — не знаю точно — Дима Мансуров сгорел в танке.

Помню, как явились мы с ним на вокзал брать билеты до Смоленска — там, в районе Вязьмы или Смоленска, воевал полк, в котором мой брат был командиром орудия, мы хотели бежать к нему. Смоленск был уже взят, но разнесся слух, что наши опять освободили город. Как тогда верили слухам, как хотели верить! Дежурный по вокзалу повел нас к себе и осторожно выспрашивал: правда ли, Смоленск опять наш, откуда нам это известно? Билет нам, конечно, не дали. А через вокзал шли, шли эшелоны, в товарных вагонах, в открытых дверях стояли, сидели молодые ребята во всем военном; им повезло, они были старше нас на год, на два года. Эшелоны мчались, увозя этих молодых ребят, я вижу и сейчас, как они глядели из вагонов, я часто думаю об их судьбах.

До позднего вечера ходили мы с Надей по Воронежу, то рядом, то друг за другом по тропкам, протоптанным на тротуарах в снегу. Редко позванивали трамваи, сквозь морозные окна они освещали улицу вокруг себя и свет увлакивали с собой. Машин почти не было, на театральной площади перед уцелевшим драматическим театром с колоннами мигнул светофор и провели козу. Старик тянул ее за рога на веревке, старуха подпихивала сзади vareжками. Коза упиралась посреди площади.

Не засвеченная электрическим заревом полная луна стояла над городом, над развалинами Девичьего монастыря и светила, как в поле. Еще на моей памяти жили там в кельях монашенки, мережили на заказ простыни, батистовые носовые платки, наволочки, с великим прилежанием вышивали гладью чужие монограммы. Засыпанные снегом кирпичные

развалины напоминали издали черный силуэт согбенного монаха с посохом. И, пока мы шли, луна, светившая над ним, и монах, казалось, движутся сквозь косо летящий снег. Надя рассказывала, будто из этих развалин, когда ушли немцы из города, вылез обросший, дикого образа человек с длинными ногтями, скрывавшийся в подвалах... Много таких легенд ходило по Воронежу.

Жила Надя теперь под горой. У дощатого, засыпанного снегом забора мы долго стояли. Я распахнул шинель, полами охватил Надю, прижал к себе.

— Но ведь не любишь, — сказала она, готовая поверить. И это остановило.

Постелили мне на полу. Младшая Надина сестренка все заглядывала, выдумывая себе какое-нибудь дело, чтобы зайти: любопытно ей было, как мы сидим вдвоем на кухне, пьем чай. Засыпая, я долго еще слышал шепот за перегородкой, это мать что-то шептала Наде.

На другой день Надя провожала меня. Опять я стоял в тамбуре, поезд тронулся, я махал рукой, и перрон, и Надя в ботиках — все отдалялось в косо летящем снегу. И даже в этот момент ничего я не понимал и не чувствовал, кроме смутной вины перед ней. А ведь два дня назад она встречала здесь суженого, которого судьба сберегла для нее, но только я это понял много позже.

## БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ

Был месяц май, уже шестой день, как кончилась война, а мы все стояли в немецкой деревне: четверо разведчиков и я, старший над ними. В деревне этой, непохожей на наши, было двенадцать крепких домов, под домами — аккуратно подметенные подвалы, посыпанные песком, и там — бочки холодного яблочного сидра, во дворах — куры, розовые свиньи, в стойлах тяжело вздыхали голландские коровы, а за домами, на хорошо удобренной земле, рос хлеб. И мирное майское солнце освещало все это: и хлеб на маленьких полях, и красную черепицу крыш, и розовых свиней, и добродушно раскланивающихся по утрам хозяев. Они как-то сразу, без рассуждений перешли к состоянию мира, настолько просто, словно для этого всего только и требовалось снять сапоги и надеть домашние войлочные туфли, те самые домашние туфли, которые шесть лет назад они сняли, чтобы надеть сапоги. О войне они говорить не любили, только осуждающе качали головами и называли Гитлера: это он виноват во всем, пусть он за все и отвечает. А они сняли с себя сапоги.

На второй день мира за деревней, в хлебах, мы поймали немецкого ефрейтора. Рослый, в черном блестящем офицерском плаще с бархатным воротником, он стоял среди нас, и мы, взяв немца, впервые не знали, что с ним делать. Глядя на него, сутуло поднявшего под плащом прямые плечи, я вдруг почувствовал условность многих человеческих понятий: позавчера он был враг, а сейчас уже не враг и даже не пленный, и в то же время было еще непривычно его отпустить.

Помню июль сорок первого года. Мы отступали, и многих не было уже, но, взяв в плен немца, видя, что у него большие рабочие руки, мы хлопали его по спине, что-то пытались объяснить, как бы сочувствовали, что вот он, рабочий, и что же Гитлер сделал с ним, заставив воевать против нас. И кормили его из своего котелка. Так было в начале войны. И вот она кончилась, перед нами стоял немецкий ефрейтор, вспугнутый в хлебах, и никто из нас не мог ободряюще похлопать его по спине. Не могли мы сейчас сказать друг другу, как, наверное, говорили солдаты после прошлых войн: «Ты — солдат, и я — солдат, и виноваты не мы, а те, кто заставил нас стрелять друг в друга. Пусть они отвечают за все». Иное лежало между нами, иной мерой после этой войны измерялась вина и ответственность каждого.



Но, видимо, жители деревни и хозяин дома, в котором я стоял, не чувствовали этого. Утром, когда я, повесив на спинку деревянной кровати ремень и пистолет, завтракал, он входил с трубкой в зубах и приветствовал «герра офицера». Вначале — от дверей, но через день-другой он уже сидел у стола, положив ногу на ногу. В окно косо светило утреннее солнце, жмурясь, он посасывал трубку с черной от никотина металлической крышечкой, с удовольствием смотрел, как «герр офицер» кушает. Он тоже когда-то был молод и понимал, отчего у молодого человека по утрам такой хороший, полноценный аппетит. Сожмуренные глаза его светились добродушием. Слышно было, как во дворе бегают, звенит эмальированным подойником жена. В восемнадцать лет она уже родила ему сына и теперь, в тридцать два, никак не выглядела матерью этого длинного, на полголовы переросшего отца, худого отпрыска. Нам даже показалось вначале, что это сын не ее, а его от другого брака.

В первый же день хозяин попросил у меня разрешения уходить с женой на ночь в другую деревню к родственникам: жена у него — молодая женщина, а тут солдаты... Чтобы у меня не возникло сомнения, с нами будет оставаться сын. С нами оставалось все его имущество, коровы, свиньи, и у меня не возникало сомнения насчет причин, по которым в доме будет ночевать сын.

Они уходили, когда садилось солнце, а мальчишка до темна звенел в сараях ключами. Мы не обращали на него внимания. Собравшись во дворе, глядя на закат, разведчики негромко пели на два голоса про казака, «ускакавшего на вийноньку», и песня эта, сто раз слышанная, здесь, в Германии, щемила сердце.

Рано утром, еще по холодку, хозяева возвращались. Он шел приветствовать «герра офицера», она сразу же начинала бегать по двору, полными розовыми руками замешивала свиньям, и все горело в этих руках. Во дворе лениво грелись на солнце мои разведчики, она бегала из коровника в дом, из дома в коровник, обдавая запахом хлева, коровьего молока, жаркого пота, и, стреляя глазами, старалась на бегу мазнуть кого-нибудь подолом юбки по коленям. А когда она, уперев руки в бока, стояла в хлеву и свиньи, теснясь у кормушки и визжа, терлись о ее расставленные голые ноги, она со своими могучими бедрами, мощными формами и озабоченным лицом откормленного младенца казалась среди шевелящихся свиней памятником сытости и довольства. Хозяин же был корявый, жилистый, с худыми плечами, большими кистями рук и негаснущей трубкой во рту. Но под

расслабленной походкой, под всем этим домашним видом чувствовалась тщательно скрываемая военная выправка.

Вот так и в это утро, пока я завтракал, он сидел у стола, заводил осторожные разговоры. А я смотрел на него из-за края стакана, и до смерти хотелось домой, как будто мы не шесть дней, а сто лет уже стоим в этой чистенькой немецкой деревне, чудом оказавшейся в стороне от главной дороги войны. Было одно только приятно сегодня: во дворе ждал меня новый мотоцикл. Его утром привели разведчики, и я еще не видел его.

Мимо окна, неся перед животом мокрую дубовую кадку, прошла Магда со своим неподвижным старческим лицом и голыми по локоть железными руками. На ногах у нее были окованные солдатские сапоги с короткими голенищами. Она работала у наших хозяев с осени. В этой деревне, кажется, только для нее одной не наступил мир, как уже не могло наступить для нее будущее. Все, что было у нее, осталось в прошлом, а ей при ее железном здоровье суждено было еще долго жить.

У нее был муж. Коммунист. Его убили на митинге ножом в спину. У нее был сын, поздно родившийся, единственный. С ним она прожила вторую жизнь, уже не свою — его жизнь. Его убили в сорок четвертом году на фронте.

Заспанный командир отделения разведчиков Маргослин, в гимнастерке без ремня, босиком, подошел к ней, взялся за кадку. Она не отдавала ее из напрягшихся рук, и некоторое время, стоя посреди двора, они тянули кадку каждый к себе. Потом Маргослин легко понес ее на плече, а Магда шла сзади с темным даже в солнечный день лицом. Так они скрылись за сараем.

Я не видел ни разу, чтобы кому-то из хозяев мои разведчики старались помочь: ни хозяйке, обладавшей такими пышными достоинствами, ни мальчишке. Единственная, кого они жалели, не умея это даже объяснить, была Магда, старуха, все потерявшая на войне и работавшая на людей, которые не только ничего не потеряли, но, кажется, еще и обрели.

Я доел яичницу со сковородки, налил себе второй стакан вина. Оно было светлое, прозрачное, только что из погреба, и пустой стакан с оставшимися на нем мокрыми следами пальцев долго еще покрывался на столе холодной испариной. Потом я надел португую — хозяин почтительно присутствовал при этом, — затянул широкий офицерский ремень и, чувствуя тяжесть пистолета на бедре, надел офицерскую фуражку и вышел во двор. Даже провоевав такую войну,

человек в двадцать два года, в сущности, остается очень молодым, если могут быть важны все эти мелочи, да еще в глазах немца.

После холодного вина солнце во дворе слепило, а под окном у белой стены сверкал и лучился иссиня-черной эмалью и никелем мотоцикл. Вздрагивающего от заведенного мотора, я вывел его со двора и едва успел поставить ноги на педали, как он рванулся подо мной, и полевая дорога понеслась, стремительно раздвигаясь навстречу. Я мчался по ней вверх, к голубой стене неба, и это была правда, что кончилась война и мы — в Германии. За всех, кто не дошел сюда. Я до отказа прибавил газ и чувствовал уже только ветер на зубах и нетающий холодок под сердцем — острый холодок жизни.

За перевалом была еще деревня, и там стоял Володя Яковенко, начальник разведки другого нашего дивизиона. Тоже с четырьмя разведчиками. По каменистому подъему в лесу, помогая ногами, я взобрался на перевал, и оттуда, с оглушительным треском, стреляя из выхлопной трубы, мотоцикл ворвался в улицу. Деревья, ставни домов, палисадники — сквозь пелену слез все слилось в две остановившиеся по сторонам глаз солнечные полосы.

Впереди — развилка улиц, куча булыжника посредине. К Яковенко — направо. И в тот момент, когда я уже поворачивал, накрываясь вместе с мотоциклом, из-за дома выскочил щенок. Прямо под колесо. Все произошло мгновенно, руки сработали быстрее сознания. Я успел отвернуть, затормозил. Меня вышибло из седла, ударило о землю и еще волокно по пыли, а я хватался за нее ладонями.

Вгорячах я вскочил. У дома мальчик лет трех держал на руках щенка. Он не убегал, только с ужасом смотрел на меня круглыми глазами и изо всех сил прижимал щенка к себе.

От удара о землю у меня лопнули галифе на коленях, сквозь пыль на обожженных ладонях проступала кровь. Смятый мотоцикл лежал на куче булыжника, заднее колесо его крутилось. Я сел на камень. Ноги у меня дрожали. Я выплюнул изо рта землю. В тупом сознании прошла одна отчетливая мысль: «Вот так разбиться мог. После войны...» От Яковенко уже бежали сюда разведчики. Они доставили меня в дом по частям: отдельно меня, отдельно фуражку, которую кто-то из ребят разыскал на другой стороне улицы.

Пока с меня стягивали сапоги, Яковенко стоял рядом со стаканом водки в руке.

— Пей, — говорил он. — Кости целы? Как, ребята, целы кости?

И пальцами щупал мне голову.

— Терпишь? А здесь? Цела! Значит, можно, пей!

Когда все ушли, он сел рядом со мной на кровать. И тут только я заметил, что у него лицо больного человека. От него пахло водкой.

— Знаешь, — сказал он, — я был в концлагере. Тут, оказывается, концлагерь находился. В трех километрах отсюда. Я вчера ездил туда.

Он вытер ладонью лоб.

Я знал, что у него в сорок первом году под Киевом погиб отец, комиссар танкового батальона Яковенко. А два года спустя к ним домой пришел человек и сказал матери, что он был в плену в одном лагере с их отцом и бежал оттуда, из Германии. Отец их бежать уже не мог и просил передать семье, что жив. Мать написала об этом на фронт сыну, не зная, надеяться ли, верить?

С тех пор у Яковенко была одна тайная надежда: вот мы войдем в Германию, и он узнает об отце. И чем ближе был конец войны, тем нетерпеливее становилась эта его надежда.

Вчера впервые увидел он наконец немецкий концлагерь. Тем же путем, от ворот лагеря до крематория, которым прошли здесь сотни тысяч мучеников, шел он по земле, впитавшей их кровь. Он уже знал, что, если и был среди их навсегда исчезнувших следов след его отца, никто никогда не расскажет ему об этом.

— Там канавы такая. За крематорием. — Он вдруг сильно побледнел. — Мужик над ней. Зеленые... Я не сразу понял... Только вдруг страшно стало. Запах, наверное... Там человеческий жир, в канаве. Людей сжигали, и стекало туда...

Он раскачивался, сутуло, сжав коленями руки.

— Знаешь, — сказал он, — я на одно надеюсь: отец комиссар был. А комиссаров они в плен не брали... И потом, этот человек сказал, что в лагере фамилия отца была Яковлев. Не Яковенко, а Яковлев. Может, спутал с кем-нибудь? Мать его больше ни разу не видела.

Что я мог сказать ему? Я сказал, что это очень может быть, и даже наверное, и лично я знаю несколько таких случаев. Вот, например, в нашем полку, когда мы прорывались из окружения...

Яковенко сидел, покачиваясь, глаза его были закрыты, лицо от скул бледно, а на порозовевших висках и на лбу выступил пот.

Ночью, внезапно проснувшись, я увидел над собой на

потолке широкую тень: плечи во весь потолок и втянутую в них голову. Подперев кулаками виски, Яковенко сидел за столом, две свечи в блюдечке освещали его лицо. Услышав, что я не сплю, он в тапочках на босу ногу, в галифе, в распоясанной гимнастерке пересел ко мне на кровать.

— Мне там сказали, пепел сожженных людей на дороги вывозили. Поля удобряли пеплом.

Он потер горло. У него сохло во рту, и голос был пересохший.

— Я вернулся, спрашиваю их: «Знали про все это?» — «Никс, никс!» Не знали, говорят. Так идите смотреть! — Расширившаяся шея его налилась кровью. — Не идут. Не хотят идти. Понял? Рядом людей жгли. Пеплом удобряли землю. А они теперь хлеб жрут.

Он встал, огни свечей заколебались, тень руки метнулась по стене к полке. Взяв оттуда вещицу, Яковенко повернул ее клеймом к свету: «Видишь?» Клеймо было французское. В колеблющемся свете глядели на нас со стен, с полок вещи, вещицы, странно не подходившие одна к другой. Это были вещи из разных семей, никогда прежде не знавших друг друга, говоривших на разных языках, собранные воедино вещи людей, быть может теперь уже уничтоженных. А во дворе стояли коровы, вывезенные из Голландии, свиньи, привезенные из Дании. И в нескольких километрах отсюда — концлагерь.

Я не мог на следующий день смотреть на поля. «Пеплом удобряли землю...» Я все же не хотел верить в это. Я знал уже, как легко при желании вину одного или нескольких переносят на всех. Но молчали все. И те, кто знал, и те, кто только догадывался, и даже те, кто не одобрял.

Мы спускались под гору, и разведчик, натягивая вожжи, придерживал коней. Я лежал на сене, светило солнце, от разогревшихся коней пахло потом. Сквозь ребра фуры бежали назад поля. На рыхлой, пепельно-серой земле — молодой, чуть припыленный хлеб. Он сочно лоснился, набирая силу. И я не мог смотреть на эту землю, на этот хлеб.

В голубом идиллическом небе Германии плыли чистые, сверкающей белизны облака. Тени их невесомо скользили по земле. Мир и тишина. Но скольким людям в наступившем мире предстояло воскрешать и заново хоронить убитых, а редким счастливым — встречать похороненных!

Мы въехали в улицу, развернулись у двора, и разведчик погнал коней обратно — он торопился, — а я пошел к дому. Никого из моих ребят во дворе не было, хозяева же, едва только завидели меня, скрылись в коровнике и там быстро

шептались. Несколько раз оттуда выглядывали их взволнованные лица. Что-то в мое отсутствие произошло.

Я сел на лавку, вытянув ногу, которую больно было сгибать, хотел закурить. Но на мне были синие галифе Яковенко, а я забыл переложить в них свою зажигалку. Хозяин уже шел сюда. Я намочил палец и стал слюнявить сцарапанный на боку ремень.

Хозяин был приветливей, чем всегда. Увидев в руках моих сигарету, сразу же, но без торопливости, как доброму знакомому, поднес огонь прикурить. После этого тоже сел на лавочку — мужчина с женщиной.

Еще прикуривая, я заметил одним глазом, как пробежала в свинарник хозяйка. Лицо у нее было гневное и вместе с тем испуганное, как бы готовое к унижению. Хозяин ничего этого не замечал. Он курил трубку, и солнце освещало нас обоих на лавочке под окном. А тем временем к нам шел его сын с записной книжкой и карандашом в руках. Он остановился передо мной, держа раскрытую книжку перед глазами, словно собираясь петь, прокашлялся. Я смотрел на него снизу. Когда он заговорил, плечи его опустились, шея от волнения вытянулась.

Он говорил быстро, до меня доходил только смысл отдельных немецких слов. Но он настойчиво повторял снова и снова, и я разобрал наконец. Оказывается, в мое отсутствие кто-то из разведчиков застрелил свинью.

— Эршос, эршос! — повторял он, показывая, как это было сделано.

Через двор, блестя новой кожаной курткой, прошел враскачку Маргослин. На разведку вышел, а потому держался независимо. Мальчишка не видел его. С пятнами волнения на лице он говорил:

— Это была хорошая свинья. Она имела тридцать килограммов веса и еще могла расти. Но это уже были тридцать килограммов полноценного свиного мяса. И каждый килограмм стоит...

Он уже несколько раз сказал «костет». С детства я помнил это немецкое слово. Тогда я знал стишок: «Гутен таг, фрау Майер! Вас костен ди айер? — Ахт пфенниг. — Ахт пфенниг? Дас ист цу тоер!..» Добрая, добрая фрау Майер!

В эту войну был эсэсовский генерал Майер, палач и садист.

Подтянув ноги под лавку, упираясь в нее по сторонам тела ладонями, хозяин слегка покачивался. Костлявые плечи его поднялись, голова ушла в них. За все время он не сказал ни слова, он слушал и с закрытыми глазами кивал

дымящейся трубкой. Я глянул на его руки, пальцами охватившие доску. Это были большие рабочие руки. В их морщины и вокруг больших ногтей въелось что-то черное. Земля? А быть может, пепел?

Немец кивал дымящейся трубкой, а сын его при мне подсчитывал заново то, что уже было ими подсчитано всей семьей. Я должен был убедиться и сам увидеть, что меня здесь не обманывают, что за хорошее свиное мясо с меня возьмут по умеренной цене. У него побледнел нос и движения рук были торопливые. Близко поднеся записную книжку к глазам, он прочел фамилию того, кто застрелил свинью: «зольдат Макарушка». И посмотрел на меня. Я не сразу понял, что это, выговоренное с трудностями, чужое на слух «зольдат Макарушка» и есть Макарушка, самый молодой из моих разведчиков.

Он пришел к нам в освобожденном украинском селе, ко мне, первому встреченному им начальнику. Босой, одичавший и — по глазам видно — очень голодный, он просил, чтобы мы взяли его с собой на фронт. В селе этом его никто не знал, он появился здесь весной, когда еще не сошел снег, и был тоже бос, а сквозь рваные штаны виднелись синие от холода колени. Женщины считали его придурковатым, жалея, изредка кормили его. По той же самой причине, что укрепились за ним слава блаженного, он не был угнан в Германию.

Он сразу привык к разведчикам, но долго еще, рассказывая что-либо, говорил о нас «русские», как говорили немцы, а от них — жители оккупированных областей. Был он тихий, безобидный и теперь, когда отъехал, очень сильный физически. Не помню уже, кто первый окрестил его Макарушкой, но имя это удивительно подошло к нему, здоровому, кроткому парню, и все так звали его, а настоящего имени его никто не помнил. Однажды, когда мы вдвоем сидели на наблюдательном пункте, он рассказал мне о себе. Он был из партизанской деревни. Почти все мужчины и отец его ушли в лес, но немцы почему-то долго не трогали семьи, не мстили. Потом в одну ночь была устроена облава. Жителей согнали в школу, забили двери, а здание подожгли. Тех, кто пытался выскочить из огня, расстреливали в окнах. Там, в огне, погибла его мать. И все же, как ни внезапна была облава, многие матери успели спрятать детей. И спряталась часть жителей. Их разыскивали после по погребам, по подвалам. Ночью вели их на расстрел. Макарушка нес на руках двухлетнюю сестренку. У оврага всех выстроили. Одного Макарушка не мог простить себе: что в этот последний момент держал сестренку на руках.

— Мне б ее на землю поставить. Маленькая, затерялась бы в ногах, может, не заметили бы. Ночь ведь. А она испугалась вся, держится за меня, не оторвать. Ноготочки у нее были, так впилась вот сюда мне. — Он показал себе на шею. И я подумал тогда: сколько ни проживет он на свете, всегда будет ощущать эти впившиеся в него ноготки двухлетней девочки, всем крошечным телом почувствовавшей смерть.

«Она еще могла расти...» — сказал молодой немец о свинье, которая весила тридцать килограммов. Это была его свинья, и никто не имел права безнаказанно стрелять в нее. И отец, сидя на скамейке в домашних туфлях, кивал дымящейся трубкой: он был доволен сыном.

Я смотрел снизу на молодого немца. Ему четырнадцать лет, и голос у него еще ломается, не отвердел еще. Ему столько же, сколько было Макарушке, когда его с двухлетней сестренкой на руках повели расстреливать, когда он потом, ночью, выполз из общей могилы и уполз в лес и там один, как зверь, травами залечивал раны.

Этот в четырнадцать лет еще не изведал, почему фунт лиха, но он уже хорошо знает, во что обходится и сколько следует получить за килограмм полноценного свиного мяса. И вот со счетом в руках стоит передо мной, уверенный в своем праве предъявлять нам счет.

Вечером мы ели свинину. Хозяева фермы, как всегда в этот час, ушли, очень недовольные нами. В глаза они не смотрели, щеки хозяйки были воспалены от высохших слез. Только сын, молодой управляющий, все еще хлопотал по хозяйству.

За фермой, позади маленьких ухоженных полей, садилось в тесноте солнце, обламывая лучи об остроконечные крыши. Яркий закатный свет дрожал в прозрачном воздухе, а в комнате был уже сумрак.

Я услышал, как стукнула калитка. Потом — незнакомые, шаркающие шаги. В окно мне косо видна была часть двора. Я подождал, и человек вошел в пространство, видимое мне. Он был сильно истощен, волочил ногу, но по двору шел так, что я почувствовал: он когда-то уже бывал здесь. Дойдя до ворот свинарника, он заглянул в его темную глубину. Он не видел, что из-за поленницы дров за ним наблюдает сын хозяина. А тот выступил вперед, готовый грозно окликнуть, но тут что-то изменилось в его лице: он узнал этого человека.

Шаги слышны были уже по крыльцу. Занавеска на окне отрезала туловище, и я видел только ноги в стоптанных туфлях, подымавшиеся по ступеням. Человеку больно было



наступать на правую ногу; едва наступив на нее, он пере-  
скакивал на здоровую, а больную плашмя волочил за собой  
вверх.

Он не сразу напел ручку двери, некоторое время я слы-  
шал его тяжелое дыхание с той стороны. Наконец дверь от-  
крылась, он ступил через порог. Это был старик в серой, не  
имевшей цвета и, видимо, не своей одежде: она вся висела  
на нем. Он оглядел комнату, и опять мне показалось, что он  
уже бывал здесь когда-то.

– Здравствуйте! – сказал я из темноты простенка.

Он вздрогнул, быстро обернулся с каким-то странным  
выражением глаз. Но это не был испуг. Разглядев, кто пе-  
ред ним, он снял с головы круглую лагерную шапку:

– Дзень добжий, пан товажищ!

И, не сразу находя русские слова, помогая себе жестом,  
обвел рукой комнату:

– Той... пан Рапке есть дома? Нах хауз?

– Дома, дома. Сейчас его нет, – говорил я отчего-то гром-  
ко, словно от этого русский язык становился понятней ему,  
и тоже помогал себе жестами рук. – Но вообще он здесь.  
Хиер.

– Хиер... – повторил человек, успокаиваясь, и поблаго-  
дарил: – Дзенькую. Спасибо, товажищ.

Я выдвинул ему тяжелый дубовый стул.

– Вы садитесь.

– Дзенькую бардзо. Мне тшеба пана Рапке зобачить.

Он сел, остро обозначились худые колени. Теперь видно  
было вблизи, что это не старик, а очень замученный чело-  
век с провалившимися висками и серым бескровным ли-  
цом.

– Он придет, – сказал я.

Макарушка внес сковородку. В ней – свинина, сочная,  
зажаренная куском, и жаренная в свином сале картошка.  
Все это было горячее, шипело, пахло, и запах раздражал  
голодного человека.

Я отпустил Макарушку, выложил со сковородки поло-  
вину мяса и картошки на тарелку, подвинул ему. И увидел  
ужас в его глазах, глядевших на свинину.

– Ниц! Ниц! – он тряс головой.

– Да ешьте, ешьте, – настаивал я. – Мне сейчас еще  
принесут.

Но он слабой рукой упирался в тарелку. И я уступил,  
ничего не понимая. От неловкости я налил ему вина. Он  
поблагодарил глазами и пил жадно: ему хотелось пить. Вис-  
ки его то надувались, то западали, на руке, державшей ста-

кан, отчетливо видно было запястье — браслет из сухожильный — и кости, лучами идущие к пальцам. На заросший, большой от худобы кадык, двигавшийся вверх-вниз, смотреть было страшно.

Он закаплялся, не допив, и каплял долго, мучительно, до синевы налившись кровью. Потом, обессиленный, с выступившими слезами, долго не мог отдышаться, руки его тряслись.

— Вы здесь жили раньше? — спросил я, видя, как ему неловко за свою слабость. — Вы знаете этот дом?

Он смотрел тем взглядом, каким смотрят глухонемые, по губам стараясь понять, что им говорят.

— Вы не понимаете по-русски?

— Так, так, — кивал он. — Розумию. Помалу.

— Я говорю, вы здесь жили?

— Так, — сказал он. И отрицательно покачал головой.

Мне вдруг показалось, что он не вполне разумен: такие у него были глаза. Он опять оглядел комнату.

— Поляк, — сказал он. И посмотрел на меня. Потом повторил: — Поляк, — объясняя этим свое положение здесь, положение человека, силой угнанного в Германию.

— Моя жена... Ма женка була тутай. Тут. — Он указал на окно на коровник. Поднять руку ему стоило усилий. — И сын муй... Когда сын уродил...ся и закричал, жена заслонила ему уста. Так, — он зажал себе рот рукой. И, когда худая рука его закрыла половину лица, глаза стали больше, в них было страдание. — Чтоб ниц не слухал! Але сховать можна тылько мертвего. Тылько мертвего... Раз она кормила его грудью, млеким... До обора, — видя, что я не понял, он показал на коровник, — туда, до обора вшед немец. Ниц не жекл. Ниц не говори! Тылько посмотржел на дзецко, на сына, як его карми млеким. Вона не могла объяснить, як посмотржел, тылько плакала и држала... дрожала, когда то мовила. Цо моглем зробиц? Цо? Працовалем у другого нимца о там, в тамтей деревне, але цо моглем зробиц? Былем безсильны...

Серые сухие губы его, словно занемевшие от холода, шевелились медленно. В ранних сумерках свет окна стеклянно блестел в его остановившихся глазах, взгляд их был обращен внутрь.

— Теперь я вижу, як он посмотржел. Он, господаж, давал ей есць, цоб могла працовать, а хлопчик брал ее сил... После того она ховала хлопчика, як шла в поле. Муви, цо услыжала його кжик... крик. Але я мысло, тот кжик она всякий час мала в сердце. Она бегла с поля и слухала, як хлопчик, наше

дзешко кжичало. Немец во дворе запрягал коней. И свиарник, – он показал рукой, не найдя слова. – Доска... Понимаешь?

– Доской приперт? Закрыт снаружи?

– Так. Она чула, она открыла.. Когда вшед туда, много сви-ней. Когда...

Он опять показал руками, и я догадался:

– Распихала свиней?

– Так. Так... Там увидзела нашего хлопчика. От того часу видзела тьлько то. Кагда зовсим разум ее помешался и больше не могла працовать, немец взял ее за руку и одиравадзил в гору до обозу... До лагерю, понимаешь? Там було крематориум. Не ведзала, докуд ее проводзоно... Докуд ее ведут. И то було ее сча-стье.

В сумерках лицо его было почти неразличимо, только тени вместо щек и блестели глаза в глубоких глазницах. Слышно было, как во дворе на два голоса тихо поют разведчики.

– Полтора роки быдем в лагерю и дожил. Абы прийти ту-тай...

Я вспомнил, как мальчишка, сын хозяина, смотрел на поля-ка из-за дров. Я подошел к окну, крикнул Маргослина. Песня оборвалась, слышно было, как, приближаясь, скрипела кожаная куртка. Маргослин остановился под окном, подняв лицо вверх.

– Приведи сюда мальчишку, – сказал я.

Опять в сумерках заскрипела кожаная куртка. Слышны были голоса, шаги во дворе, за сараями, вокруг дома.

Было уже совсем темно в комнате, только светились два окна в стенах и в темном углу – зеркало.

– Там комора. Така велька комора... камера. Вот этими ру-ками зроблена.

Он показал свои руки и сам посмотрел на них.

– Туда людзей загоняли. И жены, и деци. Деци с забавка-ми... З игрушками... Им говорили – там есть баня. И людзи шли. И деци. Там, – он показал на потолок, – тако оконко. Туда пускали газ. Газ... И моя Катажина не ведзала, докуд ее ведут, и то було ее счастье... Така млада. Она тут. И татем. В той земле. Везде.

И я опять увидел мелькнувшую в его глазах искорку безу-мия. И в то же время он был в полном рассудке.

На всякий случай я спросил, знает ли он деревню, куда ух-одит ночевать хозяин, и сможет ли идти с нами. И теперь мы сидели молча и ждали.

Наконец вернулся Маргослин. Мальчишки нигде не было, как я и ожидал.

Вчетвером – поляк, Маргослин, Маракушка и я – шли мы через лес. Луна, поднявшись наполовину, никак не могла вы-

рваться из расщелины горы. Она была огромная, медно-оранжевая, а гора перед ней – черная. Наконец, оторвавшись, она стала быстро подниматься вверх, вправо, все уменьшаясь. И когда стояла высоко, в белом свете ее, таинственно изменившем ночной мир, увидели мы деревню: синеватые стены домов, мокрый скат черепичных крыш, в темных окнах – переливающиеся стекла. Мы шли задрами. От дворов тянуло сонным, застойным теплом хлева, мочой, а снизу – свежей сыростью: там, под нависшими кустами, блестел по камням черный ручей. К нему вели вниз мокрые от росы каменные ступени.

Двое взяли дом и сарай под наблюдение, двое тихо вошли во двор, пустой и словно выметенный под лунной. По деревянной лестнице мы поднялись на сеновал, собака внизу, охрипев от лая, кидалась с цепи, валившей ее на спину. Но ни в одном окне не зажегся свет, ни одна дверь не открылась.

На сене, белея в темноте, лежали рядом две перины. В них еще остались вмятые следы тел. Мы ощупали светом фонариков все углы наверху в сарае, в доме, во дворе. Тех, кого мы искали, не было нигде. Их не было и назавтра. Позже мы узнали, что они ушли на Запад. Все трое.

Жители говорили, что это были очень нехорошие люди. Некоторые говорили даже, что он был нацист. Или брат его был нацист. Все это они говорили теперь.

– Что же вы раньше молчали?

Они пожимали плечами:

– Мы боялись...

Одна только Магда не говорила о них ни хорошего, ни плохого. Она вообще не разговаривала. Еще несколько дней она приходила, как всегда, рано утром, задавала корм свиньям, подметала двор, доила коров – несла свои обязанности, исполнение которых механически привязывало ее к жизни. И надоенное молоко стояло во всех бидонах и кисло.

Наверное, и сейчас наши бывшие хозяева вспоминают те майские дни как черные дни своей жизни. Тогда мальчишке было четырнадцать лет, и голос у него еще ломался. У многих тогда ломался голос. Сейчас он окреп.

А в те первые, считанные дни мира стоял передо мной четырнадцатилетний худой немец со счетом в руках. Я вижу его и сейчас – с побледневшим носом, с пятнами волнения на лице. Его не интересовало прошлое, он ничего не хотел о нем знать, он хотел получить за свинину. И он был уверен в праве предъявлять счет.

## ПОМНЮ КАК СЕЙЧАС...

В бытность свою на фронте Трофимыч брил и стриг командующего. До этого, в пехоте, он был ранен, попал в госпиталь, здесь кто-то узнал, что он парикмахер высокого класса, и судьба улыбнулась ему. Свою прежнюю службу он забыл, словно ее и не было, а эту помнит с восторгом, и, как только начинает вспоминать, вновь он Трофимыч – командующий так звал его. Мы с одного фронта, когда теперь случается сесть к нему в кресло, он спрашивает:

– Вы Алгасова помните? Знали?

– Нет.

– Генерал-лейтенанта Вознюка?

– Нет.

Он направляет на меня ухо, оттопыренное ладонью.

– Как?

Накрытый простыней по шею, я сижу перед зеркалом. И за спиной в полстены зеркало. И зеркало отражается в зеркале, и в этом уходящем в бесконечность коридоре зеркал вновь и вновь отражены Трофимыч и я, все уменьшающиеся: он, в белом халате, нацелил на меня ухо из-за спинки кресла, я качаю головой, и все мои отражения в зеркалах качают головой, с которой уже часть волос снята.

– Нет! Не знал!

Простыню, которой я накрыт, Трофимыч вынимает из особого шкафчика, раздергивает в руках, взмахивает ею: свежая, исключительно из уважения ко мне вынута. Конечно, я вижу на ней короткие волосы от прежних стрижек, знаю, что после меня он стряхнет ее, тщательно уложит, чтобы вновь кому-то показать особое свое уважение.

– Не понимаю, как вы могли не знать Вознюка? Вы артиллерист?

Я киваю: артиллерист.

– Генерал-лейтенант Вознюк! – настаивает Трофимыч.

– Зам командующего артиллерией фронта

И ждет с ножницами над моей макушкой, смотрит на меня. Если брать его последнюю службу, мы находились с ним у разных концов одной и той же подзорной трубы, а она, как известно, в одну сторону увеличивает, в другую сильно уменьшает. До генерал-лейтенанта, которому Трофимыч ежеутренне мылил щеки и брил, а под конец войны и жене его укладывал волосы, от нас дотуда было высоко и далеко.

В сорок втором году на Северо-Западном фронте, где стояли мы в долгой обороне, один из огневиков нашей батареи пошел по малину в лес с двумя котелками и после рассказывал, что видел маршала. Будто возвращается он, смотрит, «эмка» стоит на дороге. Если сравнивать, тогдашняя «эмка» в иерархии автомобилей занимала место нынешней «Волги». И вот стоит она на дороге, а возле нее военные в комбинезонах. Но хоть и в комбинезонах, как танкисты, однако видно сразу – начальство. И таково свойство начальства, что – виноват ты, не виноват – попался на глаза, сразу все свои грехи припоминаешь. Особенно если в этот момент делом не занят – дело солдата оправдывает. Перехватив оба котелка в одну руку, он поприветствовал их героически, и тут самый рослый спрашивает строго: кто таков? откуда? малину кому несет? А маршалу можно? Оказалось, у машины стоял сам лично маршал Тимошенко, за чем-то прибывший на наш фронт. Боец сделался знаменитым, все его расспрашивали, как он маршала угощал малиной, вызывали даже в штаб полка рассказать, и вся наша батарея чувствовала себя отличившейся.

– Но генерал-полковника Неделина вы знали, конечно? Помните?

Сказать, что и командующего артиллерией фронта я ни разу в глаза не видал, это уж совсем огорчить Трофимыча. Да и не поверит он, чего доброго, усомнится, был ли я там вообще.

У командующего артиллерией фронта в подчинении командующие артиллерией армии. Знает он командующих артиллерией дивизий. Знает командиров артиллерийских полков, но и то, наверное, не всех. Это ведь от нас, снизу – командир полка! А на фронте полков куда больше, чем пешек на шахматной доске. Скажем, номер нашего артиллерийского полка был тысяча двести тридцать второй, и на нем счет не кончался. И в каждом полку – дивизионы, в дивизионах – батареи, в батареях – взвода, и вот я – командир взвода. Я и командира нашей девятой артиллерийской дивизии генерал-майора Ратова не видел никогда, хотя стараниями штабных всех нас именовали ратовцами. Бывало, в госпитале спросишь пехотинца: кто у вас командир роты? А я не знаю. Ночью пригнали, на рассвете в атаку. Какой-то свистел в свисток... В артиллерии все же знали командиров батарей – тут меньше убивало, срок службы получался дольше. Но Трофимычу это не объяснишь, если сам забыл, да и глуховат он, кричать надо. И я киваю в зеркало: знал.

– Генерал-полковник Неделин! Митрофан Иванович! – шепчет Трофимыч. – Ого-го-го-го! Культурнейший человек! Что?

Я киваю: и что культурнейший, и что слушаю. Глаза Трофимыча загораются былым блеском, не столько сами глаза, как очки, лицо воинственно свирепеет.

— Помню как сейчас...

Каждый его рассказ начинается этим обязательным «Помню как сейчас...». Под щелканье ножниц над моей головой я слушаю про неведомую мне жизнь. И непременно расскажет он, как, бывало, бреет маршала, а генералы, вызванные для доклада, уже ждут. И вот выходит Трофимыч с бритвенными принадлежностями, все сразу к нему: Трофимыч, что там? как? Сам в каком расположении духа? И Трофимыч всех обнадеживает.

Сколько раз я стригся у него, столько раз слышал это, и всегда в тех же самых словах. Значит, прочно у него записалось — однажды и на всю жизнь, а было или не было, не поручусь.

Еще любит он рассказывать, как появился в штабе новый генерал и приказал Трофимычу, не разобравшись, брить себя ежеутренне.

— Я обслуживаю маршала, но что я могу сказать? — приbedняется Трофимыч и чешет ухо плечом. — Я всего только боец, лицо подчиненное, последнее приказание для меня — закон.

И вот тут позади кресла начинает вырастать другой Трофимыч. С электрической машинкой в руке он вытягивается по стойке «смирно».

— Слушаюсь, товарищ генерал! — живот его толкает спинку кресла. — Как прикажете доложить, если товарищ маршал вызовет меня к себе? Был занят у вас?..

Некоторое время он стоит вот так, наливаясь и краснея, очки мечут прожигающий лазерный луч.

В ту давнюю пору было ему сорок с небольшим, он любит достать из бумажника свою фотографию того времени. «Сколько дадите мне здесь?» Я выпрастываю руку из-под простыни, смотрю долго. «Вообще-то глаз у меня точный, если ошибусь ненамного... Двадцать шесть?» — «Сорок один!» — торжествует Трофимыч. Это повторяется всякий раз, наверное, он стал забывчив.

Вот так зашел я постричься и в тот день. Зима стояла сиротская, конец января, как первые дни марта: жидкий снег под ногами, в воздухе испарения, сырой туман и день, как сумерки. Но в парикмахерской слепило электричество, один в своей глухоте — ему теперь слышней других звуков шум в собственных, заросших седым волосом ушах, — сидел Трофимыч в белоснежном халате, голым затылком к двери, а на

журнальном столике на белой салфетке ждали посетителей «Крокодилы» и «Огоньки», разложенные в образцовом порядке. Меня он не услышал, увидел перед собой мое отражение в черном стекле окна и обернулся. Был он по погоде пасмурен, перезаряжая ножи в электрической машинке, вздыхал, смотрел в окно.

— Сегодня двадцать девятое января, — сказал Трофимыч и очень значительно поднял брови. Вся надбровная часть у него меньше, чем глаз хочет видеть: мысленно прибавляешь прическу, а ее давно нет, голая у Трофимыча голова, от бровей до шейных позвонков голая. Только над ушами серебрится что-то, прижатое темными дужками очков. Но все это не мешает ему с верой в глазах рекомендовать посетителям прекрасные средства для ращения волос. — Я сидел сейчас и думал: двадцать девятое января! Помните, точно такая была погода. Ай, что там делалось!.. Вы тогда были там?

— Был.

— Что?

Я переждал жужжание машинки у моего виска, кивнул: был!

— Там, рассказывают, было что-то ужасное! У него оказалось столько танков!..

Танков у него действительно оказалось много, больше полутысячи, ими он и протаранил наш 3-й Украинский фронт, разрезал до Дуная на две части. Тогда мы этого не знали, но почувствовалось: окружают.

Странной силой обладают сами названия тех лет: Веспрем, Дунапентеле, Дунафельдвар, озеро Веленце, озеро Балатон... Все вдруг оживает, даже ощущения того времени. Мор, Маргит — и я вижу убитых и труп того немца, который лежал на открытом месте по дороге к нашему наблюдательному пункту. Там все простреливалось. Замерзший, лежал он на снегу, одно бедро красное — осколком, наверное, разворотило. Почему-то мне подумалось, когда первый раз пробежал мимо под пулями: вот здесь, около него меня убьет. А уж как подумал, ничего с собой сделать не мог: сколько раз приходилось пробегать в ту и в другую сторону, ждал — сейчас стукнет. И ведь чуть не сбылось.

Шепелявя от волнения, Трофимыч рассказывает, как двадцать девятого января срочно сажали в машину начфина и его — «Помню как сейчас!..» — как отправляли их за Дунай. Не знаю, какую особую ценность представлял он для разведки, но, конечно, попал он со своими помазками и бритвами в плен, переполох был бы страшный: самого командующего брил, всех в лицо знает!..



Он рассказывает, а я вспоминаю свое, что у нас было, на этом конце подзорной трубы, где все такое уменьшенное в масштабах истории. Оказывается, немцам удалось тогда ввести в заблуждение наше командование. Они сняли свой 4-й танковый корпус из-под Бичке, погрузили в железнодорожные эшелоны. Солдатам было сказано, что везут их на центральное направление, там шестой день наступали наши Белорусские фронты, шла Висло-Одерская операция. Но повезли их на наш участок, в район Веспрема, и вот этого ни разведка, ни командование нашего фронта не знали.

Они ехали, выгружались, сосредоточивались – на шахматной доске войны, где вся партия была уже проиграна, происходила перестановка тяжелых фигур. А у нас на фронте было на редкость спокойно, и все какие-то добрые вести доходили: что одна из бригад, зажата немцами где-то севернее, вырвалась и пушки спасла; что приезжал в полк лектор чуть ли не из штаба дивизии, авторитетно объяснил: у немцев кончилось все горючее, наступать они больше не смогут. Телефонисты все это мгновенно передавали по проводам, доносилось и до нас, на передовой наблюдательный пункт, вырытый в мерзлой глине, откуда торчали на поверхности мертвые стебли кукурузы – маскировка нашей стереотрубы.

За день или за два до немецкого наступления вызвал меня к трубке лично заместитель командира полка подполковник Петецкий. Говорили про него, будто до войны занимал он где-то пост чуть ли не военного атташе, на фронт и к нам в полк попал в конце сорок четвертого года и сразу стал известен фразой: «Начальству не объясняют, а докладывают об исполнении».

Петецкий спросил: имеется ли у меня на наблюдательном пункте противотанковое ружье? Это за ним тоже значилось: всюду, где он появлялся, он первым делом спрашивал, имеется ли противотанковое ружье, приказывал немедленно послать, принести и подбивать из ружья танки, когда они пойдут. Ему говорили: «Слушаюсь!» И мне тоже было приказано послать на огневые позиции двух человек, принести противотанковое ружье и подбивать танки. «Слушаюсь!» – сказал я. Не только на батарее, во всем нашем дивизионе не было ни одного противотанкового ружья, хотя, наверное, полагалось. Но раз комдив и комбат, в присутствии которых он это приказывал, молчат, я дисциплинированно сказал «Слушаюсь!», поскольку начальству не объясняют, а докладывают об исполнении.

В ночь перед немецким наступлением мы жарко натопи-

ли в землянке; когда целый день на сырости, на холоде, все тело жаждет тепла. Даже сапоги в эту ночь сняли, как-то уж очень спокойно было на душе. Когда загрохотало над нами, мы вскочили, ничего не соображая в первый момент. Какой-то чужой артиллерист с двумя бойцами и телефонным аппаратом жался в нашей щели, глядел затравленно. Это бывает во время артподготовки: люди жмутся друг к другу, а чужой окоп начинает казаться надежней своего.

В серых рассветных сумерках мы вели заградительный огонь и знали уже, что пехоты нашей впереди нет: она с прошлого немецкого наступления была пуганная танками. И артиллерист исчез со своими бойцами.

Мы досиделись до того, что уже, наверное, и не выскочили бы — впереди на гребне появился танк. Но тут справа откуда-то начало бить наше семидесятишестимиллиметровое орудие, мы повыкидывали наверх телефонные аппараты, катушки с проводом и по одному, по одному, согнувшись, перебежали дорогу и это открытое, выметенное ветрами место, где лежал замерзший немец; там уже был только снежный могильный холмик и темнело что-то. Вот здесь меня-таки стукнуло пулей.

Удивительно, как в такие моменты точно работает мысль. Я бежал, хромая, нога отнялась, и все подумалось сразу: что кость не перебита — это главное, что ранен в ногу — это плохо, если при отступлении ранит в ногу, что стукнуло меня все-таки именно здесь. И ждал, когда потечет горячее в сапог.

В кукурузе, пока телефонисты, поскидав со спин катушки, с мокрыми от пота лицами подключали телефонный аппарат, я ощупал и оглядел ногу. Штанина была пробита, палец прошел из дыры в дыру, но раны не было — только ударило и обожгло пулей. И я быстро расстался с мечтой попасть в госпиталь, повалиться там с месяцок, хоть с пол-месяца.

Какой-то народ из разных частей сбился тут, все курили жадно. Если бы мы из тыла шли, показалось бы, наверное: вот она, передовая, дальше идти некуда. Но мы оторвались от немцев и чувствовали себя в тылу. Небо над головой хоть и январское, а совсем уже ясное, весеннее — в Венгрии зимы короткие. Не садясь, кружили в небе стаи голубей — на земле шла стрельба.

Вот так курили мы, радуясь жизни — телефонист мой все вызывал огневые позиции, все что-то соединиться не мог, — вдруг как подкинуло пехотного старшину: вскочил с автоматом в руках, и очередь прогрохотала над нами. Кто пов-

скакал тут же, кто ничком пал на землю. Старшина, весь еще в азарте, стоял рослый, красивый, чуть раскосый (говорили после – узбек), а в кукурузе метрах в шестидесяти от нас лежал немец: это его пригвоздило к земле, автомат его валялся у вытянутых рук.

Он полз подстрелить нас, заметил и подползал поближе, чтоб уж без промаха, как на охоте, самый, должно быть, смелый, самый азартный из всех. А мы сидели спинами в его сторону, не подхватись старшина, остались бы здесь лежать, и он похвалялся бы среди своих и радовался удаче, и его бы хвалили и одобряли. Теперь мы радовались, хвалили старшину. А вот думаю сейчас, когда столько лет прошло: ведь тоже молодой был, как мы.

– Мы, кажется, всех их там окружили и уничтожили? – говорит Трофимыч и наставляет на меня ухо. – Что?

– Да, – киваю я, стараясь не помешать ножницам. – Да...

– Это хорошо!

Когда щелкают парикмахерские ножницы над ухом, меня всегда отчего-то клонит в сон и скулы сводит зевота. А тогда, в ночь немецкого наступления, стоял перед командиром нашего полка полковником Комардиным бледный майор Коробов, пом по тылу, по всему продовольственно-фуражному и обозно-вещевому снабжению, и Комардин грохал перед ним кулаком по столу, так что подскакивала коптилка из снарядной гильзы, адъютант хватал ее на лету и ставил. Я и сейчас не знаю, почему именно Коробову приказывалось идти к немцам, привести брошенные пушки. Мы своих пушек не бросили, мы сидели в углу – комбат и мы оба, командиры взводов, – ели нарезанное на лавке венгерское сало с хлебом: ногти, руки наши, которыми мы брали сало, были черны. Когда по приказу батарея наша отходила, у моста стояли подрывники, спрашивали: «Вы последние? За вами никого нет?» Им было приказано взорвать мост после того, как отойдут все, и они спрашивали с надеждой, боясь дожидаться немцев.

Вдруг майор Коробов начал снимать с себя ремень вместе с португеей, глухо стукнув пистолетом в кобуре о стол, сложил всю амуницию перед командиром полка, а сам стоял, распоясанный, руки по швам, словно добровольно сдавался под арест или приговаривал себя к смерти, гимнастерка из-под ремня сама расправлялась на нем и опадала.

Через несколько лет я встретил его в Москве: по-весеннему в тончайшем светлом костюме, он стоял на бульваре около памятника герою Плевны, что-то говорил молодой женщине, она улыбалась и погружала лицо в букетик цветов.

И командира полка я встретил после войны в Москве, на Пятницкой улице. В бекеше военного покроя, отороченной смушкой, в серой полковничьей, порыжелой от солнца папахе, с петельками от погон на ватных плечах, он переходил трамвайные пути. В приверженности старых военных к бывшей своей военной форме, даже к подобию ее такое очевидное желание утвердить себя среди штатских людей и лиц, такая растерянность перед гражданской жизнью, в которой они не самые умелые, чего-то не поймут, да и поздно уже понимать... В бекеше, в папахе торчмя, с красным набрякшим лицом пьющего человека переходил он улицу. На другой стороне была сберкасса и банк, где платили пенсию по инвалидности, платили за ордена. Недолго платили за них, тогда же, в сороковых годах, было это отменено.

Я как раз шел оттуда, еще постоял, посмотрел вслед ему. Больше я его никогда не видел. Он был властный, тяжелый человек, полковник Комардин, после войны многие на него обижались. Но в бою он был смел, пусть часть грехов за это ему простится. Сейчас, наверное, его уже нет в живых, он и тогда был немолод, по тем нашим меркам. Руки помню его, огромные, помороженные, пальцы всегда несколько растопырены, ими он не очень хорошо владел, но в кулак они сжимались крепко. Тогда, под венгерским городом Секешфехерваром, он бежал по снегу на пятую батарею, на которую шли танки, падал, подымался, бежал у всех на виду и еще издали грозил кулаком и что-то кричал яростно, можно было понять что. Мог ли я думать, что вот так встречу его без погон ранней зимой в Москве, на Пятницкой улице? Это было такое далекое будущее, которое и представить оттуда невозможно. А сейчас все это еще более далекое прошлое. И в том далеком прошлом мы брали Секешфехервар и отдавали, и снова брали, и однажды я даже позавидовал убитым. Мела поземка, секло лицо сухим снегом, а мы шли сторбленные, вымотанные до бесчувствия. А мертвые лежали в кукурузе — и те, что недавно убиты, и с прошлого раза, — всех заметало снегом, ровняло с белой землей. Словно среди сна очнувшись, я подумал, на них глядя: они лежат, им спокойно, а ты еще побегаешь, а потом будешь лежать так.

Но удивительная пора — молодость: час поспал убийным сном и опять жив и жить хочется. В брошенном доме на полу увидел я оброненную большую серебряную медаль — бегун рвет ленточку грудью — и нацепил эту медаль на гимнастерку повеселить своих разведчиков: мы в тот момент отступали к Дунаю. Хорошо что на глаза Комардину не попался в таком виде, он не был большим ценителем юмора.

И вот двадцать девятое января, тот самый день, что и Трофимычу по-своему памятен. Впрочем, тогда я не особенно замечал числа. Был день, было рассветное время, когда и артподготовка, и наступление начинается, был час, когда темнеет, — все это имело значение и смысл, а сами числа ничего не значили, как, наверное, ничего они не значили для людей в каменном веке. И все же это было, по-видимому, двадцать девятое января. Мы уже отошли к деревне Вааль. Сырой рассветал день, весь напитанный влагой, и сапоги наши, и шинели — все было сырое.

Кое-как вырыли мы окопчик для наблюдательного пункта, грелись в нем общим теплом. Вдруг приходит такой же, как я, командир взвода управления батареи старший лейтенант Романов с тремя разведчиками. Приказано ему установить, где немцы. То же самое и мне было приказано, я лазил туда с моими разведчиками, метрах в четырехстах от этого места мы напоролись на немцев, постреляли друг в друга наугад; пехоты впереди не было. Все это я доложил командиру дивизиона. Но наш комдив был нестойк: сколько раз прикажут ему, столько раз и погонит людей, брать на себя он не любил.

Я посоветовал Романову: обожди здесь и можешь спокойно докладывать. Заколебался, непросто ему было решиться. Почти вдвое старше меня, он всю войну прослужил на Дальнем Востоке, только несколько месяцев назад попал на фронт. И вот это угнетало его, словно виноватым он чувствовал себя перед всеми.

Разведчикам, конечно, не хотелось идти зря, они уже навоевались достаточно. Но, если бы он приказал пересидеть здесь, они бы первые не уважали его. И не вызвало у них радости, когда он все же скомандовал идти: что ни прикажи мягкий человек, все почему-то всегда недовольны.

Они ушли в туман, и их не стало. А вскоре над нами низко прошли наши штурмовики, «Илы»: бомбить немцев. Мы слышали впереди взрывы бомб, глухую стрельбу в воздухе. Потом один за другим «Илы» возвращались, опять прошли над нами. Несколько раз вызывал меня к трубке командир дивизиона: был Романов? Где Романов?

Вдруг видим, чавкают по мокрому снегу разведчики, несут тяжело провисшую плащ-палатку, спереди двое, сзади один, держит за оба угла. Сразу мы поняли, кого они несут, словно предчувствовали, ждали заранее. Приблизились, опустили, сели курить.

Помню, лежал он на мокром снегу на плащ-палатке, будто меньше став ростом. Покурили разведчики, отдышались,

рассказали, как все произошло. Они услышали самолеты, не ожидая, попадали в снег, они и ему кричали: «Ложись, лейтенант, ложись!..» Но он остался стоять: «Наши!» А может, боялся уронить себя перед бойцами. Но откуда летчикам знать точно, где передний край, если он еще не установился, если даже пехоты там нет. Посмертно старший лейтенант Романов был награжден орденом Боевого Красного Знамени. А день был пасмурный, как в нынешнем январе.

По старой, тех времен выучке Трофимыч берет небольшое зеркало, заходит сзади, с одного бока, с другого.

– Височки!.. Окантовочка!..

Странно, просто неправдоподобно, если оттуда посмотреть и представить себе: электричество, никель, зеркала, белоснежный халат...

– Прекрасно, – говорю я. – Лучше не бывает!

Но Трофимыч должен еще пообижаться:

– Не знаю... Если это не хорошо, тогда уж я ничего не понимаю совсем... Голова просто выточена!

А может, всего того не было? Но снятся они, все еще снятся те, кого так давно уже нет. Давно над ними стоят города, хлеба растут, но во сне они живые, я узнаю их лица, которые не могу вспомнить наяву, они говорят со мной, только почему-то голоса их не слышны.

## КАК Я ПОТЕРЯЛ ПЕРВЕНСТВО

В дальнейшем я не раз испытывал ревность, но тот случай запомнился мне навсегда. Возможно потому, что лет мне тогда было восемнадцать и сама ревность оказалась несколько необычной.

В то время, зимой сорок второго года, еще не было дважды Героев, трижды Героев, в ту пору на фронте орденоседец был редкостью. Это позже, к концу войны, к победе, стали щедро раздавать ордена. А в сорок втором году, в феврале месяце, еще далеко было до побед. В нашем артполку был человек, награжденный орденом Ленина. Первый. Один-единственный. Это был командир батальона. О нем знали все. Я тоже был первый. И тоже один-единственный. Дело в том, что я был самый молодой в полку. И вдруг прибыло пополнение, и в этом пополнении боец — моложе меня. Когда-то это должно было случиться. Но тем не менее в тот день я испытал настоящую ревность.

Наморенный дальней пешей дорогой, напуганный близостью фронта, он, наверное, сидел в землянке, хлебал остывший суп из котелка, не подозревая даже, что одним фактом своего появления лишил меня первенства, к которому я уже прочно привык. Ему это не стоило никаких усилий, он пришел — и я стал никем. Вернее, я стал вторым. Но люди так устроены, что второй или двадцатый — это уже для всех безразлично. Интересен только первый.

Надо сказать, что из своего первенства я не извлекал никаких выгод. Более того, оно и для человечества, как я теперь понимаю, не представляло никакого практического смысла. Им нельзя было начать всенародное движение, на его основе нельзя было никого и ни к чему призвать, его даже нельзя было показать в отчетах. Но я был первый, и это мне было важно. Зачем — я и до сих пор не знаю. Наверное, затем же, зачем вообще люди стремятся занимать место в сознании других людей. И в зависимости от этого бывают счастливы либо несчастны.

Один раз, правда, я почувствовал выгоду своего положения. Но это было связано с наилучшими воспоминаниями. Меня вдруг вызвали к командиру полка. И когда я по глубокому снегу, по морозу, весь мокрый под телогрейкой от пота, явился по приказанию, робей и гордясь, что представлю сейчас перед майором Мироновым, командиром нашего полка, из землянки вылез на белый зимний свет солнца ор-

диарец, весь пропахший керосином, пощурился, зевнул с паром изо рта:

— Прибыл? Вольно, сам такой дурак был... Скидай карабин, приказано тебя накормить.

Фронт наш, Северо-Западный, был голодный фронт. Тремя армиями окружили мы здесь Шестнадцатую немецкую армию, по численности равную нашим трем. А в середине окруженных немцев, в лесах, прочно держался партизанский край. От нас к ним и от партизан к нам ночью над лесами, над немцами летали самолеты.

Мы то окончателно смыкали кольцо, то немцы опять пробивали коридор к своим в районе фанерного завода. Эти так называемые бои местного значения шли, не прекращаясь. Но там действовала не наша, а две другие армии, и нам говорили, что все продукты отсылают им. Позже, в училище, я встретил ребят из этих армий. Они также чистосердечно были уверены, что все продукты отсылают к нам в Тридцать четвертую армию, потому что основные бои идут у нас.

Мы действительно и зиму, и весну, и лето наступали на станцию Лычково и на деревню Белый Бор. Сколько под ними безвестно полегло народу — я не знаю, живет ли там столько сейчас! В ясные погожие дни по ту сторону окруженной немецкой армии бывал слышен грохот этих боев.

Сотни машин, тысячи лошадей по жутким дорогам, по топям, по лежневке, с бревна на бревно, измочаливая их колесами, надрываясь, везли к фронту патроны, снаряды, продукты, чтоб армия могла воеать. Горы хлеба, горы мяса. И все это, растекаясь по окопам, съедалось мгновенно. Пятьдесят граммов консервов на человека на день, сколько-то сушеной картошки или пшена — это должны были доставлять — и маленькие, по девятьсот граммов, буханочки хлеба. Вот их, правда, доставляли. И выдавали регулярно, каждый день. Весной — мокрые, раскисшие, зимой замерзшие, хоть топором руби. Мы отогревали их у костров. Первой отмокала и снималась корка: невозможно было сразу же ее не съесть, — она пахла хлебом. Потом постепенно отпаривался мякиш, мокрый, липнущий к пальцам. И так до самой сердцевины, замерзшей в лед.

Партизаны рассказывали, что немцы по утрам пьют кофе и едят бутерброды: вот такой тоненький кусочек хлеба и вот такой толстый слой масла... Мы не понимали, как можно наестись бутербродами? Если в покинутых разбитых деревнях нам удавалось найти зарытую в землю пшеницу, мы варили ее по целому котелку и чаще съедали недоваренную:



что не доварилось в котелке, доварится в животе. Но однажды разведчики принесли конину. После бомбежки на дороге лежала убитая артиллерийская лошадь, у нее, замерзшей, они отрубили ногу. Варил ее в ведре комиссар батареи, сам родом из Казани. Конина вскипала лиловыми пузырями, в них переливались все те цвета, какими переливается пятно нефти в луже воды. Зажмуриваясь, комиссар пробовал алюминиевой ложкой бульон и рассказывал о жеребятках, пасущихся под солнцем на шелковистой траве, зеленый сок которой у них на зубах. О жеребятках с пушистыми хвостами, мягкой шерстью и нежным сладким мясом. А в ведре варилось черное мясо убитой артиллерийской лошади. Страшно бывало смотреть, как эти лошади по топким дорогам Северо-Западного фронта везут пушки, утопающие в грязи почти волоком, вытягивая из себя жилы, упираясь ногами и дрожа... Даже когда мясо сварилось, оно было все из жил и неистребимо пахло потом.

Потом уже на юге, куда я попал после училища, бывало тоже и холодно, и голодно, и тяжело — война есть война, — но я не помню, чтоб так вспоминали и говорили о еде, как на нашем голодном Северо-Западном фронте, где не репался исход войны, а шли бои местного значения. Это были жестокие воспоминания: о том, кто что любил и ел и как и сколько всего готовилось. А мне почему-то вспоминалось не то, что я ел, а то, что осталось несъеденным, что мог бы съесть и не съел. И среди всего этого особенно вот что. Это была уже осень сорок первого года, немцы подходили к нашему городу, и мы эвакуировались. И вот когда все было собрано и готово, мы ночью последний раз в своих стенах ели перед дорогой. Я положил в чай сахару столько, сколько нам никогда раньше класть не разрешали: все равно сахарница и все, что в ней было, оставалось на столе. Но мне еще хотелось коркой хлеба вылизать жаровню, стоявшую прямо на клеенке. В ней жарилось мясо в дорогу и осталось от него на дне застывшее коричневое желе. Но я постеснялся.

Наверное, старшим, кто прожил в этих стенах жизнь, каждую вещь наживал и внес сюда своими руками, теперь должен был все бросить и уходить, нестерпимо было смотреть, как мальчишка спешит в последний момент допить чай, густой от сахара. И на меня в конце концов закричали.

Он так и остался на столе, недопитый стакан чая, самый сладкий за всю мою жизнь. Больше терялось потом и забывалось с легкостью, а вот его почему-то помню.

...Ординарец вынес из землянки котелок, от которого шел пар, поставил на снег, сразу начавший под ним таять:

— Рубай!

Если бы тут был командир полка, я бы, наверное, превозмог себя и доложил, что сыт. И на том бы стоял. Но нас с ординарцем было двое. Я сел в снег у входа в землянку, воткнул рядом с собой карабин и достал из-за голенища всегда готовую к бою ложку.

Ординарец курил, глядя на меня сверху. Несчитанные вольные хлеба, при которых служил он на войне бесконтрольно, с урчанием переваривались в нем, и ему было жарко на морозе, он вышел прохладиться. А я ел, не подымая глаз, стыдясь того, что не смог отказаться.

Но еще стыдней мне было моих товарищей, когда я после возвращался на батарею. Если б не это — день был бы чудесен. Я шел, отпустив ремень на одну дырочку, и мороз казался мне мягким, и воздух легким, а вокруг под зимним солнцем нестерпимо сверкали снега, и при каждом оружейном выстреле с белых сосен от сотрясения воздуха падал иней.

Я чувствовал в тот день то, что у нас выражалось словами: «Порядок в артиллерии!..» Я был бойцом артиллерийского полка и гордился этим. И конечно же, полк наш был самый лучший, хотя до сих пор почему-то не гвардейский, а артиллерия была именно тот род войск, который единственно в полной мере достоин человека.

Правда, перед тем как стать артиллеристом, я чуть не стал пехотинцем. Далеко за Пермью, на станции, куда эвакуировалась наша семья, формировалась пехотная дивизия. Я все пытался обратиться к кому-то из командиров, но не знал, к кому, а часовые в штаб не пускали. И вдруг дивизию, еще не до конца сформированную, подняли по тревоге. Ее срочно отправляли на фронт. С утра на площади, на вытоптанном снегу, строились роты и батальоны, станцию оглашали гудки паровозов, лязгал буферами порожняк, по улицам все бежало и несло вскачь, в домах плакали, а из окрестных деревень по зимним дорогам ехали санями и шли, спешили с узелками бабы, которых уже облетела весть. Они плотным дышащим черным кольцом стояли вокруг вокзала, вокруг площади — жены, любушки, невесты, сестры. Стояли матери и старики. А в середине их плотного кольца на снегу, уже не ихние, строились с оружием их сыновья, подвластные голосу командиров, не смеющие глаз скосить в их сторону. И вот в такое время пробрался я к одному из командиров и попросил, чтобы меня взяли с собой. Он глянул на меня обалделыми глазами:

— Что?!

А когда понял, о чем речь, рявкнул таким офицерским голосом, что меня просто не стало.

Но еще раньше мы с моим школьным другом Димкой Мансуровым едва не сделались летчиками. Это было на второй месяц войны, планировался особенно ускоренный выпуск летного училища, и объявили новый набор. Мы пришли на комиссию. Вот там мы впервые увидели симулянта. Посреди комнаты на крашеном полу корчился голый человек. Вокруг него стояли четверо военных, ждали спокойно и серьезно. Поверх гимнастеров на них были накинуты белые халаты, неподвижно стоявшие хромовые сапоги их блестели, блестел на свету масляный пол, и на нем в лучах солнца выгибалось мускулистое человеческое тело, пятками доставая плечи.

Сейчас, когда с того дня прошло больше лет, чем мне тогда было, я иногда сомневаюсь, был ли он симулянтом, тот человек? Но время было суровое, и я отчетливо помню брезгливый страх, который, глядя на него, почувствовали мы с Димкой.

В темной комнате я прошел за Димку комиссию по зрению. Но мускулы были лучше у него. То есть даже не то что лучше, а если б не война, со мной бы, видимо, и разговаривать не стали. Но тут особенно раздумывать не приходилось, и врачи решили по-деревенски: была бы кость. А это как раз было.

Помню, мы возвращались с комиссии, свысока глядя на все прочие попадавшие нам навстречу рода войск. Мы уже видели себя летчиками и были патриотами авиации. Но среди того, чему в 41-м году не суждено было свершиться, не состоялся и выпуск училища в сверх-сверхускоренные сроки.

Позже, на фронте, я получил от Димки письмо. Он писал, что учится в училище непробиваемых КВ. А я уже видел не однажды, как они горят. Наверное, в форме танкиста Димка Мансуров, широкогрудый, весь крупный, с большими, даже в мороз теплыми мужскими руками, был как бог. Добрый и грозный бог. Мне больше уже никогда не пришлось видеть его и не придется: он сгорел в танке. А мне суждено было стать артиллеристом, провоевать всю войну и остаться живым.

На ту самую станцию, куда мы эвакуировались и о которой я уже говорил, прибыл вырвавшийся из окружения артполк. Вернее, то, что осталось от него в боях и что должно было образовать костяк будущего полка. Вскоре же начали поступать с заводов новые пушки и тракторы, а во дворе

военкомата уже толпились новобранцы, во всем еще домашнем, но уже остриженные под шапками наголо.

Я и теперь не понимаю, как пропустили меня к командиру полка, да еще в тот момент, когда у него находился представитель, приехавший из Москвы. Сильно худой от голода, в зимнем пальто, которое на мне повисло, я предстал перед ними. По простетвию многих лет могу свидетельствовать с полной объективностью: это было жалкое зрелище. Даже после, когда мне уже выдали обмундирование и я в шинели, затянутый ремнем, в солдатских кирзовых сапогах шел по улице, оглядываясь на себя в стекла магазинов, пожилая женщина остановилась и, глядя на меня, вдруг заплакала: «Господи, и таких уже берут...»

Надо полагать, командир полка видел то, что ему предлагали, но тем не менее он терпеливым тихим голосом расспрашивал меня:

— Вы буссоль знаете?

Представитель из Москвы, подполковник, в расстегнутом коротком белом полушубке, которых не хватало на фронте, в туго натянутых хромовых сапогах, курил, хмурил брови и ждал. Я не знал, что такое буссоль, и ни разу в жизни ее не видел.

— Стереотрубу знаете?.. Телефонный аппарат?

Я понял, что сейчас меня не возьмут. И тогда я дотронулся рукой до стола, за которым сидел командир полка, и сказал, что на фронте погиб мой старший брат и что я хочу на фронт. Подполковник в полушубке, сидевший нога на ногу боком к столу, скосил глаза на мою руку:

— На что он тебе нужен? Мы тебе знаешь, каких мужиков пришлем? Какие еще ни разу паровозного крика не слышали!..

Он был начальство и старший по званию, а я, ничего не умеющий, действительно не был нужен командиру полка. Но он коротко глянул на меня и сказал своим тихим голосом, которым в окружении подымал полк в атаку, на прорыв, сам идя впереди с пистолетом:

— Человек — это такой материал, из которого все можно лепить, тем более если он сам хочет.

Не знаю, содержится ли в этих словах высшая мудрость, или это самые обычные общеизвестные слова, но мне они показались выражением высшей мудрости: в них была моя судьба. И я всю жизнь благодарен майору Миронову за то, что он их сказал.

А сказав, он вышел со мной в соседнюю комнату, отдал распоряжение о зачислении меня на все виды довольствия.

Человек, которому это распоряжение было дано, написал тут же записку, объяснил мне, куда с этой запиской идти, чтобы мне выдали обмундирование, приказал запомнить фамилию старшины, который меня накормит. Я пошел, получил по записке полное обмундирование, но искать старшину, который мог меня накормить, я постеснялся.

Теперь, когда я был в армии, куда столько времени не удавалось мне попасть, я никуда не торопился. И трое суток в обмундировании расхаживал по улицам, встречал патрулей, приветствовал их и чувствовал себя очень хорошо. Будь я шпионом или человеком, преследующим определенные цели, я бы уже давно попался на этой крошечной станции, где все друг у друга на глазах. Но мне и на ум не шло, что я делаю нечто противозаконное, строго наказуемое в военное время. А между тем начальник разведки полка, который, как выяснилось, с первого взгляда заподозрил во мне афериста, сообщил вскоре в милицию, и меня искали, но не находили, потому что я был весь тут, у всех на глазах.

Значит, где-то высоко, невидимая мне самому среди бесчисленных звезд, горела надо мной и моя крошечная звездочка. Много раз бывало так, что, казалось, уже пришло время погаснуть ей. А вот не погасла, горит до сих пор, и временами я чувствую ее незримый свет.

На третий день я сам явился в штаб полка, вошел и сказал: «Здравствуйте...» В штабе был начальник штаба полка, помощник начальника штаба, писаря — целый служебный организм, взаимосвязанный и взаимоподчиненный, — и вот я, ни у кого не спросив разрешения обратиться, никому ничего не докладывая о себе, вхожу и говорю всем общее, насквозь гражданское «здравствуйте...» На взгляд военного человека я, наверное, в тот момент выглядел радостным идиотом. Во всяком случае, все, оторвавшись от своих занятий, смотрели на меня, а я, очень довольный, стоял в дверях, доброжелательно улыбаясь, словно ждал, что сейчас скажут: смотрите, кто пришел!..

Наконец один из писарей узнал меня, шепнул другому, и они тайком от начальства начали посмеиваться и прыскать, ожидая дальнейшей потехи. Они понимали, что мне предстоит.

Как раз было время обеденного перерыва, все вскоре встали и ушли, но начальник разведки по собственной доброй воле остался со мной. Он сел, сказал мне, где и как перед ним стать, и начал подробно рассказывать, что меня ждет в дальнейшем, если я так начинаю свою службу. Среди того, что ждало меня, военный трибунал был не самым страшным.

У начальника разведки от насморка слезились красные глаза. Он часто вынимал платок, сморкался, посмотрев в платок, качал головой и опять занимался мною. Он говорил медленно и тягуче около получаса, жертвуя своим обеденным временем, и, хотя перечислял страшные кары, я почему-то понял сразу, что мне ничего не будет.

Вот так, надолго вперед обо всем предупрежденный, я стал рядовым гаубичного 387-го артиллерийского полка. А уж после кто-то вычислил и доказал, что я — самый молодой в полку. Еще не понимая хорошенько, к чему это применить, я сильно возвысился в своих глазах и даже в глазах окружающих. Я не подозревал в то время, какие огорчения ждут меня впереди. Потому что первенство мое было особенно коварного свойства. Даже при самом большом старании, при максимальном усердии с моей стороны, я все равно не мог не утратить его со временем. И я его утерял.

Мне так никогда и не пришлось видеть человека, который отнял у меня первенство. Но он дал мне почувствовать, что я имел. Я понял вкус этого слова: «Первый». И уже не смог его забыть. Я стал на ту тропу, с которой люди добровольно не сходят. А если срываются, то вновь и вновь, всеми силами, обрывая ногти в кровь, карабкаются на нее. Грех познания, древнейший из человеческих грехов, по-прежнему мстит вкусившим.

## ВЕЩИЕ СНЫ

Был сон, который часто снился в детстве; другие сны я забыл, а этот помню. Начинался он так: вдруг возникла паника, все куда-то бежали, бросали все, и тут появлялись они. В глубоких касках до плеч, без лиц, с маленькими пистолетами в руках, они тяжело топали по коридорам, комнатам, шли за мной, и хлопали, хлопали вслед мне тихие выстрелы. Задыхаясь, слабея от ужаса, я просыпался и еще не верил, что это — сон.

Немецкую каску времен первой мировой войны мы нашли во дворе под крышей сарая. Кто-то увидел, как с дерева, из гнезда, вывалился птенец. Тут же, разумеется, мы полезли смотреть. На раскаленной солнцем железной крыше лежал совершенно голый птенец, несоразмерно длинные были вытянутые его ноги-соломинки, но уже с готовыми крохотными коготками, глаз задернут пленкой, на клюве вздулся пузырек крови. Вот в этот день на чердаке сарая, где столько раз мы играли в войну, обнаружены были каска и нож, длинный, заржавленный кухонный нож, мы очень жалели, что это не ножевой штык, а так бы — немецкая каска и штык... Она была лакированная, с острым шпилем, а те, во сне — серые, стальные, и крошечные дула пушек торчали из них вверх, как рога.

Потом было время, когда никакие сны мне вообще не снились, и не болел я в окопах ни разу, но в госпитале, когда все в тебе отпускалось, оттаивало, снился дом, мирное довоенное время. А теперь все вместе — это далекий-далекий сон. Иногда он поразительно ярок, и вновь светит солнце тех дней, как оно тогда светило.

В конце августа сорок четвертого года, спешно погрузившись в эшелоны, мы ехали по Румынии под стук колес. Блеснула морем и солнцем Констанца, но там — другая армия, а мы — северней. Когда на повороте дугой изгибались рельсы, бывал виден весь состав, спешащие за паровозом пыльные, красные товарные вагоны, платформы с пушками, платформы с тракторами, вагоны, вагоны, в каждом, откатив двери, сидят, стоят солдаты, опершись на поперечный брус грудью, локтями, как стояли в дверях мчащихся товарных вагонов солдаты прежних войн, когда нас еще не было на свете, а войны прокатывались по земле.

Позади Яссо-Кишиневская операция, как будут ее называть отныне, долгое, бесконечно долгое сидение на заднест-

ровских плацдармах, где воронка к воронке, где днем все живое скрывалось под землю, и столько раз немцы пытались сбросить нас с плацдармов в Днестр. А после всего этого — стремительный прорыв двух наших фронтов, двадцать с лишним окруженных немецких дивизий, вначале они еще пробивались к своим, а потом была ночь, малярийная бредовая ночь, когда среди трофеев, брошенных пушек, снарядов, повозок, каких-то ящиков (один ящик оказался с изюмом, мы ели его горстями) бродили, как серые тени, и мы, и немцы, и никто ни в кого не стрелял, а утром, никем не охраняемые, они шли в плен — «Wo ist plen?», — я своими глазами видел эти колонны, им только указывали направление, но их уже не увидели те, кто остался на плацдарме, зарытый в песок: победы и награды достаются живым. И вот мы мчимся в эшелонах, что ждет впереди, знать никому не дано, война учит солдата далеко вперед не заглядывать, а пока — жизни миг.

Мелькают под августовским солнцем белые, словно только что побеленные стены хат, низки красно-багрового перца сушатся на них, синие ставни раскрыты, соломенные островерхие крыши подстрижены в кружок; на огородах, на рыхлой земле — огромные желтые тыквы; медлительные волю в ярмах на пыльных дорогах, крестьяне в высоких бараньих шапках, в соломенных шляпах — странно все это, отвыкли мы от мирного вида людей. Там, в Молдавии, пока шли бои, жители были отселены на двадцать пять километров от Днестра: брошенные дома, виноград поспевал на виноградниках, поля кукурузы, шелковица отрясалась с деревьев при каждом взрыве снаряда. Случалось, старик или подросток проберутся наломать кукурузных початков со своего поля, и то ночью, тайком, с великой опаской. Несколько раз во двор, где стояли мои разведчики, вот так пробиралась хозяйка проведать хозяйство и прижилась в своем доме из милости, варила на всех мамалыгу, чудные борщи. Забеременела она от командира отделения разведки, он в том же году был убит в Венгрии, но живет на свете то ли сын его, то ли дочь, возможно, уже их дети живут...

А здесь, в Румынии, война закончилась. Мелькнула у закрытого шлагбаума повозка странного вида, каруца, так, кажется, их здесь называют, старик в белой рубашке, в меховой жилетке держал вола за длинный рог; вдруг снял шапку, поклонился лысой головой вслед проносящимся вагонам. За себя поклонился или судьбе нашей? Может, сам — бывший солдат. Паровозный гудок режет синий простор впереди эшелона, стучат, спешат колеса, плотный сухой ветер



в лицо; бесконечно можно смотреть вот так из мчащегося поезда вдаль.

В Темишоарах, когда наш эшелон стоял, вдруг вижу: бежит вдоль вагонов командир взвода шестой батареи Леша Краснов, машет мне издали: «Тебя зовут!» Вот так бегут и машут, когда случилось что-то или начальство требует, а к начальству идти — сразу все грехи припоминаешь. Они есть, за каждым что-нибудь числится, безгрешны только мертвые. При погрузке пушек наша батарея замешкалась, трактор никак не разворачивался на платформе, и тут — командир полка, красное от ярости лицо, будто улыбающееся во весь широкий рот. Такая была у него особенность: чем яростней накалялся, тем ощеренней улыбка. Наш капитан от одного вида этой его улыбки сразу становился маленьким, терял себя целиком: «Слушаюсь! Слушаюсь!..» Бледный, кинулся помогать. Как раз накатывали бегом повозку, налетел с криком, схватился за ребро подпихнуть и ожегся: из-под брезента торчала свиная нога, за нее, за холодное ее копыто и ухватился в спешке, не увидев. «Это что? Это откуда?» И на меня: «Гляди-и!..» Кто же на войне спрашивает «откуда»? Не ради порядка, а чтоб ему не досталось, кричит он и назад оглядывается, а меня смех шатает, как он за копыто схватился, еле сдерживаюсь, чтобы стоять навтыжку. В обед ему первому, капитану нашему, командиру дивизиона, принесли котелок супа, сверху сняв пожирней и снизу зачерпнув погуще, и свинины там кусок, той самой, он ел и не интересовался, откуда что, но грозное «Гляди-и!» осталось, как заведенное на тебя дело, в любой момент ему может быть дан ход.

— Кто зовет, кому потребовался?

— Девчонки!

— Какие девчонки?

Леша подбежал, не отдышится:

— Санитарный поезд стоит...

Вместе нырнули под вагоны, Леша не отстает, сопровождает меня. Еще эшелон. Пронырнули между колес. А уже тронулся санитарный поезд, зеленые пассажирские вагоны, что-то белое на окнах, красные нарисованные кресты на крышах, покров и защита раненых, беспомощных людей. Столько раз на эти кресты, видные издали, безнаказанно пикировали «мессершмитты». А в дверях, на подножках — медсестры. И наши палатные тоже — Люся, Галя, Машенька, тихо постукивают под ними колеса, подрагивают ступеньки, и проезжают, и проезжают они мимо. Это эвакогоспиталь 1688 передислоцируется за фронтом, я в нем лежал

в Днепропетровске. Милые вы наши девочки, как же вы догадались спросить про меня? Оказывается, пушки увидели на платформах. Вот действительно чудо на войне: пушки! И мало ли артиллеристов перележало у них? Но спросили же, спросили! В сапожках по ноге, в юбках, в гимнастерках, затянутые в талии ремнями, стоят на подножках вагонов, на нижней, на средней, в тамбуре, как на фотографии, и проезжают мимо. Какие же вы хорошие, какие все — красавицы на наши, стосковавшиеся по вас глаза. Из всех товарных вагонов, с путей, со щебенки смотрит повысыпавший военный народ, от одного присутствия вашего все — бравые, мажут, кричат, улыбки шире лиц. И я кричу во след, из всего, что надо спросить, кричу вдрут это:

— Старший лейтенант в палате лежал третий от двери... Черепное ранение... Жив?

— Жив! — донеслось. — Домой уехал!

— А капитан...

Они уже перевешиваются, держась за поручни, уже и другой вагон обогнал меня, и еще, и еще — пустые на просвет в окна вагоны, пустые заправленные полки, быть может, для кого-то из нас. И вот последний вагон отстучивает прощально. Это же надо, чтобы так совпало, так встретиться. И ни о чем расспросить не успел, три месяца лежал у них, целая жизнь...

Я возвращался вдоль состава, как знаменитость: целый полк, два эшелона стоят, я один отмечен вниманием. Да еще чьим вниманием! Само собой, подразумевались тут и некие подвиги, которых не было. И Леша в отсвете моей нежданной славы сопровождал меня, вновь рассказывал, как он идет, как окликают его: лейтенанта такого-то нет тут у вас случайно? Вместе мы впрыгнули в наш товарный вагон: Леша тоже полежал в госпиталях, есть что вспомнить, не хочет и расставаться. В мирное время в таких вагонах возят преимущественно неодушевленные грузы, на войне — лошадей и солдат.

Опять мелькали кукурузные поля, сады, деревеньки, а мы — мимо, мимо, только опрокинутые косо тени вагонов, вытянутый состав из теней скользит под насылью, не отставая. На станциях уже прогуливались румынские офицеры в высоких начищенных сапогах, голенища — бутылками, рядные офицеры мирного времени. Для них война кончилась, нас она ждала впереди.

И вот когда мы стояли с Лешей локоть к локтю, опершись о поперечный брус, жмурясь от встречного ветра, он рассказал, что получил письмо из дома, первое за всю войну

письмо, рассказывал и словно бы сам смущался выпавшего ему счастья. На такой войне счастьем не бахвалятся, как не станут хвалиться хлебом при голодном человеке. Но хлебом можно поделиться, а как поделиться счастьем, если оно выпало на одного? С тех самых пор, как отступили мы от границы и все его родные остались под немцем, ничего не знал он ни о ком из них. И вот разыскали его через дальних родственников, живых. И он послал им письмо: жив.

Была примета на фронте: если перед боем человек начинает рассказывать о себе сокровенное, значит, почувствовал что-то, бой этот для него последний. Дело, конечно, не в приметах. Перед боем о многом думается, человек не волен в жизни своей и смерти, и никому не хочется исчезнуть бесследно, не оставив о себе никакой памяти. Вот и рассказывают.

Я еще посмотрел на Лешу. Красивый парень. Не какой-то особенной красотой, а тем, что отличало и выделяло человека в ту пору: ранним мужеством. Он и воевал хорошо, за чужую жизнь не прятался. Леша как раз высунулся из вагона, что-то разглядывал впереди, рукой придерживал на сердце медали и орден. А две желтые полоски над карманом — обе за тяжелые ранения. С середины войны, с тех пор как мы наступали, появились и кубанки на головах, и сапоги у нас в артиллерии начали перешивать на манер хромовых — все это обрело значение и смысл. Вот и у Леша на голове черная кубанка придавила светлый чуб над бровью, он ее поглубже надел, чтобы ветром не сорвало.

Эшелон наш то мчался, то полз по взорванным и наспех восстановленным путям. Поравнялся с нами очередной столб, Леша спрыгнул, дождался теплушки своего взвода, его за руки втянули в вагон. А я взобрался на верхние нары, лег. Тоже думалось о своих: как они там? Чужое счастье заразительно.

В госпитале у нас, в Днепропетровске, в том самом госпитале, который мы только что повстречали на колесах, был солдат из оккупированной местности, его мобилизовали, когда мы пришли. Повоевал он недолго, тут же и ранило, и был он, в общем, доволен. Этот солдат умел гадать по руке, не раз я видел издали: стоят в уголке двое в халатах, один слушает с доверием, другой говорит ему, говорит. В гадания я не верил, но все же решил испытать. И вот странно: совершенно точно он сказал, куда я ранен. Рука на перевязи — это видно, но он перечислил и те раны, которые зажили, про которые знать он не мог. Вот тут я и спросил его о моих братьях. По моей ладони, читая линии судьбы, он пред-

сказал, что каждого из них ждет впереди. А они уже оба погибли: один — под Москвой в сорок первом, другой — под Харьковом в то наше майское наступление сорок второго года. И солдат признался, что всю оккупацию он кормился этим: гадал бабам на базаре, они верили и надеялись. Со школы мы усвоили твердо: утешители вредны. Но кто знает, может быть, лучше не ведать иной раз, какое-то еще время жить надеждой.

Я задремал под стук колес на верхних нарах, а проснулся на полу. Вскочил, как после разрыва: над нарами, в проломленной стене — дульный тормоз пушки. И медленно он выдвигается оттуда, из пролома. А уже бежит народ внизу вдоль путей, кричат что-то. Мы тоже спрыгнули на насыпь, побежали, куда бегут все, на ходу ощупывая ушибы. Впереди, в голове состава, столкнулись паровозы двух наших эшелонов: кто-то перевел стрелку или, наоборот, забыл перевести нужным образом, и с двух разных путей эшелоны устремились на один путь.

Когда мы подбежали, паровозы, врезавшиеся друг в друга, стояли, накрененные врозь, все шипело, окутанное паром, а земля и насыпь, как под разлившейся лавой, горели и чадили: это раскатился жар из топков. Позже я видел, как растаскивали паровозы. Освободили пути, подогнали к каждому сзади еще по паровозу, потянули, они расцепились, грохнулись всеми колесами на рельсы.

Задним числом всегда столько находится умных, и уж они знают, что следовало, чего не следовало делать. А не следовало — и это уж точно! — ставить в середину состава, между платформами с пушками и тракторами, легкий штабной вагон. Его и сплюснуло накатившейся тяжестью. Когда мы подбежали, там еще слышались стоны и капало на шпалы, на щебенку. Ничего нужного в первый момент под рукой не оказалось, вырубали топорами из-под низу, сменяя друг друга, а железо, как назло, толстое. Там, в тамбуре, стояли и курили трое. И вот судьба: один из троих был Леша Краснов, его как раз вызвали зачем-то в штабной вагон. В сплюснутом тамбуре, в железной этой коробке, когда мы прорубались, слышны были стоны и капало, но все тише, реже. Провели мимо двух железнодорожников, вели их быстро, подталкивая в спины, в шеи, на них зло оглядывались от вагонов.

Через несколько часов наш полк двумя эшелонами двинулся дальше. Впереди каждого из нас ждало свое, а всех вместе — бои в Венгрии, в районе озера Балатон, одни из самых кровопролитных за всю войну. По берегам этого озе-

ра теперь модный европейский курорт, туда съезжаются на машинах из Австрии, Швеции, из обеих Германий.

Лешу звали иначе, и фамилия у него была другая, но надо ли его родным, если кто-то из них жив, знать, как все это было. Он был хороший, смелый парень, зачем-то судьбе понадобилось даровать ему последнюю радость, а письмо его еще долго шло.

...Иногда мой четырехлетний внук вдруг просыпается среди ночи, садится в кровати, бормочет испуганно, глаза огромные, невидящие. Я укрываю его одеялом; сонный, тяжелый, он валится мне на руки и засыпает. Что напугало его? И сжимается сердце: неужели и в него в детском его сне кто-то стреляет, идет за ним с пистолетом?

1984

## ОСТАНОВИТЬ МГНОВЕНЬЕ

Теперь, когда Твардовского нет среди живущих, он равно принадлежит всем. Как принадлежит всему народу песня; как мысль принадлежит всем, независимо от того, чья она, кем высказана; как язык, на котором думают, говорят, передают нравственные заветы.

И многое посмертно поменялось местами. Даже на групповых фотографиях он отделился от тех, кто в силу разных причин оказался с ним рядом: не как ушедший от живых, а чтобы остаться жить.

Истинный художник, Твардовский сам рассказал о себе. Не столько даже в тех автобиографических заметках, которые по необходимости пишет каждый, а рассказал тогда, когда не о себе рассказывал. Таково свойство литературы: тут ни скрыть, ни самому скрыться невозможно. Независимо от намерений в книге каждый таков, какой он есть на самом деле, а не такой, каким хотел бы предстать.

Вот написанное на отдалении полугода воспоминание Твардовского о первом дне войны, о том, как он узнал, что началась война: «Я выбежал на улицу и направился к колхозному скотному двору, где накапывали навоз. Я, помню, пошел по улице нарочно тихо, как бы прогуливаясь, хотя это было трудно. Возле скотника стояло несколько пустых навозных телег, а мужики и женщины сидели на гряде прошлогодней соломы и молчали, я уже мог ни о чем их не спрашивать. Они сидели и молчали и ответили на мое приветствие так тихо, скупо и строго, как будто тут был покойник».

А вот последняя запись мирного предвоенного времени, которую он, перечтя, дописал уже во время войны: «...на выходе из города, у самой дороги — белого булыжника шоссе, — в узкой полоске тени от какой-то деревянной амбарушки или сарайчика, на пыльной травке сидел старичок, как сидят мужики в санях — подогнув под себя ноги. Он был без картуза, и его лысина с подтеками пота и прилепившимися прядками желтовато-седых волос освежалась в тени строения. Он уже расстелил платок на травке и расположил на нем хлеб, яйцо, две луковички и только что откупоренную и для предосторожности приткнутую пробочкой четвертинку. Я поздоровался и пожелал ему приятного аппетита.

— Садись — поднесу, — спокойно предложил он, блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазами этого светлого русского старца.

Это «поднесу» было исполнено приветливости и достоинства. Дыша ртом, старец смотрел на меня и ждал. Я вежливо отказался.

— Ну что ж, — так же спокойно согласился он, — смотри. — И, великодушно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз повторил, кивком указывая место напротив себя: — А то поднесу. А? Смотри...

И мне-таки жаль теперь, спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратным».

Это написано не о себе, а о людях, из которых кого-то к тому времени, наверное, уже не было на свете. Но сам он здесь такой живой, так виден и оцугим.

Многие, при жизни знавшие Твардовского, написали о нем теперь. Это тоже рассказы про него и про себя. И он в этих рассказах такой, каким его видели, но не обязательно такой, каким он был: ведь каждый понимает по-своему, а видит столько, сколько ему дано увидеть.

У меня нет намерения поместить себя на групповую фотографию. Но так случилось, что я имел возможность наблюдать Александра Трифоновича Твардовского; вначале — издали, потом — близко. Много лет мы жили под Москвой в одном поселке, встречались часто, о многом говорили, но я никогда не записывал эти разговоры. А вот, говоря его словами, «спустя столько времени жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратным».

Почти три десятилетия минуло с тех пор, когда я впервые увидел Твардовского. Он был автором знаменитого «Теркина», автором поэмы «Дом у дороги», которую я в то время еще не читал, но слышал отрывки по радио и за которую, следуя студенческому правилу: «Не важно знать, а важно сдать», сумел получить на экзамене «пять». Словом, для меня он был где-то высоко и далеко, откуда только голос радио доходит, и не был ни молод и ни стар, а был он — Александр Твардовский. Еще и то учесть надо, что, хотя я учился в Литературном институте Союза писателей и что-то писал уже, я был совершенно убежден, что ни из меня, ни из кого-либо моих однокашников, называвших себя прозаиками, драматургами, поэтами, конечно же, не может получиться писателем, потому что писатель — это совсем другое.

Вот в эту пору на встречу с нами приехал Самуил Маршак и с ним — Твардовский. Встреча была именно с Маршаком, а Твардовский приехал с ним вместе.

Не могу уже отделить то, как я тогда видел, от того, что узнал или понял потом, и рассказываю, как в общем сложилось и запомнилось. В актовом зале Литературного института, то есть когда-то частного дома Герцена, тесно набились мы, студенты, а за длинный стол, стоявший поперек, вышел под аплодисменты Самуил Яковлевич Маршак. Посто-ял, пока мы аплодировали: спиной к сцене, лицом — к нам. Потом сел, потрогал пальцами оправу очков с толстыми силь-ными стеклами, за которыми глаза его все равно казались маленькими и сожмуренными. Маршак, администрация института — образовался там небольшой президиум. А Твар-довский — оттого ли, что он шел позади, или в самом деле опоздал, — запомнился мне спешащим и опоздавшим. И сел он не за почетный стол, а в первый ряд, как хороший уче-ник, сел слушать. Только крупен он был для ученика, тесно ему там было, меж двух подлокотников; за головами и пле-чами в несколько рядов покатая его спина возвышалась.

Маршак рассказывал о своих переводах Роберта Берн-са: они тогда только появились. Говорил, как он в Шотлан-дии из окна замка увидел то, что видел Бернс, как важно это было увидеть и почувствовать, чтобы передать дух под-линника. Мне запомнилось, что вид был именно из окна замка, но может быть, так не было сказано, потому что ведь известно, что Бернс при жизни не владел замками, а, наоборот, как извещает Литературная энциклопедия, «ис-пытал на себе все тяготы аграрного и промышленного пе-реворота». Да и вид из окна, можно полагать, изменился за полтора столетия.

Зал на все реагировал живо: важно ведь не только что говорится, важно — кто говорит. А Твардовский слушал вни-мательно и серьезно. Он чтит поэзию Маршака; об этом он и говорил и писал. Он намеренно приехал вместе с Маршаком и скромно сел в первый ряд слушать.

Лет десять спустя принес я в журнал «Новый мир» свою повесть «Пядь земли». Перед этим я отдавал ее в другой журнал. Там долго знакомились с ней члены редколлегии: есть такое осторожное выражение «знакомиться с рукопи-сью». Наконец сообщено было: к разговору со мной готовы. Мне дорога была моя повесть, я твердо решил не вести не-обязательных разговоров. И потому сказал, пусть редактор прочтет, тогда уж будем говорить.

Прошло еще время, прочел и редактор. Вызвали меня. Каждому лестно открыть молодого автора, да ведь за моло-дого ты отвечаешь целиком, как отец за малолетнего сына, и страх нередко превышает опасность. Совсем иное дело,



когда в редакцию передает свою рукопись маститый автор, за которым – имя и многое другое стоит.

Это почти торжественный акт: состоялась передача рукописи.

Я выслушал все, что говорили. Но когда мне, артиллерийскому офицеру в недавнем прошлом, стали объяснять, что и пушки у меня не так стреляют (при этом спрашивали работников редакции всех подряд: «На сколько эти пушки стреляют?.. Ну вот, видите!..»), я взял свою повесть и понес ее в «Новый мир», к Твардовскому. Разумеется, не к нему самому сразу. Прозой ведал в то время Евгений Герасимов; ему я и отдал, честно сказав, откуда и почему принес.

На скорое прочтение я не надеялся. Но все как-то быстро завертелось. Дня через два или три позвонил Герасимов, сказал, что прочел, отдает рукопись Твардовскому. Вот тут страшно мне стало. Мне уже было что терять. И долгие дни каждый новый день: ведь не когда-то, а может быть, в этот момент, сейчас читает мою повесть Твардовский.

Вдруг вызвали на заседание редколлегии. Хоть и ждал, и каждый телефонный звонок был тот самый, которым судьба решалась, хотя уже Евгений Герасимов, добрейший человек, умеющий простодушно радоваться за других, как за самого себя, сообщил мне, что Твардовский одобрил повесть, решил печатать, и я, веря и не веря, осторожно носил в себе радость, с некоторым даже удивлением поглядывая на улице на людей – неужели не понимают? не чувствуют? – хоть всем этим был я, конечно, подготовлен, а все-таки вызвали вдруг. Это ведь не звонок телефонный раздался, это час пробил.

Среди дня, в назначенное время вошел я с улицы Чехова в парадные двери «Нового мира».

Сейчас пишут многие и рассказывают, что двухэтажный дом этот в центре Москвы был маленький, тесный, и внутри было тесно, хотя, мол, и уютно... Я так не чувствовал. Для меня здесь все имело не случайный смысл. Дом выходил окнами на площадь Пушкина, а дверьми – на улицу Чехова. И вот в эти двери мне было сказано войти. Я подымался по широкой лестнице, по которой карета могла бы проехать свободно. И наверху высокие старинные двустворчатые белые двери раскрылись передо мной, словно не я их открывал, а они сами раскрылись.

Не помню, кого я первого встретил, кого спросил, как пройти к Александру Трифоновичу, но осталось, что я шел через редакцию, по дороге обрстая людьми, выходящими из разных дверей, под конец шел уже как бы в центре небольшого шествия...

Конечно, это было не так: никому здесь, в редакции, не известный, я прошел к Герасимову, а он уже к Твардовскому меня повел. И улыбался при этом, счастливый до пота, и очки его блестели, и покрасневшее лицо. У меня же в груди по временам раздувался воздушный шар, едва не вознося меня, но я сжимал его и шел, единственно полагаясь на не забытую еще офицерскую выправку.

И вот — снова белые двери, главные здесь двери, и Твардовский подымается из-за стола. Тут, действительно, все стали входить, зазвучали голоса приглушенным хором, и хоть держались члены редколлегии не связанно, даже с некоторой внешней вольностью, чувствовалось, знают, где они, с кем, и есть незримая черта, которую не переступает ни один.

Расселись за длинным столом. Редколлегия — по обе стороны, Твардовский — во главе, спиной к свету, а мне через весь длинный стол было указано место напротив: то ли как имениннику, то ли как подсудимому.

На военных советах, как известно, первым говорить полагается младшему; примерно такой же порядок и здесь соблюдался. Что-то поощрительное, один за другим, говорили члены редколлегии, высоко в общем хоре взвивался тонкий на радости голос Герасимова, как в медный колокол, в круглое «о» бухал Деметьев — для солидности басом: «бом!», «бом!» — а слов не разобрать, хотя общий смысл понятен.

Подперев тяжелую голову, Твардовский курил. Солнце жаркое сквозь высокое окно слепило, и весь он в этом солнце был виден как сквозь сумрак, а дым сигаретный подымался над головой из тени — в свет. И хоть лицо его было неясно различимо, запомнилось выражение строгой серьезности. Сквозь свою думу, как мне казалось, он молча слушал и сидел подпершись. Пошевелился. Вздохнул. Стало тихо. Теперь заговорил он.

Если я тут упомяну что-то из его замечаний, так не для того, чтобы положить лишнюю краску на свою книгу. Твардовский напечатал ее и тем высказал главное свое одобрение. Но в том, что человек замечает, ценит или отвергает, есть он сам.

Он говорил не по порядку, а как складывалось:

— Земля на плацдарме сухая, закаменелая... Это чувствуется. Даже мина не берет, — он покачал головой с сомнением, возможно, усомнившись на отдалении лет, как же все это солдату было пережить, как же брал он ее своей лопаткой, когда мина не берет. И из собственного опыта подтвердил:

— Это было, это все так.

Вдруг отметил поощрительно, к членам редколлегии об-

ратясь и говоря обо мне, как об отсутствующем, в третьем лице:

— Немцев у него пленных гонят, заметили? Пот по лицам течет... Солдаты виноград едят, а они идут, глаза отводят... Немцы ведь, а он замечает, что жарко им, пить хочется... Это хорошо! Это правильно.

И вдруг неприязненно повернулся ко мне:

— Что же это вы отрицательному герою фамилию дали Иноземцев? Таких у нас не бывает, человек иной земли?

Честно говоря, мне и в голову это не приходило. Фамилия прилипчива. Так просто ее не найдешь, а уж если соединилась, с кем-либо, оторвать трудно. Был у меня солдат Иноземцев, не такой, как в книге, но для меня многое с ним слилось. Я попытался объяснить, что и почему, но он жестом как отрезал:

— Нет, вы ему фамилию перемените!

Дальше вовсе получилось странно: вместо Иноземцева дал я схожую по звучанию фамилию Козинцев. Так и было напечатано. И совершенно из головы вон, что есть известный режиссер Козинцев... А Григорий Михайлович Козинцев в Ленинграде прочел повесть, пришел на киностудию и спрашивает у редакторов:

— Скажите, этот человек меня знает?

Ему сказали, что нет, мол, не знает.

— Как же так? Даже внешне похож...

Мне это потом редакторы на «Ленфильме» рассказывали. Григорий же Михайлович, человек в высшей степени щепетильный, чтобы не подумали, что он может быть как-то необъективен, предложил на худсовете, в мое отсутствие, повысить мне оплату за сценарий. Вот так неожиданно обернулась история с фамилией одного из персонажей. После, для книги, я еще раз сменил эту фамилию, опять же на нечто близкое по звучанию: Мезинцев. Это когда уже мы с Козинцевым познакомились близко. Но все это — к слову, конечно.

Вид человека, награждаемого тобою, — приятное зрелище для глаз. И Твардовский не спешил завершить редколлегия. Он стал спрашивать: как живу? что? как? И, не дослушав, сам говорил:

— Хорошо!

Он чувствовал себя тогда хозяином жизни. В моем лице он спрашивал в мир входящего, как бы всему нашему поколению, входившему тогда в литературу, вопросы задавал. И говорил:

— Хорошо!

Я не считал, что все так уж хорошо. Мне было тридцать шесть лет в то время, но повесть свою, третью по счету, я все еще писал не за своим столом. То ранними утрами на кухне, пока соседи не встали, а то вечером допоздна, уходя из дому за несколько улиц. Была зима, стояли морозы, и вот, попивши чая горячего, так не хотелось уходить. А тут еще сыну — четвертый год, хочется поглядеть, как его спать будут укладывать...

Но, конечно, не про все эти обстоятельства спрашивал Твардовский, и смешно было бы ему это говорить. Да он и не столько спрашивал, сколько сам утверждал, и ответ требовался единственный: «Так точно, хорошо!» Как в «Теркине» у него: «Говорят: орел, так надо и глядеть и быть орлом». В нем самом и тот генерал жил, и Теркин, полагавший бесстрашно: «Ничего. С земли не сгонят, дальше фронта не пошлют».

И правда ведь, если не о временном думать, а иной мерой мерить — хорошо. Есть вещи, которые человек не должен уступать. И есть дни, которые должно помнить. Это был тот самый день. И не потому только, что судьба повести решалась: она была раньше решена. Но сам этот день был миг единственный, какой не повторяется.

Как часто не хватает нам простой мудрости не за тем гнаться, что впереди ждет, а не торопить мгновенье. Но тот раз я отдельно от всякой суеты чувствовал это.

А по времени был конец февраля 1959 года. На исходе зимы, в самом начале весны, после снегопада бывают в Москве такие чистые, ясные, солнечные дни. Нигде они так не ощутимы, как в старой Москве, когда идешь вверх по Петровке или по Неглинной, а солнце над всеми домами и крышами, и парит, и шуба на плечах тяжела.

После «Пяди земли» ни одной своей вещи я не печатал у Твардовского. Было искушение отдать ему повесть «Карпухин», а потом все же не отдал. Как раз эту повесть Твардовский отметил рецензией в своем журнале и прислал мне поздравительную телеграмму.

Все это говорю к тому, что отношения наши не были связаны с тем, печатает или не печатает мои вещи Твардовский. Этот немаловажный оттенок, к счастью, отсутствовал.

Минуло несколько лет после той редколлегии, и неожиданно мы оказались почти соседями: Александр Трифонович купил дом в том поселке, где я жил тоже. И начал заходить. Не часто, приглядываясь, потом — чаще. Заходил просто посидеть, поговорить.

От него был ближний путь на реку, но там обдавали пылью машины, идти надо было обочиной, сторонясь. А по нашей улице хоть и дальше, но — тихо. И вот с полотенцем под мышкой он иногда приходил.

Вставал он рано, часов в пять, в шесть утра, и на речку любил ходить по холодку, пока роса, туман над водой и одни только рыболовы сидят по берегам с удочками: то ли ловят, то ли дремлют, пригретые солнышком.

Однажды мы стоворились, что зайдет он часу в восьмом утра. Но потом оказалось, мне нужно ехать в Москву ранним автобусом, и в половине седьмого я пошел предупредить. Была середина июня, еще не косили, высоко по обочинам стояла трава. Но вдоль всего участка Твардовского было уже выкошено, как сострижено. И обочины, и кювет — ровная везде зеленая щеточка.

А сам Твардовский ходил по двору с топориком, явно искал себе работы. Я окликнул его через забор: мол, так и так.

— Ну зачем же вы шли? Я бы все равно шел мимо...

Но и год и два спустя он нет-нет да и напомнит: «А вот вы зашли предупредить...»

Очень он памятлив был ко всякому проявлению невнимания, и не только в отношении себя. Не скажет, как будто даже не заметит, но — запомнит. Особенно же задевало его, если дети не здоровались:

— Ведь взрослый человек идет, как это не поздороваться?

А дети в нашем поселке действительно здоровались далеко не все. И что того хуже — не со всеми. Это каждого нормального человека не могло не задеть: в детях всегда отражен дух семьи. Но у Твардовского еще и другое с этим связывалось: в деревне просто невозможно, чтобы взрослый человек шел по улице, а дети не здоровались с ним. Даже если это посторонний, незнакомый идет. Так, во всяком случае, было в пору его детства.

Обычно, прежде чем в воду войти, он складывал костерок на берегу. Повесит на дерево полотенце, рубашку и начинает собирать всякий мусор: ветки, щепки, коробки сигаретные, бумажки. Сложит вместе и зажжет. И сидит, смотрит на огонь, подкладывает по веточке. Однажды я сложил костер и зажег. Он ревниво удивился, что зажег я с одной спички. Вот так, помню, сказал мне и председатель колхоза в Камышинском районе Пустовидов, с которым мы зимой, в сильный мороз ехали лошаадьми степью. Остановились у омета, где много на снегу было заячьих следов, и я, загоро-

дась от ветра высоким воротником тулупа, протянул прикурить в ладонях и сам прикурил.

— С одной спички... — сказал Пустовидов поощрительно.

Однако тут было другое: хотел он сделать приятное городскому человеку, вот, дескать, вы можете по-нашему... А Твардовский, не скрывая, заревновал к чему-то такому, что только ему должно было принадлежать. Это тем более смешно, что за четыре-то года войны уж этому можно было научиться.

В нем жили привычки и понятия той, прежней его, деревенской жизни. То, что считалось умением тогда, сохраняло в его глазах значение и цену на всю дальнейшую жизнь, даже если это и не имело никакого практического смысла. Он, например, мог с четырех ударов затесать кол топором: удар — затес, удар — затес. И гордился этим:

— Ну-ко вот вы так!..

Но гордился он и тем, что в его журнале — лучшие корректора, что тут никогда не встретишь ошибку, опisku, неточность. Он и сам был грамотен, хотя этим качеством наделены далеко не все люди, имеющие высшее образование. Качество это в русском языке, я бы сказал, сродни чувству слова. Встретив ошибку в рукописи, он непременно сам выправлял и, как мне удалось заметить, бывал даже рад, если встретится особо сложный случай правописания. Тут он и объяснит еще, отчего, почему, как по незнанию могло бы показаться, но почему так быть не должно. За ним не стояло двух-трех поколений дворянской культуры, все свои университеты он сам проходил и знания свои не стеснялся подчеркивать.

Посидев у костерка, докурив, слезал он в воду, придерживаясь рукою за сук дерева. И мы плыли на ту сторону, где отражалась в зеленой воде белая балюстрада детского санатория, похожего на помещичью усадьбу, белые лестницы и колонны. Иногда останавливались там передохнуть; стояли под берегом, по щиколотки увязнув в иле, чувствуя, как он под водой засасывает все глубже и от него по ногам щекотно бегут вверх пузырьки газа. Но чаще сразу жеплыли обратно.

Еще только войдя в воду, после первых взмахов, Александр Трифонович окунался весь, с головой, и волосы намачивал, и затылок, потом, отерев мокрой ладонью лицо, плыл. А плыл он не спеша, мощно, спокойно: не плыл, а отдыхал в реке.

Зимой вместе с режиссером Иосифом Ефимовичем Хейфицем работали мы за городом. В поселке мало кто жил в ту

пору. Светили вдоль белых улиц фонари, пустые дворы завалены снегом, в окнах домов блестят черные стекла. Зима была снежная: перед урожайным годом.

Доработавшись до того состояния, когда уже оба не соображали ничего, решили мы часов в десять вечера пить чай. Я поставил чайник на газ, а сам забрел в темную комнату и стал у окна: ведь и не хочешь, а продолжаешь думать, не можешь отвязаться.

Смотрю – Твардовский идет от калитки. И как-то неровно, толчками, словно упирается. А тут еще свет качающийся. Ветер забросит фонарь за столб, и тогда на весь двор клином распирающимся ляжет тень, а то осветит ярко: снег сквозь голые вишни, одна сторона дорожки, прорытой в снегу, снежные лапы елей у забора.

Из-за поворота дорожки выбежал Фома, полугодовалый ньюфаундленд, ростом со среднего медведя, и шерсть – медвежья, бурая. Александр Трифонович вырастил его из щеночка и теперь один только и мог удержать на поводке. И то шел, оскользаясь ботинками, только что не ехал следом по льду. А Фома тянул впереди на четырех мохнатых лапах, красная пасть разинута, дышит паром.

Привязав его к рябине у крыльца, Твардовский вошел в дом, прямо-таки огромный в зимнем. Он ходил прогуляться по пустому поселку да и завернул на огонек.

С Хейфицем они были знакомы заочно, вообще к кино, тем более к писанию сценариев прозаиками, относился Твардовский весьма и весьма сдержанно. То же самое и о пьесах говорил, не считал это делом серьезным. И все же временами казалось мне, хоть он и отвергает и не считает делом серьезным, но это до поры, до времени, пока сам не взялся. Найдись искуситель-режиссер, и могло случиться.

Снял Твардовский зимнее полупальто – оно у него было тяжелое, драповое, с серым каракулевым воротником и прорезными карманами на груди, неизносное, напоминавшее покроем и видом те бобриковые, знакомые ему по воспоминанию, – и в желтой ковбойке, в лыжных теплых брюках сел к столу. На то место, на котором обычно мой сын сидел.

– Работаете?

Спросил неодобрительно, явно сомневаясь, что из такой работы может что-то получиться. Тем более когда ему самому не работается.

Сели на кухне пить чай втроем. Дома Александр Трифонович пил из огромной чашки, и варенье клубничное, домашнее, сваренное так, что все ягоды – целые, накладывала Мария Илларионовна в большие блюдечки.

У нас тоже пили из больших чашек, и налил я, как он любил, почти что одной заварки, разбавив фыркающим кипятком. Александр Трифонович курил сигарету и запивал чаем с блюдца. Разговор явно не получался. И не только потому, что они с Хейфицем, в сущности, не были знакомы, но и потому, что мы собирались работать еще, а он заранее все это не одобрял.

Снаружи стучали о жестяной отлив крыши замерзшие ветки рябины: это Фома дергал ременный поводок, а с ним вместе – все дерево. И скулил. Александр Трифонович не спеша пил чай, затягивался сигаретой, и в широкой его груди многолетнего курильщика хрипело.

Каким-то краем разговор коснулся великих людей. Я в ту пору дочитывал книгу о Нильсе Боре, взятую у Твардовского. И поразил меня рассказ о встрече Бора и Черчилля. Этих двух людей разделял век целый: Черчилль не весь еще из девятнадцатого века вылез, а Бор провидел уже век двадцать первый. И вот его, во время войны перелетевшего через Атлантический океан в Англию, чтобы объяснить, что началась атомная эра, что надо сейчас уже сделать выводы, иначе начнется то, что, собственно, и началось после войны, его Черчилль принял всего на десять минут и после короткого разговора заявил, что Бор – русский шпион и его надо отстранить от ядерных исследований.

Вот в связи с этой книгой я и сказал, что, наверное, интересно написать великого человека.

– А что великий! – Твардовский сидел, расставя полные в лыжных ботинках колени, ноги обуты в суконные ботинки на молнии, которые он донашивал за городом; он вообще старые вещи свои донашивал. Не потому, что они стоили что-то, а не мог выбросить вещь, раз она еще годна. – Что великий? Ничем особенным он от остальных людей не отличается.

И через свою думу убежденно и просто сказал опять:

– Великий – он обыкновенный.

Летом 1967 года попросили меня написать о Твардовском. С чем-то это было связано, требовалось срочно, и даже размер был определен: около трех страниц. Не очень я это умею – писать статьи, а еще то смущало, что мы знакомы и непременно он прочтет. Но и не написать о Твардовском было нельзя по всем обстоятельствам того времени.

Статья называлась «Заполненный товарищами берег». Я должен привести ее, чтобы понятней было дальнейшее.

«В годы, последовавшие за окончанием Великой Отечественной войны, постепенно начала устаревать и вскоре во-



все устарела грозная по прежним временам боевая техника, наше славное оружие, с которым мы освобождали родную землю, Европу, мир. Даже легендарная «катюша» стала теперь далеким прошлым. Сравнение ее с техникой наших дней просто непропорционально.

В эти же годы одна за другой отошли в прошлое и забылись многие книги военных лет. Время отодвинуло их. Только высокие создания человеческого духа оказались неподвластны времени. Такова судьба поэзии Твардовского.

Сейчас, когда поколения людей со школьной скамьи знают «Василия Теркина», когда без этой «Книги про бойца» уже невозможно представить себе всю нашу советскую литературу, а первое впечатление от чтения ее заслонено многими последующими, трудно восстановить в памяти, как тогда воспринимались солдатами на фронте разрозненные главы, не по порядку доходившие до них. Но одно я помню: была несомненная уверенность, что книга писалась на нашем фронте и даже где-то здесь, близко. Такое ощущение сопутствует книгам, где правда все: и целое, и частности. Мы не задумывались тогда над тем, что только очень большие художники способны в одну судьбу вместить судьбу всего народа: потому каждый, читая такую книгу, находит в ней и самого себя. Мы объясняли это проще: значит, автор был здесь, знает, сам прошел. И книга вызывала благодарное доверие.

Даже после войны я искренне считал, что бой за «населенный пункт Борки» — это бой за деревню Белый Бор на нашем Северо-Западном фронте.

Где вода была пехоте  
По колено, грязь — по грудь;  
Где в трясине, в ржавой каше,  
Безответно — в счет, не в счет —  
Шли, ползли, лежали наши  
Днем и ночью напролет...

Бой шел, как сказано в книге, на втором году войны, сходились приметы большие и малые. Я мог бы, как карту с местностью, сличить эту главу из «Теркина» с тем, что было у нас. И каким необходимым оправданием безымянных ратных трудов, какой прекрасной памятью павшим безвестно звучали в конце главы слова, которым суждено, как и подвигу, остаться:

И в одной бессмертной книге  
Будут все навек равны –  
Кто за город пал великий,  
Что один у всей страны; –  
Кто за гордую твердыню,  
Что у Волги у реки,  
Кто за тот, забытый ныне,  
Населенный пункт Борки.  
И Россия – мать родная –  
Почесть всем отдаст сполна.  
Бой иной, пора иная,  
Жизнь одна и смерть одна.

Это было так, словно мы сами сказали эти слова. Подлинное искусство всегда совершает эту подмену: выражая то, что смутно ощущается людьми, оно оставляет читателю и радость открытия, и уверенность, что автор просто высказал его мысли, его словами сказал.

Но еще и потому такое доверие вызывала «Книга про бойца», что в каждой строке ее обнаруживались понимание и знание тех простых вещей, которые составляли существо солдатской жизни на фронте, вещей по видимости малых, но без которых не творится ничто великое. Писатели ограниченные стараются эти вещи обходить, беря себе задачей говорить только о «главном».

Восхищая точной правдой подробностей, удивительной силой народного характера, книга рассказала о том, чем жил народ на войне, и казалась не загаданной на дальний срок. Так солдат на фронте далеко вперед не загадывает, а воюет честно, и в этом – все то великое, что совершает он для настоящего и для будущего, даже если ему в том будущем жить не суждено.

Но, видимо, так только и создаются книги, которые переживают время. Вся их боль, и страсть, и радость – в настоящем, и потому так важны они грядущим поколениям.

Самое удивительное, быть может, то, что писал свою книгу Твардовский не на отдалении, в зрелую пору раздумий о минувшем, а писал ее там, на фронте, «без отрыва от колес». Впрочем, примеры тому в русской литературе есть – «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. С тех пор как писались они, не раз сменилось все то, что казалось неизблевым: и воинские уставы, и законы, и боевая техника прошла путь от гладкоствольных ружей до ракет, и даже многие государства исчезли бесследно, а другие народились на карте мира. Пожалуй, только хлеб и вода остались такими

же неизменными, необходимыми каждому и вечными; свойство, подобное этому, к слову сказать, лежит и в основе искусства.

Какие войны сотрясали с тех пор шар земной, какие яркие писательские имена зажигались и гасли на литературном небосводе, а «Севастопольские рассказы», ничего не потеряв, и сегодня поражают, как слово, сказанное впервые.

Значит, дело все-таки не в отдалении, а в размерах личности художника. В мире, открытом каждому, не каждый способен совершать открытия. Великому художнику из гущи событий видно то, что другим не суждено увидеть и по прошествии лет. Потому для книг, созданных великими художниками, границы времени – понятие относительное. Необходимые современникам при появлении своем, как будто даже для них только и писавшиеся, они потом переживают своего создателя.

Мне хочется в связи со сказанным привести строки из стихотворения Твардовского, помеченного послевоенной датой: «В тот день, когда окончилась война». Оно сегодня звучит так же, как в пору, когда было написано:

В тот день, когда окончилась война  
И все стволы палили в счет салюта,  
В тот час на торжестве была одна  
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,  
Под гром пальбы прощались мы впервые  
Со всеми, что погибли на войне,  
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине  
Мы не прощались так бесповоротно.  
Мы были с ними как бы наравне,  
И разделял нас только лист учетный...

И только здесь, в особый этот миг,  
Исполненный величья и печали,  
Мы отделялись навсегда от них:  
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,  
Что нам уже не числиться в потерях,  
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,  
Заполненный товарищами берег...

Пока мы живы, он никогда не скроется из глаз, «заполненный товарищами берег». А когда время соединит с ними, то и тогда слова эти многое скажут будущим людям, дадут им почувствовать особую для душ минуту, и среди них, живых, незримо встанут те, кто ушел.

Чем больше поэт, тем большим он обязан своему народу. Он обязан народу всем, что ему дано. И только по прошествии времени становится ясно, что и народ многим обязан своему поэту. Расул Гамзатов сказал однажды, что у его народа тоже были свои Ромео и Джульетты, не было только своего Шекспира, чтоб рассказать о них, и потому никто о них не знает.

Когда отсеивается все временное, незначительное, люди на отдалении смотрят на минувшее глазами большого художника, зримой реальностью становится для них жизнь, которую он запечатлел. Целые эпохи исчезли бесследно из памяти народов потому, что не было у них своего поэта.

Создаваемые на самом недолговечном, подверженном тлению материале, литературные памятники имеют свойство переживать и бронзу, и мрамор, и гранит».

Несколько дней я не заходил к Твардовскому. Он тоже не заходил. И вот как-то под вечер, после жаркого дня вернувшись из Москвы, пошел я с семьей на реку. Но не туда, где он обычно разводил свой костерок у моста, а через поле и луг — к деревне: там хоть и не широко, но народу бывало поменьше, гоготали гуси на берегу, с шипеньем уступая дорожку, телята забредали непривязанные.

Подходим — Александр Трифонович стоит один на берегу, собирается лезть в воду. Полезли вместе и поплыли по течению к острову. Был тогда остров на повороте реки, ветлы душлистые стояли над водой, густо росла бузина, крапива, дикая малина. Потом умная чья-то голова додумалась расширить реку. Срубили деревья, пригнали земснаряд, он всосал в себя половину острова и выплюнул на берег. Тут только задумались: может, не надо? И оставили, что осталось, собирать тину вокруг себя.

Но тогда остров еще был, и мы плыли к нему посреди реки. Тишина опускалась предвечерняя, хорошо были слышны голоса из деревни, лай собак по дворам.

А когда плыли обратно, садилось над затоном огромное красное солнце. Мост выгнулся, как нарисованный, и по нему, по диску солнца, быстро бежала черная машинка. Оторвавшийся от нее на берегу хвост пыли волокло ветром на деревню. Потом и на другом берегу стала вздыматься пыль. А по закатному зеркалу воды с берегов полз туман,

его словно выдувало из-под моста, и скоро мы плыли в сплошном розовом тумане.

— Может ли это быть, — прямо-таки с нежностью спросил Александр Трифонович, — что от вас водочкой пахнет?

— Может быть, Александр Трифонович. И даже так и есть. А еще есть у меня дома неначатая бутылка коньяка.

И мы пошли после речки ужинать к нам домой. Как всегда, сел Александр Трифонович на то место за столом, где обычно сидел мой сын: спиной к стене. Почему-то место это ему нравилось. Только стол отодвигал он от себя, иначе было ему тесно. А дети сбоку сидели рядышком, притихшие при нем. Поужинав, они ушли.

Мы долго сидели в тот вечер на кухне, хорошо было, душевно, и он сказал поразившие меня слова:

— Вы знаете, ведь это, может быть, третья такая статья за всю мою жизнь.

О многом под настроение говорилось. Могучий, грузный, он встряхивал просыхавшими волосами, удаль глядела из светлых его глаз:

— Нет, ничего, ничего... Все-таки все — ничего!

Выпито было в меру: мы начали и кончили бутылку коньяка. Он все уговаривал жену выпить с нами стопочку, как-то особенно уважительно произнося имя-отчество: Эльга Анатольевна. Ему нравилось, что она — хозяйка, мать.

И не впервые в тот вечер слышал я от Твардовского:

— Чтобы писать, нужен запас покоя в душе.

Именно — покоя. Но не спокойствия. У Толстого был такой запас покоя единожды в жизни: между тридцатью пятью и сорока двумя годами. Он видел тогда возможную гармонию мира, он смог написать в ту пору «Войну и мир».

Я провожал Александра Трифоновича, и уже у калитки он сказал, желая сделать приятное:

— Ну, ничего, бог даст вам за ваших детей.

Так это и осталось со мною.

Однажды я зашел к Александру Трифоновичу часу в шестом вечера, но дома его не застал: он был в Москве. Я уже выходил из калитки, как вдруг подъезжает машина, а из нее вылезает Твардовский, нагруженный словно с ярмарки: кульки, папки, кулечки — и локтем прижато, и в руках перед собой несет. Я хотел зайти после, но он не отпускал, и мы вместе пошли в дом.

В доме все это стало выгружаться: обсыпанные мукой свежие калачи, из бывшей булочной Филиппова привезенные, еще что-то, еще. А он ходил среди всего радостный,

освобожденный: подписан в печать номер журнала, в типографию ушел. Великий груз снялся с плеч. А что в папках привезено, это уже – в другие номера.

Дом у Твардовских был хлебосольный, хозяйка Мария Илларионовна – хорошая, и за столом Александр Трифонович сидел, сдержанно гордась. Для него вообще, как можно было заметить, дом существовал не в городском понимании, а скорее в крестьянском, родовом: это не место жительства, которое легко меняют ввиду лучших удобств, это – твое место на земле. И хотя дом этот под Москвой, не им построенный, никак не напоминал отчий дом на Смоленщине, разрушенный войной, значение, с детства воспринятое, оставалось.

Он сидел за столом, освобожденный от недавних забот, увлеченно рассказывал про одну рукопись, которая самотеком пришла в журнал. Никак невозможно было печатать ее: автор – совсем малограмотный человек.

– Но какие точные подробности! – восторгался Твардовский. – Такое не выдумаешь. Это только солдат мог написать!

Он и сам был на редкость точен. В «Теркине» такое тонкое знание мельчайших подробностей солдатского быта, какое не поэтам присуще, а скорее прозаикам. Ну и тем, разумеется, кто сам все прошел.

Конечно, Твардовского, до войны уже автора «Страны Муравии», среди немногих в ту пору награжденного орденом Ленина, его даже при очень большой настойчивости не допустили бы в окопы ни при каких обстоятельствах. А когда такой человек с корреспондентским заданием прибывал к командиру дивизии, тот нес за него ответственность. Потому как бы радостно ни встречали, а провожали еще радостней, живого, целого.

Если бы не огромный талант, да еще если бы сам он не был крестьянским сыном, ему бы с одним лишь его военным опытом не написать «Василия Теркина». Не случайно больше никому подобное не удалось. И вот сознание, что эту часть жизни он не столько сам испытал, сколько имел возможность наблюдать, врожденный такт и еще большее чувство собственного достоинства побуждали его в разговоре с бывшими солдатами, строевыми офицерами непременно такую фразу сказать: «Ну, да вы это лучше знаете...» Не уверен, что во всех случаях так он считал, но он считал своим долгом так говорить.

И вот за столом, гордась этой рукописью, как он гордился всем, что к его журналу относилось, Твардовский расска-

зал оттуда подробность: солдат под огнем плывет через реку, пулеметные очереди секут так близко, что он отдергивает руки под воду. Рассказал и засомневался как будто. И опять свою фразу сказал: «Ну, да вы это должны лучше знать...» Но тут Мария Илларионовна, которой показалось, что он себя умалляет, вступилась за его честь:

– Ты, слава богу, тоже повидал... Что тебе досталось, другому на передовой не пришлось...

Александр Трифонович только чуть улыбнулся, по-мужски призывая прощать такую понятную заботу.

А подробность, действительно, была точная. Я знал случай в нашем полку, когда из двух братьев, служивших вместе, одного убило, а другой пополз за ним, чтобы вытащить с поля. И тут заработал пулемет. Всякий раз, когда пулеметная очередь ложилась близко, он отдергивал руки под себя.

– Ну вот, я же говорю! – обрадовался Твардовский. – Конечно, такое не соврешь. И не выдумаешь.

В нем неколебимо и свято было отношение ко всему, что пережил народ, вынесший на себе такую войну. А перед теми, кто с войны не вернулся, кто за всех за нас остался там, жило в нем сознание вины живого перед павшими. Потому-то на отдалении лет, после «Я убит подо Ржевом», после «В тот день, когда окончилась война», написал он «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны...», заканчивающееся пронзительно-искренне: «но все же, все же, все же...»

Это «все же...» не одного его сопровождало и сопровождает в послевоенной выпавшей нам жизни. Но только он смог так за всех сказать.

А тогда, вернувшись из Москвы, свалив груз с плеч, такой он у себя дома за столом сидел радушный, радостный.

Когда солнечные дни следуют друг за другом, уже и не так солнце замечаешь, как жмуришься недовольно, что слепит. Но предгрозовое, предзакатное – как яркое и короткое, как щемящий его особенный свет.

Ни в Твардовские, ни в Есенины не назначают. Жизнь богаче оттого, что они есть, бедней, когда их нет.

Твардовского нет, и многое многим стало не стыдно.

Не знаю, где еще так велико значение нравственного примера, как велико оно в литературе. Хорошо пишут многие, но великая книга – это всегда нравственный пример.

Вижу, как сидит Александр Трифонович у костерка на берегу, поджав по-турецки босые опухшие ноги. Еще не обсох после купания, и волосы мокры; сидит и смотрит в огонь.

Быть естественным всегда и везде – невозможно. Где-то надо и показаться, и тон взять нужный. Он это умел. Но при всем при том он оставался самим собой. Он не играл роль, он жил и занят был делом жизни. И значение свое сознавал. Это чувствовалось. Была в нем та сосредоточенность, та ненапускная значительность, которая отличает человека, живущего собственной духовной жизнью.

Все больше я убеждаюсь, что есть в жизни своя скрытая мера и поступков, и дел, и вещей. Кто черпал из жизни, как из колодца, – и свое вычерпать спешил, и чужое, – как бы он ни утверждал себя, как бы ни возносился, не станет его – и нет ничего. Жить посмертно суждено тем, кто стремился не из жизни взять, а свое оставить людям. Такова природа таланта.

Истинный талант бескорыстен. Его не надо насаждать, издавать какие-либо приказы, распоряжения. Власть его – духовная, добровольно признаваемая людьми. Вмещающая прошлое, такая жизнь длится в будущем, в ней особенно ощущается связь времен.

Это и Твардовского судьба.

После поездки в США пришлось мне как-то к слову рассказать Александру Трифоновичу про американского критика и поэта Кеннета Рексрота, старого уже человека, знавшего в свое время Хемингуэя. Мы сидели у нас во дворе, в беседке.

Когда-то на всем участке только здесь была тень. Потом поднялись посаженные лиственницы, черемуха, рябины, беседку накрыло их тенью, а деревянные ее столбы подгнили, и пришлось врыть пасынки из обрезков труб. Александр Трифонович садился в беседке всегда на одно и то же место, опирал палочку о стол, а врытая в землю труба оказывалась у него под правой рукой. Он курил и стряхивал в нее пепел, туда же бросал окурки, обещая, что когда-нибудь наполнит ее доверху. А курил он всегда одни и те же сигареты «Ароматные», запахом которых и сам был пропитан.

Так вот, рассказывал я про Рексрота, а он слушал без особого интереса, налегши грудью на стол. Вдруг оживился. Это когда я сказал, что, если человек долго живет на свете, странная вещь происходит: с какого-то момента он уже не отдаляется от жизни минувшей, а, наоборот, ему все ближе, понятней становится то, что за сто и за тысячи лет до него было. Словно это теперь тоже часть его собственной жизни. Твардовский быстро взглянул своими светлыми глазами – в них мысль и строгая серьезность, – подтвердил:

– Да! Это я знаю!



Он это не по наблюдению, он по собственной прожитой жизни знал.

Не помню, чтобы когда-либо мы говорили с ним о смерти. Конечно, все в жизни от нее неотделимо, самое главное проверяется у ее порога, но чтобы вот так прямо о ней говорили — не помню. Однако осталось впечатление, что относился он просто к тому, что для каждого, сколько на свете ни живи, кем ты ни будь, а неминуемо настанет время уйти на тот, «заполненный товарищами берег».

Даже рассказывая о смерти Казакевича, с которым он был дружен и последние дни сживал у его кровати, он, собственно, не о самой смерти рассказывал, а о том, как Казакевич, обреченный уже, замученный болями, все говорил, как надоело ему проворачивать в голове недописанный роман, как тяжело это, как он от этого устал.

Вот о том, что умер, не дописав главной своей книги, до последнего часа проворачивая ее в мозгу, об этом Александр Трифонович рассказывал, и вновь к этому возвращался, задумываясь, как я понимал, не только о Казакевиче.

Но кто знает заранее, какая книга — главная? И где она? Ее всегда хочется видеть впереди, а оказывается нередко, что главной была та, которую писали со свежими силами, многого еще не ведая и не слишком серьезно относясь к себе.

Он спокойно переносил боль, не прислушивался к болезням. Даже когда у него начала отниматься рука, он что-то еще делал в саду, кажется, пытался косить или копать.

Я увидел Александра Трифоновича, когда его привезли домой из больницы: после многократных лечений, после облечения. Все уже знали: надежды нет.

Многие в те дни старались вести себя при нем естественно, так, будто ничего не случилось, и это была мучительная ложь. Лишенный дара речи, сильно исхудавший, истончившийся, он смотрел молча, все видя, все понимая.

А вот Зиновий Гердт как будто ничего и не старался. Он приходил, сильно хромя на свою раненую ногу, спрашивал деловито:

— Так!.. Кипяток есть? Помазок? Будем бриться.

И крепко мылил горячей пеной, не боясь голову сотрясти, брил, как здорового, и что-то рассказывал своим громким голосом. Обвязанный полотенцем, намыленный, а потом умытый, с лоснящимися после бритья щеками, освеженный, Александр Трифонович радостно смотрел на него, охотно слушал.

А утешение доставлял младенец, младший внук. Не ведая ничего и не сознавая, с той правотой, которую жизнь дала, он топал по полу, не страшась штаны потерять. Обутый в толстые шерстяные носки деревенской вязки, как дед его когда-то, светлый, рыженький, неправдоподобно похожий, он топал храбро по дому, а дед поворачивал голову, смотрел вслед, провожал взглядом.

Твардовский умер в декабре.

А летом вновь так же высоко стояла трава по обочинам, и у его забора впервые за много лет никто ее не косил.

Перед днем его рождения, перед 21 июня, хотелось мне выкосить и обочины и кювет, как он любил, чтобы ровная густая щеточка зеленела вдоль всего участка. Я и косу наточил, с вечера приготовил: думал, приду пораньше, пока в поселке все еще спят. Для самого себя хотелось. И в память о нем. Но — не решился, не спросив. А спрашивать было неловко: ведь могли быть соображения, которых я не знал и которые не обязаны были мне говорить.

Косил там, насколько я знаю, сторож из детского санатория Евгений Антонович Беляков, хороший, мудрый старик. При жизни Александра Трифоновича он часто заходил: что-либо сделать по хозяйству, и так просто, поговорить. Придет, тихий, стесняющийся, подаст руку:

— Как чувствие?

И щурится, словно на солнышко глядя. А руки его, черствые, с разбухшими суставами и пальцами, как бы даже неразгибающимися до конца, много-таки поработали на своем веку. И все — с толком, умело, не спеша. За деньги ли, без денег, но всегда — на совесть. Сохранил старик это редкое в наши дни качество, это уважение к себе, которое столькими утеряно.

Александр Трифонович любовался стариком. Мне даже казалось, что в чем-то существенном сам он утверждает, глядя на старика. Бывало, рассказывает — не раз он это рассказывал и мне, и, наверное, не мне одному:

— Спрашиваю его: «Годков-то тебе сколько же?»

Тут Твардовский непременно повышал голос, будто глухому старику в ухо кричит. Делал он это бессознательно, поскольку Евгений Антонович в свои годы не только слуха не потерял, но слышал не хуже нас обоих.

«Годков тебе сколько, говорю?...»

«А семьей миновал...»

Вот этим «семьей миновал» Александр Трифонович восхищался. Не год, конечно, седьмой, а «семьей» десяток. И видно, не вчера миновал. Но при всем при том сохранил старик

собственный разум, твердые понятия и свои представления обо всем в жизни. Не кто-нибудь, а сам он себя продолжал кормить в такие годы, и хвори свои хоть и не без помощи врачей, но больше все же собственными средствами одолевал, теми травками и настоями, которые «способствуют».

Он и косил в тот год вдоль участка.

Не знаю, сколько осталось мне весен, но почему-то я особенно чувствую нынешнюю, быстро уходящую. И снег стремительно тающий, и ослепительный блеск солнца в вешней воде. Словно никогда еще оно так не светило, не блистало.

И думаю я сейчас, на тающий снег глядя, спиную чувствуя, как солнце печет, — думаю я о тех, кто эту весну уже не увидел. Не думаю даже, а чувствую за них. Как стало их много, какой длинный ряд безгласный, и все больше, больше там дорогих мне людей.

Последняя весна Твардовского была здесь, на Пахре. Здесь он ее видел, казался еще здоров.

Помню, как-то косил я перед домом. Было начало лета. За городом постоянно этот соблазн: бросить работу и пойти копать, косить или столярничать. Но тогда это было под вечер, после работы. Сильно липли комары на потную шею, предвещая на завтра жаркий день. Срезанная трава пахла свежим соком.

Вдруг вижу, от калитки идет по дорожке Александр Трифонович со своей палочкой. Я бросил косить, стал точить фосу. Но не так, как косари на лугу, взявшись рукою за обух, а как мне было удобней: носком уперев в столбик. Знал я, что все это он заметит, непременно посмотрит, низко ли, ровно ли срезана трава, но я так привык и мне было так проще.

Концом своей палочки он шевелил скошенную траву и говорил о том, что вот пишут: «пахло сеном», а сколько и каких запахов имеет скошенный луг! Когда только скошен, когда его солнцем печет полуденным, когда граблями ворошат невысохшую, провянувшую траву. И вечером, когда луг влажен. И сложенное сухое сено... Все это разные же запахи!

Стоял он такой задумавшийся, волосы, легкие, светлые, почти совсем уже седые, чуть ветер шевелил на лбу. И вдруг спросил, читал ли я года два назад напечатанные в журнале «Иностранная литература» отрывки из записных книжек Томаса Манна. Есть там мысль, что только искусство способно остановить мгновение, только оно одно может это.

Как быстро все в жизни совершается. Когда мы с женой посадили эти елки перед домом, они были меньше нашей пятилетней дочки. Осталась фотография: дочь наша и елки —

ниже нее. А родилась она в том самом мае, когда у Твардовского в журнале «Новый мир» печаталась моя повесть «Пядь земли»; так получилось, что они – ровесницы, вместе появились на свет. И вот уже ели поднялись выше дома, и мы стоим под ними, и Александр Трифонович концом своей палочки шевелит скошенную траву.

Он остановил мгновенье. Вот с этой самой палочкой идет он, бывало, улицей нашего поселка, широкой, как в деревне, улицей. Или по лесу идет. А то сядет на пенек и палочкой шевелит на земле палую листву и взглядывает на солнце сквозь вершины. Вот таким и вижу его, когда читаю это, мое любимое:

На дне моей жизни,  
на самом доньшке,  
Захочется мне  
посидеть на солнышке,  
На теплом пенушке.  
И чтобы листва  
красовалась палая  
В наклонных лучах  
недалекого вечера.  
И пусть оно так,  
что морока немалая –  
Твой век целиком,  
да об этом уж нечего.  
Я думу свою  
без помехи подслушаю,  
Черту подведу  
стариковскою палочкой:  
Нет, все-таки нет,  
ничего, что по случаю  
Я здесь побывал  
и отметился галочкой.

Зимы сменяются веснами, и летними вечерами все так же в наклонных лучах красуется палая листва. Наверное, в этом есть и утверждение, и великая правота жизни.

Каждый раз, когда ранним утром я иду на автобус по гулкому над водой деревянному мосту, стоят уже у мокрых железных перил, сидят на берегу и в лодках среди тишины озябшие рыболовы: и те, что тогда были, и те, что за это время подросли. Мокро еще все: и трава и лес. А река словно паром исходит. Это согревает ее низко поднявшееся над лесом солнце, чистое, оттого что чист воздух, отстоявшийся

за ночь. И так же точно у дальнего берега, к которому мы плыли, бывало, отражены в зеленой воде белая балюстрада и белые опрокинутые колонны детского санатория. Всплещет рыба, все это заколеблется в воде, расходясь кругами.

И опять я вижу на том же самом месте дымящийся костерок на берегу, сложенный из сухих веток, из мусора. Придерживаясь рукой за сук дерева, по мокрому, осыпающемуся под босыми ногами берегу спускается к воде грузный человек. Вода в этот час теплой воздуха, а дно у берега илистое, вязкое. Он входит по колени, потом со вздохом ложится в воду и плывет к тому берегу, не размашисто, не шумно плывет над зеленой глубиной.

Дважды не войти в ту же реку, и дважды ни река, ни время не текут. Далеко теперь те воды, что протекали тогда здесь, под мостом. Не раз они с тех пор пролились дождями и вновь обратились в пар.

На вышнем ветру плывут они над нами в небесной выси, и вечное солнце светит сквозь них. Какими оттуда, из дали расстояний и времен, увидятся наши заботы, наши боли и дела? Увидятся ли? Нет, все же увидятся.

Вот и его слово, его поэзия, придя из жизни, вернулись в жизнь.

## ОН БЫЛ И ОСТАНЕТСЯ

Сейчас столько сказано, столько написано о Шукшине, разысканы и печатаются его незаконченные или отложенные до времени вещи, которые сам он не печатал при жизни, что уже вспоминаются слова из бунинского завещания: «Умоляю... не искать и не печатать моих стихов и рассказов, рассеянных по разным газетам и журналам и никогда не введенных мною в издание моих книг...»

Вершиной Василия Шукшина была «Калина красная», вершиной были те рассказы, которые при жизни увидел он напечатанными. Надо ли заслонять их тем несовершенным, что лежало, как говорится, в столе, ждало своего часа, может быть, дождалось бы. Надо ли?

При жизни мы никогда не были близки лично, а встречались по разным причинам не однажды. Году что-то в шестидесятом возникло на «Мосфильме» объединение писателей и кинороботников: так оно назвалось. Это было время, когда разукрупнялись министерства, веяние это докатилось до студии, и на ней тоже было образовано как бы несколько маленьких студий, имевших свои полномочия и права. Не впервые за нашу жизнь что-то разукрупнялось, что-то сливалось вновь. Эти волны периодические один мой товарищ сравнил с тем, как во время войны по несколько раз перешивалась железнодорожная колея: зайдем местность мы — перешиваем колею на широкую, выбьют нас немцы — опять перешивают на узкую. Потом опять мы распрядем.

Так вот, возникло новое объединение на «Мосфильме», и среди окончивших ВГИК, кого мы особенно привлекали, был Шукшин. Собирался он ставить один весьма посредственный сценарий, собирался с неохотой. Придет, бывало, сидит на диване — был такой желтый плюшевый диван в комнате, — слушает, что говорит ему автор, соглашается вроде бы даже радостно, глаза думающие (но это — для автора: он ведь прекрасный был актер!), а взглянуться поглубже — томлящиеся глаза.

Сейчас может показаться странным: Василию Шукшину — и вдруг предлагают посредственный сценарий, и он почему-то должен ставить сценарий не свой, а чей-то... Но он ведь тогда еще не был тем Шукшиным, которого знают теперь: и фильмов своих не поставил, и рассказов многих своих не написал, во всяком случае, не обнародовал. До этой зрелости мастера нужно было еще целую жизнь прожить, не утратив того, что в нем уже тогда было.

Все же ставить тот фильм он не взялся. Когда у человека есть дар в душе, есть и то, что этот дар оберегает, не дает растратить по мелочам. Если б еще оно всегда оберегало!

Спустя года два или три встретил я его однажды утром в трамвае: я вошел на остановке, он сидел у окна. Поздоровались. Был он с утра какой-то озябший. И не потому, что осень стояла. Все поводит плечами, словно зябла спина. Лицо несвежее, хмурое, руки в карманах пальто держал. И говорил о том, что вот никак не прописывают его в Москве, что жить негде... Пропиской я не ведал, помочь ему было не в моих силах. Но у меня уже было жилье, и тут хоть и не виноват, а виноватым себя чувствуешь. Оттого и разговор не получался.

А последний раз видел я Шукшина вот как: позвонила Лидия Николаевна Федосеева, позвала нас с женой на просмотр «Калины красной». Ее еще только должны были принимать... Василий Шукшин лежал в больнице, у него обострилась язва: конец фильма – это и силам конец, тут сразу все хвори набрасываются.

Не помню, чтобы какая-нибудь картина последних лет поразила меня так, как поразила тогда «Калина красная». Вышли мы в коридор, сероватый после яркого света, зажегшегося в зале. А в коридоре у дверей – Василий Шукшин стоит, ждет: убежал из больницы. Лицо нездоровое, похудевшее, щеки запали, жесткие, словно небритые, с тенями от скул: свет был верхний. Сергей Залыгин первым увидел его, обнялись они, и – слезы у обоих.

Удивительный это фильм. Многие можно в нем опровергнуть или, наоборот, объяснить, что и почему хорошо. Не объяснишь только, почему он так очищает душу. Да и нужно ли это объяснять? Подлинное искусство – это всегда чудо. Потому и необъяснимо, неповторимо оно. Ведь не только жизнь окружающую, но и себя понять, себе что-то важное объяснить хотел человек; без этого не бывает искусства. Со стороны тут вовсе не видней. Свое открытие мира – в человеке ли, вокруг него – художник должен совершить сам, он один.

Никто за него не сможет этого и не сделает, хоть многие возьмутся поучать.

О фильме «Калина красная» писали много.

И обсуждали его во многих аудиториях. Впечатление такое было, словно ждали этот фильм, дождались.

В одном обсуждении, проходившем в журнале «Вопросы литературы», участвовал и я. Суждения высказывались крайние, исключавшие друг друга, ну да это и не удивительно.

Искусство, как жизнь, каждый понимает по-своему, если вообще способен понять. А есть люди, от природы лишенные слуха, ни одну самую простую песенку не смогут напеть, но уверенно пишут о музыке.

В бытность свою президентом Академии наук академик Несмеянов рассказывал, как обратились к ним с просьбой разработать для ресторана «Прага» устройство, чтобы двери сами раскрывались перед посетителем. Такое утилитарное отношение к науке сегодня вроде бы уж стало анекдотичным. А от искусства по-прежнему ждут немедленной отдачи, подходят с практической меркой.

Но вот Бунин в статье «Думая о Пушкине» пишет: «После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуясь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад, и долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из этой напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствую бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней...»

И далее в связи с вопросом «Каково было вообще его воздействие на вас?» Бунин пишет: «Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни... Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что я вижу: «Мороз и солнце, день чудесный...».

Я тоже знаю это по себе. Зрелым и уже немолодым человеком я впервые в жизни увидел в солнечный день с самолета Кавказские горы, Казбек. А он, «как грань алмаза, снегами вечными сиял». Будто не за меня Лермонтов, а мне самому так увиделось. А ведь он никогда не смотрел с самолета и все же видел мир таким, каким открывается он с вышины.

Но если даже слово не прозвучало и не вспомнилось, если мы только почувствовали и увидели, то и тут искусство было с нами, оно помогло нам увидеть.

«Да как же учесть, как рассказать» обо всем, что дает нам искусство, что вбираем мы в себя большей частью даже неосознанно, когда читаем Пушкина, Толстого, сказки Ан-



дерсена? Какова доля искусства в том, что мы научились видеть и понимать мир, любить свою родину, ощутили себя сыновьями ее? И нужно ли, можно ли сводить воздействие искусства к чему-либо одному полезному и практически годному? Не себя ли обкрадываем?

Неосмысленными глазами, в которых мир перевернут, мы еще не видим своей матери, когда она уже любит тебя и радуется. И уже тогда, не уча, а только любя и радуясь, закладывает в нас человеческое.

Вот так и искусство, которое «со мной – и так особенно – с самого начала моей жизни...»

Как-то в ВТО известный поэт, мой ровесник, выступал, читал стихи, посвященные защите природы, и то ли в стихах своих белых, то ли в речи известил слушателей с большой долей самоутверждения, что он в своей жизни никого не убил. И раздались дружные аплодисменты. По логике происшедшего, по всему этому внезапному одушевлению, мне надо было почувствовать себя неловко: все четыре года войны я был на фронте, а на фронте, как известно, затем и оружие в руки берут, чтобы убивать. И я подумал, что если бы во время войны человек моего поколения, то есть призывного возраста, сделал бы такое гордое заявление в прозе или в стихах да еще с трибуны, это бы совсем по-другому встретили. Во время войны считалось не без основания, что для мужчины, для человека достойное дело – не в тылу быть, а на фронте и убивать врага. Это понимание, я уверен, неизбежно и сегодня, да и не было бы «сегодня», если бы мы не думали и не делали так тогда. Просто зал в своем гуманистическом порыве спутал времена.

Но можно ли искусство отделить от времени? Оно бывает вечным, но вневременным – никогда. И в искусстве всегда больше того, что сказано. В нем есть еще то, что остается с вами надолго и не раз еще осветит жизнь.

Я, наверное, дней десять был под впечатлением этого удивительного фильма, и вряд ли вообще забуду его. И хотелось мне, чтобы и другие испытали ту же радость, которую дал мне фильм Василия Шукшина «Калина красная».

А потом, после обсуждения в журнале, я неожиданно стал получать письма. В них строго упрекали меня: вот, мол, мы читаем ваши книги, а вы кого же защищаете? Вора? Что, у нашего кинематографа других героев нет? Не ожидали от вас... Один давний мой читатель прислал пространное письмо, несколько строк из которого небезынтересно привести:

«Такое совпадение: перечитывал «Июль 41 года», а тут

принесли «Вопросы литературы»... О «Калине красной» мне рассказывали москвичи – их здесь много. Мужчины говорили весьма общо, женщины – определенно: фильм отвратителен. Любопытно, что первой такую оценку дала ученица 9-го класса, видевшая по телевизору отрывки фильма».

Фильма он сам не видел, но высказывался определенно и даже обосновывал теоретически: «Еще раз убедился, что самые не знающие преступного мира люди – это писатели, очеркисты и... прокуроры, следователи, доктора юридических наук... пишущие о нем со слезой гуманности... Это даже не плак, а человеческая популяция неизмеримо худшая. Прав Чехов – люди эти не интересны, как их преступления. Трагедии здесь нет».

Вот так, обо всех – разом.

Живуче это в людях. А случись потрясение, уж и говорить не станут: чего, мол, разбираться? Все они таковы!

Валяя всех!

Стольких бед причиной была и будет еще слепота людская. Велика эта темная сила, неохотно расстаются с ней. А ведь письмо прислал начитанный человек, десятки имен приводит: и Диккенса, и Успенского Глеба, и почему-то Петрова-Водкина. Он и о Шукшине заботится: «Что Шукшин талантлив – это известно по его игре и рассказам... А если ему настойчиво говорить, что он художник, произведения которого заставляют «испытать радость», что он затронул «мировую тему», как об этом заметил Залыгин, то у него zakружится голова».

Но уже ничья забота в то время не была ему нужна: Василий Шукшин начал свой путь, отдельный от тех, кто остался жить.

Еще не пускали в Дом кино, а на улице, сдерживаемая милицией, выстроилась долгая очередь ко гробу; за несколько часов не все из этой очереди успели потом пройти.

В огромном фойе напротив парадной лестницы, по которой столько раз в своей жизни он подымался, был установлен его гроб. Привели мать. Разительно он был похож на нее лицом, теперь уже мертвый.

Случилось так, что заранее подготовленные микрофоны забыли выключить. И когда мать запричитала над ним в голос и отдалось во всех динамиках, жутко стало. Помню только, как она все спрашивала: «Где у тебя болит, сыночек? Где болит, скажи, где?...»

Потом детей привели за руки – двух девочек. В одинаковых курточках с одинаковыми капюшонами, они бойко шли по лестнице вверх, перелезая туфельками через ступеньки.

Уводили их веселых. Не знаю, так ли это, но говорили после, что они не поняли, куда их привели, зачем. Думали, это съемка происходит: они ведь уже в фильме снимались с отцом вместе.

После смерти Александра Трифоновича Твардовского ничья смерть не подействовала на меня так сильно, как смерть Шукшина. Мне позвонили тогда из журнала «Искусство кино», попросили написать некролог, и я написал, что думал тогда и чувствовал:

«Василий Макарович Шукшин умер в сорок пять лет, сделал лишь часть того, что он хотел и мог. Но и сделанного им хватило бы на несколько жизней.

Уже не сыграть ему Степана Разина. Многие годы он готовился к этой работе, носил в себе мечту. Что уж теперь гадать, но все-таки я убежден, если бы он поставил этот свой фильм, то как Чапаев стал для нас таким, каким увидели мы Бабочкина с экрана, так же точно и живой Степан Разин для миллионов и миллионов сделался бы неотделим от Шукшина. Он словно рожден был для этого подвига.

Могучий талант жил в этом человеке. И могучая страсть.

Написанные им сценарии могли бы сделать славным имя кинодраматурга, который останется в истории кинематографа.

Сыгранных им ролей вполне хватило бы для прекрасной актерской биографии. Какой же он молодой еще, с пушистыми усами, в фильме Марлена Хуциева «Два Федора»! Но это уже — Шукшин. И какого зрелого, жесткого, горького, какого умудренного жизнью увидели мы его в последнем фильме — «Калина красная».

За гробом Шукшина среди столько цветов несли ветки осенней красной калины.

Страшно теперь сказать, но фильм этот оказался пророческим. Мне все видится последний кадр, как Люба топит баню и смотрит на огонь, такая созревшая для долгой замужней жизни; смотрит она на огонь, а голос Егора Прокудина говорит ей, что все хорошо у них будет... Неужели нет больше голоса этого, чуда, которое он нес в себе?

В сущности, его ведь не с кем сравнить, Василия Шукшина. И это в нашей-то литературе, где столько ярких дарований, в нашем кинематографе. Он был не лучше никого из режиссеров. Но и нет режиссера, которого он был бы хуже. Он был самим собой. Редчайший дар: быть и оставаться самим собой, единственным.

Кому он подражал, хотя бы в первых своих рассказах? Просто даже не назовешь такого имени, хотя конечно же

вся великая русская литература, ее бессмертные традиции стояли за ним. Только на них-то и мог вырасти такой самобытный талант.

Если уж говорить об искусстве Шукшина, то удивительная его сила как раз в том, что искусства как будто и нет вовсе. Как будто это сама жизнь: так просто все, так естественно, так свободно рассказано, словно бы между прочим. Многим и казалось поначалу, что это не всерьез. Чего-то привычного не хватало. Монументальности? Многозначительности? Позы?

Истинный талант не спрашивает: как нужно? как можно? Он прокладывает свой путь. По этому пути еще пойдут, ему еще будут подражать. Только второго Шукшина не будет. Вот уж где не было ни позы, ни словечка фальши. Только правда. Глубокая правда жизни, рассказанная просто, со смехом, а то и простовато. О, это дорогая простота, какая под силу только подлинному искусству. Это мудрая простоватость. Насколько она выше, насколько мудрей любой многозначительности.

Василий Шукшин ввел в искусство целый мир людей. Словно бы не один, а со всей своей деревней вошел в литературу и на экран. Имя этой деревни – Россия. Спасибо ей, спасибо матери, что родила такого сына. Как безвременно рано потеряла она его!

Только ли потому писал Шукшин о самых простых людях, что их одних он знал? Нет, жизнь от низу до верху открылась его глазу и пониманию. Но он знал, что и самая простая жизнь и боль ее не меньше ничьей жизни, ничьей боли.

«Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте:

«Емельянов Ермолай ...вич»

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже помню – стою над могилой, думаю. И дума моя о нем – простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что был в этом, в их жизни какой-то смысл? В том именно, как они ее прожили. Или – не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Воспе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю иначе! Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?»

Он не додумал до конца эту свою простую думу, которая не оставляла столько великих умов. Быть может, не успел додумать: оборвалась жизнь. Она оборвалась на самом взлете. В самой яркой точке; теперь уж точно: в самой яркой. А какая была бы ярче ее, какая высота была под стать и под силу Василию Шукшину, этого мы не знаем и не узнаем никогда.

А они все идут к нам, его новые, никем еще не прочитанные рассказы, как шли, бывало, по долгой почте полевой письма с фронта, продлевая жизнь того, кого уж нет. До той черты, за которой начинается иное, то, что могло бы быть.

Но еще суждено нам увидеть его в новом фильме, на съемках которого он умер, как труженик, как солдат. Он все-таки успел сыграть последнюю свою роль, и невозможно представить, чтобы чей-то голос говорил с экрана за Шукшина.

Плохо пережить самого себя. Но еще горше, еще несправедливей, когда умирает человек в расцвете сил. В расцвете такого несравнимого таланта, который в стольких проявлениях искал выхода и одаривал, одаривал людей, делал их богаче духовно и добрее.

Он не был обойден при жизни ни признанием, ни любовью, этот истинно народный художник. И все же только смерть показала, кого мы потеряли.

Он был — Василий Шукшин. Им и останется.

1974 — 1975

## КРУГ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БРАТСТВА

Пасмурным осенним утром, каких в Ленинграде в эту пору больше, чем ясных дней, поезд наш «Красная стрела» прибыл на Московский вокзал. Из мелкого морозящего дождичка, из сырого с копотью тумана въехал мокрый состав под крышу перрона, в свет электричества, как в солнечный день, и замелькали за окнами высоко на сухом асфальте носильщики с тележками, встречающие, мгновенно выхватываемые в движении, — все это замедлялось, останавливалось, стало.

Уже по другую сторону перрона стоял такой же нарядный состав красных вагонов с занавесками на окнах — «Стрела» № 2, прибывшая по расписанию за четыре минуты до нас; проводницы в высоких шапках, черных юбках, белых блузках и черных форменных жакетах выстроились у дверей, последние пассажиры выходили, откланиваясь. В нашем вагоне побритые и попившие чаю командированные нетерпеливо теснились в коридоре с портфелями, «дипломатами» в руках: из Москвы в Ленинград, из Ленинграда в Москву ездят теперь налегке. Наконец и наша проводница вышла, оберла тряпкой поручни, стала у дверей, и двинулась мимо нее пассажиры.

Вслед за дамой, прямо из тамбура с радостными восклицаниями попавшей в букет роз, я тоже вышел на перрон. Мимо, упираясь ногами в асфальт, носильщики рьяно катили перед собой горы заграничных чемоданов, клетчатая толпа туристов, обвешанных фотоаппаратами, как фотокорреспонденты, сопровождала их, громко разговаривая по-английски. Они шли во всю ширину перрона, и по мере того, как проходили мимо состава, открывалось: группа военных перед дверью вагона, все цвета хаки, — ожидают выхода начальства; группа священнослужителей, все в черном до пят, — ожидают выхода своего начальства у двери следующего вагона.

Офицеры вдруг разом взяли под козырек; в соседних дверях пред смиренно склонившимися головами явились белые руки на черном, выше них — массивный золотой крест.

На площади перед вокзалом блестели под дождем две группы новых черных машин. Стоя на ступенях, я сообразил, как мне проще ехать в гостиницу, и тут мимо прошел человек в демисезонном пальто с поясом: один конец его был сунут в карман, другой болтался свободно. Он шел без

шапки, голову наклоня, нес под мышкой блок болгарских сигарет «БТ», клочок рыжей бороды торчал на сторону. По этой рыжей, будто не своей бороде, по обожженному лицу я вслед узнал Сергея Орлова.

Шел он хмурый, то ли невыспавшийся, то ли задумавшийся, под мелким морозящим дождичком. Себя со стороны не видишь, как видишь других, и в мыслях ты все еще моложе, чем на самом деле есть. Наверное, это и потому еще, что в свою военную пору, на фронте, — и солдатами и офицерами став, — мы были самыми молодыми: год рождения двадцать первый, двадцать третий, двадцать четвертый... И как-то так укрепилось в сознании, что старшие офицеры, они не только званием, они и по годам непременно старше тебя.

А время шло, и вот уже старшие офицеры, ожидавшие сейчас на перроне выхода начальства — майоры, полковники, подполковники, — все они по годам моложе нас. И планки их, украшающие грудь, — это послевоенные медали и ордена, выданные к датам. Словом, все так, как в том стихотворении Орлова: «Когда это будет, не знаю, в краю белоногих берез победу девятого мая отпразднуют люди без слез. Поднимут старинные марши армейские трубы страны, и выедет к армии маршал, не видевший этой войны...» Все почти что так, только победу девятого мая еще не празднуют у нас без слез.

От одного поэта остается книга, от другого — строка. Если бы от всего написанного Сергеем Орловым осталась только эта строка — «Его зарыли в шар земной...» — то и тогда можно было бы сказать, что и поэзия наша послевоенная, и поэты его поколения многим обязаны этой строке.

Кто-то первый сказал: «Я бы с ним не пошел в разведку». Сказано было без позы, серьезно и просто: человек еще мерил мерками недавних в памяти лет. И многие спохватились: так удачно сказано, почему же это не мое? И пошло из книги — в книгу, из пьесы — в кино, в телефильмы: «Я бы с ним не пошел в разведку!..» Особенно рьяно восклицали те, кому даже мысленно не требовалось ходить в разведку, это уж всегда так.

Была годовщина Победы, и в Доме литераторов в Москве был устроен литературный вечер, на котором с воспоминаниями, со стихами выступали бывшие фронтовики. На войне осталось больше, чем вернулось с войны: «Самые отважные солдаты были те, что не пришли домой», — сказано у Орлова. И на таком вечере, конечно же, следует говорить в

первую очередь о тех, кто не вернулся; о них есть что сказать, а скоро уже сказать станет некому.

Но когда со сцены перед большим собранием людей выступают поэты, вольно ли, невольно возникает некое соревнование, соперничество, слушатели сравнивают, оценивают, кому-то отдадут предпочтение, награждают аплодисментами. А тут еще совсем в эстрадном духе было представлено выступление молодого поэта, который ко Дню Победы имел то отношение, что родился 9 мая 1945 года. Молодого поэта подали как сюрприз, и он в зеленом замшевом пиджаке вышел прочесть свое стихотворение

Наконец дошла очередь Сергея Орлова. Уже прозвучало немало настоящих стихов, но, как говорится, след первой телеги ведет за собой все остальные, и поэты фронтового поколения, средний возраст которых тогда клонился к пятидесяти годам, один за другим читали либо ранние свои стихи, либо те, в которых говорилось, что они по-прежнему такие же, как в юности, словно и в самом деле не было у нас всей сложно прожитой жизни, всех послевоенных десятилетий. И с каждым новым выступлением утверждался единый образ героического поколения, которого ни годы, ни время не способны изменить.

Вот в этой, достаточно уже нагретой атмосфере председательствующий поднялся и взволнованным голосом рассказал о том, что Сергей Орлов в сорок четвертом году, будучи старшим лейтенантом двадцати трех лет от роду, когда его подбитый в атаке танк загорелся, предпочел сгореть живым, но не сдать врагу, и весь зал зааплодировал, хлопая проникновенно и долго. А он, уже выйдя читать стихи, застигнутый вслед этим рассказом о себе, внезапным воодушевлением зала, стоял и ждал терпеливо, помаргивая голыми веками, в явном смущении трогая рыжую свою бороду, которую он и отпустил для того, чтобы скрыть часть шрамов и рубцов, стянувших на лице гляцевую обожженную кожу. Вот что он прочел в тот раз после аплодисментов, которыми его встретили:

Мы говорим, задумываясь редко,  
что время беспощадное течет.

Как на войне, — с кем бы пошел в разведку? —

А думать надо: кто с тобой пойдет?

Да, так и было. Встанешь с автоматом,  
Кисет за пазуху — и на народ.

И говорилось: — Кто со мной, ребята? —

И добавлялось: — Два шага вперед...



Все меньше, меньше остается рядом  
Товарищей хороших и друзей  
Не потому, что падают снаряды  
Давно на территории твоей.

Скорей всего, что ты не тот, который  
Когда-то был, и в этом вся беда.

Металл заржавел, порастрачен порох,  
И незачем ссылаться на года.

Крутые горки укатали сивку –

Не поговорка, мука – поделом.

Ах, не в разведку, в юность на побывку,

И запастись бы верой и теплом.

Тогда бы можно и не хитровато:

– С кем я пошел бы? – молвить в свой черед.

А очень просто: – Кто со мной, ребята? –

И помолчать. И два шага вперед...

Не раз я слышал от поэтов, что, мол, читают они свои стихи так, как пишут их и слышат сами, то есть стремятся передать звучание слов, мысль, страсть. К сожалению, чаще бывает наоборот: чем холодней стихи, тем сильней взвизгивает себя поэт и страдает и завывает с эстрады.

Сергей Орлов читал просто, без внешних эффектов. Это было раздумье о себе, о прожитой жизни, о сверстниках – так он и читал. Из всего, что слышал я в тот вечер, остались в памяти эти его стихи и то, как он читал их.

В Театре на Таганке Юрий Любимов ставил нашу с ним пьесу «Пристегните ремни!». Время действия в ней было разделено тремя с лишним десятилетиями, все относящееся к предвоенным годам, к годам войны было взято из моих книг «Июль 41 года» и «Пядь земли», и люди на сцене возникали в разные периоды своей жизни, в разном качестве, поскольку время многое делает с людьми. Пьеса проходила сложно, приемка спектакля все откладывалась и откладывалась, и о пьесе уже говорили. И вот, услышав что-то, на один из «прогонов» пришел Сергей Орлов. К тому времени он переехал в Москву, был секретарем Союза писателей РСФСР, то есть в определенной степени официальным лицом. Он пришел сам и привел с собой Давида Кугультинова.

После спектакля мы все поднялись на второй этаж в кабинет Любимова. Разговор под свежим впечатлением шел несколько сумбурный, и хотя похвалы приятны, что уж душой кривить, оставалось еще время поправить, усилить что-либо, и нам интересно было послушать людей, с чьим

мнением мы считались. Но больше и громче всех говорил один кинорежиссер, которого ни на спектакль, ни сюда наверх, собственно, никто не приглашал. Человек полнокровный, красивой внешности, несокрушимой бодрости духа, он обхватил носками ботинок ножки кресла, высоко подтянул тонкие брюки на коленях, так что всем видны были его глянцевые от загара ноги, и говорил, говорил, жестикулируя бутербродом в воздухе, никому не давал слова сказать, но — все о своем фильме.

Едва разговор начинался о спектакле, он перебивал и опять рассказывал о том, как он сдавал свой фильм, как от него что-то требовали, к чему-то склоняли, но он ни в чем не уступил. Нельзя сказать, что собрались тут люди сплошь деликатные, но радостный его напор был таков, что умолкали.

Орлов сидел на диване, смотрел в пол. Поднял голову, глянул на режиссера:

— Так это ваш фильм?

Тот подался ему навстречу всей душой:

— Мой!

— Не понравился мне фильм.

Режиссер заговорил что-то жалкое, что, мол, у него было не так, лучше... Его жаль стало и неловко всем. Но Орлов опять покачал головой, не представляя себя на его месте:

— Стыдный фильм.

Он как-то сказал: «чем дальше от войны, тем больше обнаруживается ее участников».

Он не был ни остроумцем, ни циником, его не одолевало желание во что бы то ни стало прославиться афоризмом. И не из тех он был, кто ради красного словца не пожалеет ни матери, ни отца. Нет, совсем иной характер, иной склад души. Но, вникая в суть вещей, думая о людях и о происходящем, о человеческом достоинстве и о суете сует, он и сказал это емко и точно. И все чаще, чаще в стихах его «друзей погибших молодые лица» и молодость поколения:

...За пятьдесят товарищам моим,  
Им некуда от времени деваться,  
Лысеющим, стареющим, седым.  
А мне все кажется,  
Что им по двадцать.  
Гляжу на них и вижу те года,  
Где шли они  
Во всей красе и силе,  
Когда была Россия молода

И судьбами ее  
Они вершили.  
Там в кирзовых планшетах  
Вся она  
Лежала поквратно на двухверстках,  
Коричнева, желта и зелена,  
Им во владенье отдана  
По горсткам.

«Я люблю рыбную ловлю, — писал он. — День Победы встретил на Белом озере, в устье реки Ковжи, на рыбалке. Ни одна травинка не колыхалась, река и озеро сливались с чистым небом — так было тихо. Вместе с встающим солнцем из озера пришла лодка. По воде далеко слышно, и до нас долетел приглушенный дально крик с лодки: «Эй, что вы сидите! Кончилась война!» Мы глянули на огромное солнце за лодкой, не смежая век, и заплакали, не потому, что на солнце нельзя смотреть без слез».

Ему было тогда двадцать четыре года. Уже год, как его демобилизовали по инвалидности. Впереди была вся жизнь.

Взрослыми, прошедшими войну людьми садилось наше поколение за парты, за столы в студенческих аудиториях. Наверное, это странным покажется, но чувствовали мы себя опять хоть и не мальчишками, но какими-то очень молодыми. Непрожитая жизнь требовала, чтобы ее прожили, и раннее мужество и позднее школьничество сосуществовали рядом.

Но чем больше отдалялись мы от войны, тем чаще и чаще она вспоминалась и снилась, и на отдалении многое виделось ярче, и уже хотелось об этом рассказать. Мы еще не знали, что помнить это нам всю жизнь и жизни не хватит, чтобы рассказать все. И каждое воспоминание становилось щемящим.

Костры горели на снегу,  
Мы их сооружали быстро —  
Ведро газойля из канистры,  
И, как деревья, шли танкисты  
Погреться, покурить в кругу.  
Друг друга подперев плечами,  
Никто не заводил бесед, —  
У каждого свое молчанье,  
Свои слова, свой в лицах свет.

Костры горели на снегу...

Настало время мне признаться:  
Ни мужество, ни долг солдатский  
С тех пор забыть я не могу –  
На черном фронтовом снегу  
Круг человеческого братства.

Был август или конец июля – не помню точно. В Москве дождливое стояло лето, среди бледных, незагорелых лиц москвичей человек, приехавший с юга, был замечен сразу.

Я шел от площади Восстания вниз по улице Герцена, подхожу к Дому литераторов и вижу: стоит у входа Сергей Орлов в плаще, лицо, освеженное загаром. Он возвратился из Крыма, куда возил внука «пасти». Дед он, как рассказывали, был удивительный. Кто рано стал отцом, еще не готовый к отцовству, не чувствуя в этом потребности, тот нередко внукам возмещал все сразу: и отцовской и дедовской любовью. Таким молодым дедом и он был.

И вот, приехав, весь еще оттуда, с моря, из Крыма, соскучась по Москве, он пришел в свой клуб, пообедал и стоял на улице, ждал кого-то. Мы поговорили недолго, и я ушел. Не знал я, что вижу его в последний раз, не мог думать, что скоро из этих дверей, у которых мы стояли, понесут к машине венки впереди гроба.

Мне позвонила рано утром его жена Виолетта, я только сел работать:

– Ночью умер Сережа.

Хоронили его с воинскими почестями. Молодые солдаты стояли в почетном карауле, молодой капитан командовал. Траурные марши, речи, приглушенное бряцанье оружия, шаг сменяющихся караулов. Есть строки у Михаила Дудина: «Кончается наша дорога – дорога пришедших с войны...» Вот об этом же думал я: о нем, о тех, кто ушел раньше, о тех, кто вскоре уйдет.

Уже посмертно были напечатаны его стихи разных лет и среди них – «А мы прошли по этой жизни просто, в подкованных пудовых сапогах...». И это:

Остается небольшая малость:  
Жизнь дожить без лишней суеты, –  
Так, как в дни, когда она касалась  
Ежечасно бешеной черты  
И могла сгореть в одно мгновенье,  
Может, тыщу раз на каждом дне...  
Не пугаться, не искать спасенья,  
Не питать надежду на броню...

В дни, когда она касалась той черты, мы были молоды, а в молодости мир иной. Бывало, ловишь на слух летящий снаряд – твой, мимо? – разорвался, просвистели осколки, а ты вскочил живей живого, и жизни тебе прибавилось, и рад: ее обманул! Все время рядом с н е й, а верилось, что вся твоя жизнь впереди. С годами – иное. Уже с мыслью о смерти связана главная мысль: как жизнь тобою прожита?

Он прожил ее достойно, без суеты, и в молодости, и в зрелые годы не питая надежды ни на какую броню.

## ВОТ ОН УЖЕ ОТКРЫВАЕТ КАЛИТКУ...

Когда умирает известный, уважаемый человек, друзей у него обнаруживается значительно больше, чем было при жизни. Его теперь не спрашивают, кого захотел бы он числить в друзьях, кого не захотел бы. И появляются любопытные воспоминания. Вот читаю: «Передают, что у Ю. Трифонова неожиданно умерла жена. И что он от горя запил. История действительно не приведи господь. Ее звали Нила».

Ее звали Нина. Родители дома звали ее Неля. Она была ученицей знаменитой Барсовой, одно время пела на сцене Большого театра, и ее сценическая фамилия была Нелина, Нина Нелина. Она действительно умерла внезапно, но Трифонов не записывал, могу свидетельствовать.

Однако читаю дальше: «Как рассказывал мне потом Лев Гинзбург, она, приехав в Трускавец, на другой день к вечеру позвонила Юре, пожаловалась на плохое самочувствие. А утром он получил телеграмму, в которой администрация гостиницы сообщала, что Нила скончалась».

Поехала она отдыхать не в Трускавец, на Украину, а в Друскининкай, в Прибалтику, в Литву. Жила она не в гостинице, а в частном доме сняла комнату на втором этаже, так что «администрация гостиницы» ничего сообщить Юре из Трускавца не могла.

«В Трускавец друзья одного его не пустили. С ним отправились Винокуров и Гинзбург. Обратное с гробом они ехали на грузовике».

Не помню, кто ездил в Друскининкай за Ниной, но одним из тех, кто сопровождал гроб, был хозяин дома, в котором она останавливалась. А встречать гроб с телом мы ездили вместе с Юрой Трифоновым за Москву и долго ждали у мотеля.

Полжизни тому назад мы с Юрой учились в Литературном институте. Он был на два года моложе меня, но на курсе старше: я поступал в институт, возвратясь в фронте, демобилизовавшись. Не могу сказать, что в институтскую пору мы дружили, по складу характера мы люди довольно разные, но многое сблизало. И когда Юра получил Сталинскую премию за повесть «Студенты», я почему-то решил, что непременно буду приглашен на празднование, пошел на почту, дал телеграмму, и была там фраза: «С утра чешется нос». По примете нос чешется к выпивке, намек понятен. Но телеграфистка занервничала – время было суровое, еще

жив был Сталин, — заподозрила что-то похожее на шифр, сказала, что такую телеграмму передавать не будет, я настаивал, она с текстом в руке ходила советоваться к начальству, и все это на глазах очереди к окошку, а очереди у нас нетерпеливы. В конце концов она посчитала слова, назвала сумму, и тут, после всего, выяснилось, что у меня еще и не хватает сколько-то копеек. И я со стыдом бегал за этими деньгами...

Стыдные мелочи почему-то особенно запоминаются. Будучи уже известным писателем, книги его к тому времени издавались во многих странах, рассказывал мне Юра, хмурясь, чтобы не улыбаться, но и на отдалении лет все еще чувствуя себя уязвленным, как он первокурсником читал свой рассказ в актовом зале. Было это обставлено торжественно: зал, полный студентов, президиум, в президиуме — ректор, Гладков, классик первых советских десятилетий. Почему-то Юра решил, что по дороге к трибуне ему полагается пожать президиуму руки, он это проделал на глазах всего зала, по очереди пожал всем руки, Гладкову в том числе, как бы предвосхищая свой триумф. А был разгром. И яростней всех громил его рассказ Гладков, уже в ту пору похожий на бабушку: седые волосы — на уши, лицо круглое, с припухлыми дряблыми щеками, круглый нос, круглые очки, а в них — увеличенные стеклами, свирепые бесцветные глаза. Этого своего маленького позора — «главное, всем руки пожимал!» — Юра забыть не мог.

Ближе к осени 52-го года Юра Трифонов предложил мне снять койку в мастерской его тестя, художника. Минул почти год с той поры, когда он стал лауреатом; известность, деньги, а вскоре — женитьба на певице Большого театра Нине Нелиной — почти что династический брак той поры — все это на него, двадцатипятилетнего, не испущенного в жизни и в женщинах, обрушилось сразу. Они поехали на дачу, в Серебряный бор (дача эта сохранялась за его бабушкой, старой большевичкой, которой Сталин подарил «Краткий курс истории ВКП(б)», лично подписав, а в это время дочь ее, Юрина мать, погибала в одном из лагерей ГУЛАГа, а муж ее дочери, Юрин отец, был уже расстрелян), так вот, компанией поехали они на дачу, праздновать в очередной раз лауреатство, была и Нина, она осталась ночевать, и они поженились.

А уже кончалась эпоха царствования Сталина, эпоха жуткого страха, придавившего страну, но и великих соблазнов. Одних по ночам увозили на Лубянку в фургонах с надписями «Хлеб», «Мясо», как после об этом напишет Солже-

ницын, другие вступали в свою золотую пору, мечтая, чтоб она длилась, и опыт ушедших в небытие, горький опыт взлетов и крушений человеческих судеб по воле государевой ничему никого не учил. Вот и Юра Трифонов вступил в клан избранных, к которому принадлежал по рождению, был вырван оттуда мальчиком, когда его родителей арестовали, пережил годы унижений и вновь возвратился туда, но уже в другом качестве: не заслугами отца, а сам, за свои заслуги был причислен.

Была куплена машина «Победа», лучшая и самая дорогая по тем временам, если не брать в расчет черные правительственные ЗИМы и ЗИСы (в переводе на русский язык аббревиатуры эти означали: «Завод имени Молотова» и «Завод имени Сталина»), и немолодой, внушительного вида шофер ожидал у подъезда выхода молодых хозяев. Наскоро распевавшись, то есть пробежав пальцем по клавишам и выдав две-три трели, Нина в меховой, цигейковой, только что купленной шубке, жена лауреата Сталинской премии, и Юра, посолдневший и тоже одетый тепло, спускались к машине. «Я тот, кто сопровождает Жаклин Кеннеди», — не без юмора скажет о себе молодой президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди в один из визитов в Европу. Юра в своей новой роли был по молодости серьезен.

В дальнейшем, когда сменяются эпохи, он взглянет на многое со стороны и напишет в повести «Долгое прощание»:

«Все эти бегущие впереди, озабоченные несчастьями родных, торопятся по своим делам, унылым и длинным, как больничный забор, а она идет тихо, дышит глубоко, печально, спокойно, как и полагается б о г а т о й ж е н щ и н е... Николай Демьянович изнутри отпахнул дверцу, и Ляля, подобрав длинную полу цигейки — раньше только поглядывала на улице, как дамы небрежно, привычным движением поднимали полы своих дорогих шуб, прежде чем скрыться в глубине автомобиля, а теперь вот сама, на зависть проходящим женщинам, — юркнула довольно проворно на заднее сиденье».

Жизнь их, опыт жизни — основа лучших его повестей, которые со временем сделают ему имя. В этих книгах Нина живая, и все они, по сути, — долгое прощание.

Когда я снял койку в мастерской, мои двести или двести пятьдесят дореформенных рублей сталинских времен, разумеется, ничего не значили в бюджете их семьи, но тестю, художнику, нужна была эта видимость, мол, он живет не на деньги зятя. А я один раз, чтобы уплатить ему в срок, у Юры же и одалживал. Почему он позвал меня? Наверное,



осталось после института взаимное расположение, да и жизнь как-то все время проходила рядом. Там же, в Серебряном бору, сняла на лето дачу моя двоюродная сестра, и, когда они с Ниной, две матери, прогуливались с колясками под соснами по песчаному берегу Москвы-реки (сын моей сестры и дочь Нины – ровесники), обсуждалось все: от кормления грудью до интимных подробностей. «Сейчас все мужики поистаскавшиеся, истратились раньше времени, – говорила Нина. – А вот Юра...» И очень хвалила его. Он же, чтобы внести ясность, сказал мне о прошлом ее замужестве: «Нина как честная женщина не могла т а к и потому вышла замуж». И строго посмотрел через очки, исключая любые иные толкования.

Успеха, к сожалению, не прощают, и зависть, и сплетни окружали его всю жизнь. Дочь у них родилась семимесячной. Собираясь в театр и, как всегда, торопясь, что-то хватая, что-то забывая, роняя, Нина уронила ноты. Будто бы это плохая примета, и, чтобы действие ее нейтрализовать, требуется тут же сесть на ноты. Женщина молодая, быстрая, сильная, Нина с размаху села на ноты, на пол. В тот же вечер ее увезли рожать. Ну, и поскольку ребенок родился всего через семь месяцев после свадьбы, ближайшие Юрины друзья – уж им-то лучше знать! – вычислили: дочь – не его. А она была точной его копией, особенно – когда подростка: и тот же взгляд в очках, и крупная такая же.

Целую вечность спустя все повторяется. Уже не будет Нины, подрастут дети их дочери, Юрины внуки, а у него, в другом браке, родится сын, и с новой силой вспыхнут те же толки: сын – не его. И этому охотно станут верить: известный писатель, человек в славе, интересно узнать про него такую подробность. А мальчик – тоже точная его копия. И как-то, уже школьником, приведет он ко мне на дачу своего отчима, дорогу ему покажет, и я увижу маленького Юру, таким, наверное, он был в детстве, увижу, как не хватает мальчику отца, как тянется он к мужчине.

Не знаю почему, но за Юру у меня почему-то нередко щемило сердце. Здраво рассуждая, жалеть скорей надо было меня, что-то пишущего безвестно, но ничего еще толком не напечатавшего в ту пору, пребывающего полуполюгально на раскладушке в мастерской его тестя, где при любой проверке меня быть не должно, я просто исчезал. Уж снисходительно относиться ко мне он имел право, может, и относился так, не подавая виду: ценят ведь не за хорошие намерения, а по делам, а искусство, литература – как раз та область жизни, где выбраковка идет безжалостно. К тому же

он в то время и прочел гораздо больше меня; переехав к Нине, перевез отцовскую библиотеку, покупал редкие книги у букинистов, тогда они были дешевы. И нет-нет да и просвещал меня: такой-то сказал, что гений — это вол.

У меня же все мое было при мне: рукописи, несколько книг, подушка перовая, которая, кстати сказать, цела до сих пор, да еще серое солдатское одеяло. За четыре года войны я прочел всего две книги: в госпитале, в Красном Лимане, перечитал «Анну Каренину» и впервые прочел «Титан» Драйзера. Особенно я «Анне Карениной» обрадовался, это была книга из довоенной моей жизни. Но, одичавшему на фронте, странными показались мне переживания Анны и Вронского, чуть ли не блажью. Может быть, еще и потому, что в то время у меня, как говорят, загноилась рана в спине, я читал и чувствовал от себя гнилостный запах, и тошнило меня от этого запаха, а возможно, уже заражение начиналось. И вскоре я лежал на операционном столе носом вниз, пенициллина тогда не было, и мне срезали что-то в ране, как после сказал хирург, «ложкой срезали тебе до живого мяса, расчистили рану».

Но и после войны я не сразу смог перечитать эту любимую мною книгу: что-то должно было отпасть от души. Признаться, я и Бунина впервые прочел в институте, меня обвиняли на семинаре в подражании Бунину, а я стыдился сказать, что еще его не читал: в Воронеже у моих родственников книг Бунина не было, его тогда не издавали. Да многое, многое я не прочел и уже не прочту: что не прочитано в юности, поздно читать потом, другими глазами смотришь. И не раз добирался я собственным умом до простых вещей, которые из книг знают. Впрочем, в этом есть определенное преимущество, хотя и говорится: глупый всю жизнь учится на своих ошибках, умный — на ошибках других.

Они были красивой парой и внешне очень подходили друг другу — известный писатель, певица Большого театра; Юра любовался, гордился красивой женой, но вот когда он вслед за ней, сразу посолднневший, спускался к машине, чтобы везти жену в театр, мне почему-то в такие моменты было его жаль. Наверное, я был не прав, просто сказывалась привычка к непривычной жизни.

Амшей Маркович, Юрин тесть, писал большую картину: в полтора человеческих роста высоты и соответственной ширины. Помимо этюдников, красок, лестниц и общего беспорядка мастерской я каждый час, миг каждый видел перед собой эту картину. И вот что на ней изображалось: снег, дерево, рыжая лайка облаивает какое-то живое существо на

ветвях, и охотник, задрал голову, изготавливается стрелять вверх. Вокруг его валенок, глубоко ушедших в снег, — аккуратно выписанные лунки: свет полумесяцем по одной стороне, тень полумесяцем — по другой. Собака воссоздана была с натуры: из какой-то гастрольной поездки Нина привезла щеночком эту помесь лайки с дворняжкой. Все остальное — плод творческой фантазии. Я видел, как не хотелось ему писать, как мучал он себя, как заставлял. Но занимать мастерскую и не пользоваться ею, видимо, было нельзя. И в дни, когда ему силой удавалось себя заставить, я дурел от запаха масляных красок и скипидара и спал в этом запахе, и, когда выходил на улицу, на мороз, от меня пахло скипидаром, я сам это чувствовал.

И мастерская, и квартирка небольшая, где они жили у тещи с тестем, — все это помещалось на Верхней Масловке, в доме художников, огромном, по сути дела, общежитии, где каждый знал, что у кого варится в кастрюле. А какие страсти вскипали там, не последней из них была зависть. И нигде, нигде больше не встречал я такого количества безвкусно, крикливо, даже как-то дико одетых женщин: словно курицы в крашенных перьях, да простят меня те из них, кто сегодня жив, ничего дурного не хочу я сказать об этих достойных дамах, но что поделаешь, впечатление было настолько сильным, что я и поныне вижу их.

Иногда странные художники забредали ко мне. Поговорить. Помню одного. Казался он полупомешанным, а может, таковым и был. Приносил свою маленькую картину, разворачивал из тряпок. В довоенном прошлом я рисовал, говорили, не так уж плохо, но вовремя догадался, что мне это не дано. И как отрезал. Но и поныне, когда вижу картины Рембрандта, около которых стоял бы часами, свет их особенный, свет прежних столетий, что-то оживает в душе, будто и я жил в ту пору. А может, правда жил?

Картина художника тревожила странным, нереальным светом. Было на ней вот что: мрачный угол стены, почти черный, окно тюремное сверху и — свеча, горящая, будто в невесомости, в воздухе. Причем свеча выписана точно, обгорелая неровно, жидкий стекающий стеарин под пламенем свечи, отсвет на стене кроваво-красный.

— Почему, почему нельзя? — допытывался он. — Свеча... Ну — свеча! Что тут? Как на сатану, замахали на меня руками, смотреть не стали.

А я и сам не знал. Да и что можно, когда чуть ли не полстраны — в лагерях, за колючей проволокой, а другие полстраны, свободные граждане, — по другую сторону про-

волоки колкучей. Не зря передавали шепотом анекдот: «Как арестовать всю страну сразу? Объявить столицей Магадан, столицу Колымского края». Гремели по радио победные марши композиторов – орденосцев, лауреатов всех Сталинских премий, сопровождая наше неуклонное поступательное шествие к коммунизму, а тут он с такой своей картиной. Но чем дольше я на нее смотрел, на ответ этот странный, тем тревожней становилось на душе, словно и мне его безумие передавалось. Впрочем, кто безумный? Он ли, сгинувший в неизвестности, или вождь наш, гений всех времен и народов, который, владея одной шестой света, сам под конец жизни заточил себя, спал на истлевших простынях, пиццу принимал через окошко, как в тюремную камеру через кормушку; только потому, что в условленный час не подал сигнала, пиццу не принял, засуетились и решили войти, страх в себе одолев. Разбитый параличом, обмочившийся, валялся он на полу.

Вечером обычно заходил ко мне Амшей Маркович. Как-то пришел, переволнованный до крайности. Человек он был тихий, придавленный властным каблуком жены, вздрагивал и устремлялся, когда раздавалось: «Амшей!» Она боготворила дочь и только дочь: «Нина – музыканьша!» Амшей же Маркович и Юрой, и удачным замужеством дочери был восхищен до слез, но дома признаться в этом было некому и небезопасно, и он приходил ко мне.

И вот, взволнованный, метался по мастерской от окна – к двери, от двери – к окну, а я сидел на своей раскладушке, взглядом сопровождая его. Как раз перед этим я писал, и, вроде бы, писалось, но не выгонишь же хозяина. А он тем был взволнован, что должно было, как он узнал, появиться новое издание «Студентов» в издательстве «Молодая гвардия», и Юра получит за книгу сто тысяч.

Свет почему-то мы не зажгли, быстро сгустились зимние сумерки, ярче горел фонарь во дворе, и снег на его картине, голубоватый днем, сейчас по-ночному отсвечивал на масляном полотне, будто искрился. Амшей Маркович стал лицом к окну, спиной ко мне, нервные руки за спиной сцепил и так стоял, черный, четкий его силуэт в окне.

– Сто тысяч! – плечи вздернулись непостижимо, до ушей до самых. – Нет, Юра очень талантлив!

Но среди буден настал в этом доме художников судный день, великий день: прибыла, если не путаю ее названия, закупочная комиссия. Она засела в чьей-то мастерской, и отовсюду понесли полотна, все то, что целый год изготовлялось затворнически, с надеждами и, как принято говорить,

в творческих муках. По коридору, по пути проносимых картин, стояли художники, их жены (хочется сказать — их жены, дети, но я боюсь быть неточным, дети, возможно, и не повысыпали из квартир). И не одни лишь доброжелательные взоры сопровождали картины конкурентов. Пришла очередь и Амшея Марковича. Он попросил меня, еще кого-то, мы взяли, понесли, я знал, что несущий триумфа не предвидел. Однако любопытно было посмотреть эту комиссию, да и как откажешь? Конечно, часть позора, пока мы проносили огромное это полотно сквозь строй, и на меня ложилась, во всяком случае, завистливых взглядов я не заметил.

Много лет спустя в Театре на Таганке Юрий Любимов репетировал нашу с ним пьесу «Пристегните ремни!» и позвал меня в перерыве посмотреть, поприусловствовать при отборе актеров, кончивших театральные школы. Они кончили курс, их привели показываться, кто-то сам пришел предлагать себя. Отбирал худсовет, а в общем — Любимов. Это было жестокое зрелище. Бог мой, как они старались, как переигрывали! Молодые мужчины, молодые и — чаще всего красивые — женщины, они готовы были на все, чтобы только их взяли. Отыграв, запаленные, вбегали за кулисы: «Дай закурить!.. Дай воды!.. Это было ужасно, да?» — а в глазах — надежда, а спрашивает — конкурента. И если безнадежно, тот благодушествует: «Да нет, ничего, это тебе от волнения показалось». — «Да? Правда?»

Я рад был, что не мне решать, не я объявляю приговор, но взять их — значило погубить театр. Занятие святым искусством, ох, не святое дело, и нравы тут далеко не лучшие, отбор жесток.

Лица членов закупочной комиссии не запомнились мне, но общее выражение — сидели баре, вершители судеб. Мы внесли, поставили и тут же, по мановению, вынесли. В коридоре, у окна, стоял известный в ту пору художник, кажется, Цыплаков, платком утирал взмокшую лысину: его картину комиссия смотрела заинтересованно и долго, и уже несколько неудачников заискивали перед ним.

А Амшей Маркович, бедный, как только мы появились, разворачивая в дверях огромное его полотно, побежал, побежал впереди нас согбенно, как заяц, приложивший уши, скрывался от позора: чуда не случилось. В мастерской поставили мы его картину не на мольберт, а лицом к стене, охотник и рыжая лайка теперь не маячили у меня перед глазами. И все то время, что я еще прожил там после судного дня, Амшей Маркович уже не терзал себя понапрасну, а от меня не пахло на улице масляными красками.

Вечером того же дня в мастерскую пришел Юра и, морща в улыбке губы, рассказал, что тещей было сказано его тестю-триумфатору, а сказано было много и громко и сводилось к тому, что он — рохля, никогда не умел постоять за себя, оттого всю жизнь она с ним мучалась. Юра, при внешней сдержанности, даже некоторой внешней мрачноватости, проистекавшей скорей всего от застенчивости, был в жизни склонен к юмору. Он блестяще рассказывал анекдоты, сам получая при этом удовольствие. Сужу беспристрастно, я этого дара лишен, отношусь скорей к разряду благодарных, изумленных слушателей, мечтаю об одном: донести анекдот до дома, не забыть, и всякий раз забываю главное, помню только, что было очень смешно.

Когда снимали фильм по моей повести «Пядь земли» и я приехал на съемки, на «натуру», вся группа набросилась на меня. Они уже порассказали друг другу все анекдоты, какие знали, а тут — свежий слушатель, да еще такой, который забывает и слушает заново, как впервые.

Юра же, повторяю, рассказывал мастерски, сохраняя при этом хмурый вид. И, чтобы анекдот не пропал, обычно подготавливал слушателей небольшой лекцией на тему: кто как слушает анекдоты и что понимает в них.

Однажды они пригласили меня на дачу, в Серебряный бор. Как раз была куплена и привезена обстановка, все новое, не родительское, свое, для каждого из них — впервые в жизни. Сценическая карьера Нины в Большом театре подходила к концу, недолгой она была, но образовалась семейная жизнь, ничем пока не омраченная, со всеми ее радостями. Нина была яркая, видная молодая женщина, когда она шла по улице, головы мужиков, как ветром, поворачивало ей вслед, и если чего она боялась, так только сплетен, а ими как раз и переполнен театральный мир.

Поехали с ночевкой, и, чтобы не обременять, я захватил с собой свои простыни. И вот пожилой, солидный шофер везет нас по вечерней Москве, не мчит, бережно везет. И что-то во всем этом нереальное. Что? Наверное, быстрота превращения.

На курсе у нас недолгое время пробыл Костя Т. Писал ли он прозу или стихи — не помню, но вот что запомнилось хорошо: карманы его всегда были набиты немецким шоколадом, им он щедро угощал сокурсников, как правило, голландных. Был он в офицерском звании, но того важней — сын крупного генерала, вроде бы даже Члена Военного Совета фронта, все это писалось с большой буквы. Считанные разы бывал я в то время в генеральских домах, но хрусталь мно-

гоцветный с монограммами, вывезенный из Германии, но фарфор за стеклами сервантов, идиллические пастухи, пастушки, люстры хрустальные на потолках... Совершенно особая устанавливалась жизнь, не на годы, на века: жизнь победителей и побежденных. Я имею в виду не Германию, разбитую в войне, когда говорю о побежденных, а нищий наш, в своей стране побежденный народ, всех искалеченных на фронтах, кто враз после войны стал никому не нужен.

И вдруг Костя, казалось бы, обреченный на благополучие, исчез. Его не стало, как не было вовсе. Это арестовали его отца. Да его ли только? У нас из общежития, из полуподвала, ночью увели Эмку Манделя, известного ныне поэта Наума Коржавина, живущего теперь в Америке, но мыслью и душой — все так же здесь, на своей родине. Наивный, как дитя или мудрец, он читал в домах, где его кормили, свои стихи: «А там, в Кремле, в темнице мрака, хотел понять двадцатый век не понимавший Пастернака, сухой и жесткий человек». Это изустный вариант — про Сталина, в ту пору. Можно только удивляться, как долго Господь хранил это святое дитя. Но пришли ночью, разбудили, увели с собой. На восемь лет.

А жизнь продолжалась. Там же, в полуподвале, как и прежде, девочки, студентки наши, жарили на рыбьем жире, который был дешев и продавался в аптеках, оладьи, приготовленные невесть из чего. А во время лекций мы видели в окна, как выходил на каток, под который зимой заливали водой большую площадку, поэт Островой, живший в том же дворе. Повязанный шарфом концами назад, как мамы повязывают дошкольников, прокатывался он на коньках, заложив руки за поясницу, благополучный, жизнелюбивый. А другой поэт, автор знаменитой «Тачанки», Рудерман, больше ничего в своей жизни, кажется, так и не написавший, тощий и желтый, поджидал звонка на перемену, когда мы, студенты, высыпем во двор и он сможет у кого-нибудь стрелкнуть закурить.

А старый наш профессор Шамбинаго, в прорезиненном и засаленном по воротнику плаще, читал, бывало, лекцию, поставив суковатую палку между колен, читает, читает, да и спросит, вдруг обведя взглядом аудиторию: «Голубки, а в каком я институте?» Он и в университете, и в педагогическом институте читал, а свою докторскую диссертацию защитил еще в одна тысяча девятьсот пятом году. Когда за чем-то потребовалось подтвердить это документально, ни документов не уцелело после всех революций и потрясений, ни живых свидетелей, и платили ему, как обычному преподавателю.

давателю, и так же, как студенты, был он прикреплен к столовой Дома литераторов, где обедали по карточкам, после такого обеда еще больше хотелось есть. Его же обед только тем и отличался, что он брал каждый раз по коммерческой цене стопку водки, и однажды обнаружилось, что ему слишком явно недоливают, он огорчился, будто впервые осознав, что человечество и на это способно.

Вся наша нищая, полуголодная послевоенная жизнь, а еще и то, что сегодня ты есть, а завтра тебя очень просто может не стать, и вот такое мгновенное превращение: машина, шофер... На даче мебель еще пахла свежей политурой, и мы ходили, осматривали, отражаясь в полированных плоскостях. Разумеется, по этому поводу было выпито. Нина пила со вкусом, жила со вкусом, а теперь вила гнездо, и ее можно было понять, молодую женщину, часть жизни которой был блеск сцены Большого театра, императорского театра, она вкусила этот яд, она выходила на эту сцену.

Ночью я проснулся словно бы в странном, перевернутом мире. Мне ясно представилось, как отсюда, из этих стен, уводили сначала Юриного отца, потом — мать. И были они здесь молодые и счастливые, и верилось — вся жизнь впереди. И вот вновь — молодые и счастливые, в тех же стенах, но уже — не они. И эта охранная грамота, партийная библия — «Краткий курс истории ВКП(б)», — выданная бабушке Сталиным, на которой он собственноручно дарственную начертал; дочь отнял, зять отнял, жизнь растоптал, книгу подарил. Нет, я не думал тогда такими словами и не все, конечно понимал, от этого судьба меня хранила. Кто все понял, тот либо исчезал, как будто его и не было, либо, сломавшись, шел в услужение, подличал, а то и палачом становился.

Блаженны неведающие. Году в пятидесятом на Кубани, в станице Курганной, так тогда она называлась, молодые казачки, чтобы не обгореть на жарком степном солнце, чтобы брови не выгорели (красивой считалась та, что белолика, черноброва), низко на лоб повязывали головные платки, брови чернили, а лица мазали белой мазилкой. Готовила же мазилку хозяйка хаты, в которой я остановился, это был ее промысел. В большом чугушке смешивала она нутряное сало с чем-то еще, добавляла, помню, цинковой мази, не знаю уж для чего, и зелье это, варево страшное, подолгу мешала на огне. Потом, остывшее, заворачивала на продажу, как конфеты, бумага требовалось много, и она покупала для этой надобности «Краткий курс истории ВКП(б)», наверно, она одна в станице и покупала. Я спросил ее, почему именно эту



книгу она выбрала, а не какую-либо другую? Дешевая, страниц много и всегда в магазине есть.

Помню, в Воронеже, до войны, называли имена людей, писавших «Краткий курс...» Потом имя утвердилось одно: Сталин. Автор — он один, а те исчезли бесследно. И как венец мудрости изучали мы в институтах гениальное сталинское творение, особенно же — четвертую главу, самую гениальную. В нее тоже казачка заворачивала свое мазило.

Попробовал бы кто-нибудь в ученном мире усомниться, что слово, запятая в этой партийной библии начертаны не сталинской рукой, завтра же его имя боялись бы произнести. Только пожившие под этим страхом всеобщим, кто и страх почитал как осознанную необходимость, а значит — дарованную свободу, только те и поймут, почему старая женщина, у которой деспот отнял всех, хранила подаренную им книгу, как икону-заступницу хранят. А сестра моей тещи, у которой сына арестовали, носила с собой фотографию Сталина, а теща — лезвие безопасной бритвы в сумочке: успеть перерезать себе вены, если ее схватят на улице.

И ничему былой опыт не учит человечество, история пишется задним числом, а умные мысли как раз задним числом и приходят в голову, и быть бы историкам мудрецами, если бы не смущали соблазны: жить-то хочется, история — историей, а своя жизнь тоже дорога. И все повторяется вновь и вновь. Вот читаю, как эсэсовец — в Освенциме ли, в Трешлинке, не помню уже точно где, не раз и не два это, и не в одном лагере бывало, — приказывает заключенному: убей еврея, стань ботинком ему на горло, получишь сигарету. И заключенный заключенному становился ботинком на горло и получал сигарету в награду. А еще раньше у Гая Светония Транквилла читаю, как римлянин приказывает рабу: заколи отца, и дарую тебе жизнь. И сын-раб на глазах властелина закалывает своего отца-раба и остается жить. А между тем и тем событием — почти две тысячи лет. Все как будто изменилось, и сколько народов за эти сроки сошло с лица земли, сколько государств возникало и рушилось, и нации формировались как бы уже навечно, да — Бог ты мой! — чего только не происходило под солнцем, вот и христианство возникло, гонимое поначалу, травимое, вышло из тайных пещер, обрело власть, а с нею вместе — и все пороки власти, объяло полмира, но длилось и длится в самом роде человеческом что-то более вечное, что и в нашу жизнь пришло.

В сущности, и повесть «Студенты», и благополучие за нее в награду — все это по тем канонам, по которым власте-

лин предписал жить и дышать. И в заключительной главе повести герои славят Сталина, увидев его на мавзолее. Но вот живой классик, Шолохов, многомиллионным тиражом извещал Сталина о своих сыновьих чувствах: «По-сыновьи целую в плечо...» — писал он в то самое время. А уж он видел, ему ли не знать, как голодом вымаривали казаков на Дону, на Кубани.

Пройдут десятилетия, и в будущем, о котором несвободной мыслью своей мы и загадывать не могли, Твардовский напишет: «Предай отца, родного брата и друга верного предай...» И подскажет ему эти вещие слова не чужой, а свой собственный горький опыт. Что же требовать от человека, которому и тридцати не было, а жизнь, поначалу подарившая ему то, о чем другие и мечтать не могли, все отняла и провела через страх и многие унижения?

Ему близка была западная культура, да и как вообще русскую литературу отделить от нее, но шла борьба с «низкопоклонством перед Западом», борьба с «космополитизмом», не бескровная борьба, много, много жизней прервали ранние инфаркты, инсульты, а скольких сослали в лагеря, и повесть «Студенты» пришлось ко времени, ее «сдавали» на экзаменах в институтах, она стала той ложкой, которая дорога к обеду. В ней ученик разоблачает своего учителя-космополита и друг, не колеблясь, с гневом праведным исключает из жизни друга: «...ты не можешь понять сущности литературы нашей, социалистической, не видишь ее превосходства перед литературой буржуазного Запада. Отсюда — то, что называется низкопоклонством...» Да неужели это Трифонов писал? Критики, поумневшие, когда им позволили поумнеть, не упустят случая, повиснут на нем, как собаки на медведе, и будут шпынять за прошлые грехи. И он напишет в ответ, что писатель — это не бетонные опоры моста, которые должны оставаться неизменными. И на тот же самый сюжет напишет лучшую свою повесть «Дом на набережной», вновь там будут учитель и ученик, предавший учителя, но теперь уже зло будет названо злом, а добро — добром.

А тогда все мы во многом были другие, я искренне радовался успеху товарища, вознесенного приливной волной из безвестности. И все же меня самого что-то в душе от этого хранило.

В памяти у меня осталась та ночь в Серебряном бору, когда я вдруг проснулся и явственно ощутил, как из этих стен, из этого дома однажды ушла жизнь, и вот новая жизнь, как бы не зная о прошлой, радостно наполняет дом...

Минули годы, и оказались мы с Юрой и Ниной в одном дачном поселке под Москвой. Юра купил каменную двухэтажную дачу, что-то там надо было ремонтировать, достраивать. Мы с женой на крайнем к полю освободившемся участке, где раньше стояли засыпные шлаком бараки, поставили финский дом. Земля была – сплошной шлак и битое стекло, копнешь лопатой – отбросы, приваленные слегка, вонь ударяла из земли. Жили здесь временные жители, для них и барак этот, и земля – все это не свое было, ничье: от деревни отстали, к городу не пристали – мигранты, точный слепок нашей послереволюционной страны.

Ни одного дерева не росло на нашем участке, не земля, а свалка захламмленная, пришлось пригнать бульдозер и срезать весь верхний слой до рыжей глины, она растрескивалась в первое лето, как в африканской пустыне: лето было жаркое. И первый штaketник, который мы привезли, чтобы огородить участок, в ту же ночь украли: кому-то он оказался нужней. Но мы были еще довольно молоды: мне сорока не было, жене – того меньше, сыну – пять, дочка недавно начала ходить. И нам хотелось, вот для души требовалось, чтобы стала со временем эта земля рассыпчатой, черной, чтобы дети знали, как и что растет, могли различить каждую травинку. Однажды плотник, видя, как я, рыл траншею, в три слоя закладывая удобрения под малину, сказал, как говорят человеку, занятому пустым и явно не подобающим ему делом: «Ты бы, Яколич, лучше стих написал...» Так это и осталось у нас в семье на все случаи жизни: «Ты бы лучше стих написал...» Вот уж что не дано, так не дано.

Мы посадили сад, посадили березы, ели, сосны, клены, три дубочка принесли из лесу. У дубов корень далеко вглубь уходит, на метр и глубже приходилось рыть вокруг него, чтобы вынуть неповрежденным. А в первое лето, облагораживая землю, навезли навоза, посадили по всему участку картошку, и уродилась огромная, рассыпчатая, розовая (сорт был хороший), собрали восемь мешков, знакомым и родственникам раздавали картонными ящиками.

Однажды вез я из лесу на тачке старый куст калины (мы еще не знали, что молоденькое и приживается быстрее, и обгоняет в росте), да с таким комом земли его вывернул, что едва не надорвался, но все же довез и посадил. Зачем мы так старались? Сам не знаю. Хотелось. Бывало, льют дожди, соседи жалуются, опять, мол, погода испортилась, а мы подойдем к окну и посмотрим: под дождик хорошо сосенки приживутся. В июле, в самую жару, жена с дочкой увидели в лесу брошенную тройную березу: кто-то выкопал, да и

бросил. И хотя понимали, что не приживется, пожалели, принесли из лесу. И может быть, действительно рука легкая, от души сделано, не зря поливали ее, ухаживали — прижилась; теперь если глянуть на ее вершину, шапка свалится.

Мы и за участком в два ряда посадили аллею берез и тополей, отдыхающие министерского санатория после завтрака шли по ней в лес прогуливаться. Но уж так в нашей стране руки у людей устроены, что не могут пройти мимо дерева и хоть ветку не обломать. И вот как-то раз вожусь на участке, а вдоль забора идут две хорошо раскормленные начальственные пары. Отломил один ветку с березы, и ею же, веткой с листиками, указывает на нас: «Современные помещики...»

Но еще до того, как мы с женой чему-то научились, еще и дом наш был недостроен, возникли вдруг над забором очки, крупный нос, на котором они держались: «Здравствуйте! Я — садовод. Из Академии наук». Садовод! Так это его просто Бог послал! И вот уже на велосипеде въезжает на участок Иван Анисимович Ковтунов, Анисимыч, так звали его в нашем поселке, вокруг которого он неплохо кормился: мало кто здесь хотел пачкать руки землей. И нам тоже первую малину посадил он: «Из Академии наук!» Не один год в дальнейшем я ее выкорчевывал: малина была из лесу, дикая, приживчивая, нет-нет и опять где-нибудь прорастет. И первые сосны он сажал: принес из лесу и на наших глазах, а мы с изумлением смотрели, пополоскал корни в луже: «Чтобы лучше взялось с землей...» Сосны, разумеется, засохли. Но вот землю копать он был здоров как конь, мне все казалось, лопата у него какая-то особенная, с завистью я посматривал на нее. Кому досталось на фронте рыть окопы, на всю жизнь научен ценить хорошую лопату.

Он, кстати говоря, посадил Трифоновым грядку клубники, вскопал, удобрил, привез особый сорт — «ананасная»: у кого-то выброшенные усы подобрал. Рассказывали, хвалился потом у магазина: «Я им вместо суперфосфата алебастром грядку зарядил. Удобрил!..»

Давно уже я не вижу Анисимыча, жив ли? Лет шесть назад встретил его в военном городке, где он живет. Постарел Анисимыч, поважнел: дочка хорошо вышла замуж, уехала с мужем в капстрану, там он охраняет наше посольство. Анисимыч строит для них гараж, должны «Волгу» привезти.

Участок, где Юра с Ниной купили дачу, граничил с участком Твардовского. В дальнейшем, в «Записках соседа»,

Юра напишет: «Я был совершенно ничтожен как сельский хозяин. Твардовский скоро это сообразил и перестал давать мне советы: не в коня корм. Он только говорил иногда, с оттенком удивления, о том, какой отличный сельский хозяин Григорий Яковлевич Бакланов».

Мне это свидетельство приятно и даже дорого, потому я его привожу. И удивление Александра Трифоновича я понимаю. Борис Можаяев, приехав однажды к нам на дачу со своим домашним вином, поглядел сад, смородину черную, у которой ягоды были величиной с вишню, и сказал: «Ну, это — не ты, это — Элла». От истины он был недалеко, даже сейчас, когда был во мне угас, у жены моей по-прежнему с зимы еще зреют дерзкие, самые отважные планы: где что посадить, заменить, на какой грядке что будет произрастать. Но тогда и мне это доставляло радость. И хоть не последовал я совету плотника «написать стих», возможно, одна или две книги из-за этих моих увлечений не написаны, я не жалею. Раз не написано, значит, не слишком на свет просилось. Намного проще было бы купить готовый дом, в расрочку я, наверное, уже смог бы в то время. Два фильма на Ленинградской киностудии были запущены по моим сценариям, ни об одном из них я вспоминать не хочу, а вот то, что дом наш строили мы сами, я рад, и каждое дерево на участке нами посажено, и земля за тридцать с лишним лет стала рассыпчатая, черная, приятно в руке размять. Нам хотелось, чтобы этот дом и все вокруг него стало для наших детей чем-то вроде родового гнезда.

А писал я в то время роман «Июль 41 года», когда не получалось, пробовал писать повесть «Карпухин», но не умел я спокойно отложить одно и начать другое, незаконченная книга, как беда какая-то, повисла надо мной, избавиться от нее можно было единственным способом: дописать. Глядя теперь в прошлое, вижу: был я тогда увлечен и счастлив. Нет, я не хочу что-то повторить или прожить заново. Летели мы однажды с Василем Быковым, сидим рядом, выпили, и над какой-то из стран, какая — все равно не разглядишь сквозь облака, спросил я: «Хотел бы ты снова быть молодым?» И выяснилось, что ни он, ни я не хотим. Пожили. Я иногда и сам поражаюсь: какая долгая жизнь! Семнадцать лет в Воронеже до войны, а каждый год в юности, в детстве, как вечность. Потом — война, четыре года. Да разве годами ее измеришь, если один день бывал длиннее тысяч и тысяч жизней. И в каждом, кто войну прошел, она все длится. А послевоенные годы! Годы? Несколько эпох. И все это — одна жизнь.

Что тогда было бедой? Ну, конечно, если заболели дети. Но зато когда выздоровеют — счастье. Еще волновало интеллигенцию, что Хрущев непоследователен, начал сдавать позиции, опять вокруг него грибачевы-софроновы-кочетовы... Как-то в Переделкино навестил я Павла Филипповича Нилина, идем с ним, разговариваем, и вдруг я спохватился: «Да что же мы о Софронове, о грязи этой говорим чаще, чем о Льве Толстом!» А вот подумать: как же им было вокруг Хрущева не виться, не нашептывать в уши, кому же, как не им, в конечном счете поверить он должен, если они одного замеса? И хотя он решился на то, на что никто, кроме него, в то время решиться не мог и даже мыслью не посягал (шутка сказать, будучи в ареопаге в меньшинстве, Сталина объявил преступником, безвинных выпустил из лагерей, приказал Сталина вынести из мавзолея и сжечь, не думая, конечно, что, вынося одного, предрек и другому быть вынесенным ногами вперед), все равно они для него оставались своими, понятными, мы в этом недавно вновь на примере уже Горбачева могли убедиться.

Из дня нынешнего какими спокойными, какими бестревожными, если с теперешним временем равнять, кажутся те дни. Я писал увлеченно, и в том, что писал, душою был свободен, ну — почти что свободен. Сижу, бывало, на топчане, передо мной на табуретке — пишущая машинка (эту книгу я не только набело переписывал на машинке, но частично на машинке писал), за окном — снега, мороз, а здесь, сквозь стекло жарко от солнца, и в зимнем солнечном луче дремлет, нежит-ся кошка Мурка, выросшая у нас из котенка, урчит во сне. А то заберется за спину, греет поясницу. Прибегают дети с гулянья, наигравшиеся в снегу, надыхавшиеся морозным воздухом. Что еще для счастья надо? А я все гнал себя, предчувствуя: вот-вот захлопнется дверь, и роман мой уже не напечатается. Впрочем, с каждой книгой так: хочется донести, наконец, этот груз, сбросить с плеч. А потом — жаль.

Отработав самому себе назначенный урок, читал написанное жене. В романе «Июль 41 года» многое — от нее. Дом, тот, в каком жила она в Киеве. В 37-м году по ночам один за другим из него исчезали жильцы, недавние хозяева жизни, и гасли, гасли, темными становились окна квартир. А потом свет в них вновь зажигался, на место арестованных въезжали новые хозяева жизни, устраивались навечно, не подозревая, что и они — перекладные, которых много еще будет сменено в пути. Да и класс, в котором она училась, я написал по ее рассказам, и одноклассники узнали себя, обзванивали друг друга: «Это — про нас», — и спустя много лет встретились у нас дома.

Когда книга вышла, Юра Трифонов прочел ее, зашел, было это на даче. Помню, стоял в дверях кухни, почему-то не входя, говорил:

– Странно... Я жил в таком доме, а ты его написал...

Все такие дома и уклад жизни в них, видимо, похожи друг на друга, масштаб разный, но по одному стандарту скроены. А имел он в виду дом на набережной, который еще не стал его повестью.

Вообще на даче заходили они нередко: то Нина с дочерью, то он с Ниной. Как-то среди дня, под настроение распили мы бутылку холодного шампанского, а еще и апельсины были, получилось неожиданно и хорошо. Не то чтобы Нина и Элла сдружились, но в Друскининкай, где и случилась трагедия, она звала Элли поехать вместе, не хотелось ехать одной.

От прежней жизни осталась привычка хорошо одеться к вечернему выходу, и вот Нина оденется, подкрасится, а пойти особенно некуда, они заходили к нам, и можно было видеть, как Юра любит красивую жену. Это был трудный период его жизни. «Студенты», благополучие, блеск – все осталось в прошлом. В отсвете прежней славы написал он пьесу, она без успеха прошла в театре имени Ермоловой. Нина пела уже не в Большом театре, а в Москонцерте, гастрольные поездки по городам, Юра писал ради денег документальные сценарии, заставлял себя писать роман о строителях Туркменского канала, было это ему не близко. Другая жизнь шумела на дворе, другое время, другая литература. И как-то по-холостячки неуютно было в их большом доме, хотя жили там три поколения одной семьи. О главном, что отдалило их, он иносказательно упоминает в одной из своих повестей. Но вот именно в этот период душевного неустройства, когда, казалось, все – в прошлом, накапливался в нем опыт жизни, зрели будущие его книги, которые дадут ему имя и оставят в литературе. Началом их стала трагедия.

К концу лета Нина все же собралась в Друскининкай. Она жаловалась на недомогание, но было такое впечатление, что просто она тяготится собой. И вдруг оттуда сообщили: Нина умерла. Как стало потом известно – сердечная недостаточность.

Встречали мы гроб у загородного мотеля и потом ехали по Москве. У Смоленской площади, у магазина похоронных принадлежностей, остановились, кто-то туда зашел, а мы с Юрой ходили вдоль машины, туда и обратно, и он говорил: «Почему это со мной должно было случиться? Почему именно со мной?..»

После похорон были суматошные поминки. В квартиру, которую Нина с огромным трудом выменяла (сам процесс обмена тоже войдет в одну из его повестей), набилось много народу, стояли на кухне, стояли в тесном коридоре. Зазвонил телефон, и мы услышали, как дочь, уже взрослая, Нина любила ее такой же страстной любовью, как мать любила ее, отвечает кому-то громко, немного в нос, отчетливо произнося каждое слово: «Мамы нет. Она умерла... Да, умерла... Похоронили...»

Потом стали выходить повести Трифонова, о них заговорили, критика молчала, потом обвиняла в мещанстве, бог знает в чем: верный признак, в литературе появилось нечто незаурядное. Я не сразу прочел, хотя был уже наслышан, я слишком близко знал их с Ниной жизнь.

«Дом на набережной» я прочел раньше других вещей, уже напечатанных. Мы тогда оба в Литературном институте, который сами когда-то кончили, вели семинары по мастерству. Как раз перед занятием собрались преподаватели, среди них едва ли не половина Юриных недоброжелателей, я был под впечатлением его книги и при всех горячо похвалил ее. Он как-то радостно вздрогнул, достал из портфеля другую свою книгу, трогательно надписал, забыв, что такую книгу уже дарил мне однажды.

Долгое время его не выпускали за границу, где широко издавались его повести, причиной, кажется, было избрано то, что в свое время там остался его двоюродный брат. Потом он начал ездить, ездил часто, он неплохо говорил по-немецки, изучал английский. Его хорошо принимали, как, впрочем, он того заслужил, и чувствовал он себя там хорошо. «Знакомый воздух парижского вокзала, в котором было много всего, и это создавало впечатление какой-то горьковатой и душевной сладости, охватил Глебова, как зной». Это из повести «Дом на набережной», это не про себя, но и про себя тоже.

И вот вернулся он из очередной поездки, на этот раз — в Германию, тогда еще — Западную Германию, где особенно широко издавали его, вернулся освеженный, помолодевший, и мы шли вдоль леса, уже осеннего. Юра был в новых, больших очках, такие тогда начали носить, грузно ступал, давя опавшую листву, новые синие туфли на дымчатой литой подошве тонули в траве, она уже не росла, приготовилась к заморозку; в Божий этот день мы, словно каждому из нас по три жизни отпущено, не солнцу, не осени и лесу радовались, а шли, уставая в свои мысли, головы наклоня.

— Все щели здесь забиты говном, — говорил он, как на



больной зуб давя. Резок был переход между тем, как его там принимали, и возвращением домой. Включишь телевизор – очередное награждение, те же старцы окружают Ильича, у каждого сквозь черты лица уже череп проступает, на одного Кузнецова посмотреть, которого Брежнев избрал себе в заместители: согнутый позвоночник и череп на нем, и все это облачено в костюм обвисший. Советники моложе старцев, но все такие благополучные, хорошо устроившиеся, пишут доклады, подают мысли, одерживают маленькие победы: в таком-то абзаце с риском удалось вставить нечто между строк, и сразу – толки, толки, не начало ли это благих перемен? Про них он сказал в тот раз:

– Они, когда достают и что-то могли бы сделать, они сами уже ничего не хотят.

И вдруг, улыбнувшись неловко, в слабости признаваясь, сказал о нашем однокашнике, осыпанном в брежневскую пору всеми мыслимыми наградами, в том числе – орденом за освобождение страны, которую он не освобождал, но орден тем не менее взял:

– Знаешь, а у меня почему-то нет к нему зависти.

Я поразился: ну чему тут может завидовать писатель, да еще такой зоркий? Из этого человека фальшь сочилась, он уже с самим собой разговаривал на «вы», была бы возможность, он и в постель въезжал бы на черной «Волге».

– Нет, правда, я спрашивал себя: завидую я ему? Нет.

Первая книга зрелого Трифонова – «Отблеск костра»: «На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опалит жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех. История полыхает, как громадный костер, и каждый бросает в него свой хворост».

Отблеск истории и на всех его последующих книгах. Он вновь и вновь и все глубже переосмысливал и себя, и время, в котором досталось ему жить, и время, когда его отец был молодым. А что тогда начиналось, знать было не дано. Не случайно этой книге об отце Трифонов взял эпиграфом слова старой песни времен революции: «В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы неизвестные ждут...»

Судьба его отца завершилась в ночь на 22 июня 1937 года: «...ночью приехали люди в военном и на той же даче, где мы запускали змеев, арестовали отца и увели. Мы с сестрой спали, отец не захотел будить нас. Так мы и не попрощались».

И он расскажет об этом еще раз, умудренный всей прожитой жизнью, в которой выпали ему и испытания, и искушения, но, пройдя через них, он сохранил в себе дар Божий. Как просто и как горько начат последний его роман «Время и

место», в этой книге предвидение своей судьбы и, может быть, скорой кончины, подлинная литература вообще обладает даром предвидения:

«Надо ли вспоминать о солнечном, шумном, воняющем веселой паровозной гарью перроне, где мальчик, охваченный непонятной дрожью, держал за палец отца и спрашивал: «Ты вернешься к восемнадцатому?» Надо ли вспоминать, о чем говорили отец с матерью, не слышавшие мальчика? «Ты мне обещал! Ты мне обещал!!» — ныл мальчик и дергал отца за палец. Надо ли вспоминать об августе, который давно истаял, как след самолета в синеве? Надо ли — о людях, испарившихся, как облака? Надо ли — о кусках дерна, унесенных течением, об остроконечных башнях из сырого песка, смытых рекой, об улицах, которых не существует, о том, как блестела до белизны металлическая ручка на спинке трамвайного сиденья, качался пол, в открытые окна летело громыканье Москвы, мать смотрела сердито, ничего не слыша, мальчик вдруг закричал: «Ведь он обещал!» — и топнул в отчаянии ногой? Надо ли — о том, как мать плепнула его по щеке, лицо ее сморщилось, глаза зажмурились, и он увидел, что она плачет?..

Надо ли все это?

Мальчика звали Сапа Антипов. Ему было одиннадцать лет. Отец Саши не вернулся из Киева никогда. Мальчик Сапа вырос и давно состарился. Поэтому никому ничего не надо».

И снова осень. Всю ночь лил дождь, перестал под утро и вновь пошел, смывая последнюю листву с деревьев. Они как-то сразу оголились. Долго стояли зелеными и березы, и липы, только клены, первыми почуввав близкие холода, в день-два превратились в желтое облако. И посыпалась, посыпалась листва с деревьев, легла шуршащим ковром.

На выезде из поселка сквозь мокрое от дождя стекло, сквозь мапущие по нему дворники вижу, встречно идет мальчик, школьник, бодро встряхивает ранцем за плечами. И я узнал его: сын Юры Трифонова, такой же, как у него, близорукий, затуманенный взгляд, когда, бывало, Юра снимет очки.

Как бодро шел он под дождем с прилипшими к мокрому лбу волосами, шел, о чем-то своем думая, и легок, весел был его шаг. Вот уже он открывает калитку...

## ПОКА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ

Не знаю, как другие, но я своим детям, особенно когда они были маленькие, а сына, мальчика, война должна была интересовать, про войну не рассказывал. Почему-то не мог. Виноватым вроде бы мне себя чувствовать не в чем, и нечего стыдиться, хотя и я убивал людей. Но, случилось, и миловал. Я уже писал, как во время Яско-Кишиневской операции держал я на мушке убежавшего от меня немца, спина его, согнутая в позвоночнике, на мушке у меня была, всего-то и оставалось нажать пальцем спусковой крючок. Не нажал, оставил жить. Ну, да это не объяснение. Просто не мог, в ясные, чистые, доверчивые детские глаза глядя, рассказывать про войну.

А однажды — сын тогда учился в четвертом или пятом классе — призван я был в школу по случаю Дня Победы и, повинаясь родительскому долгу и указаниям учительницы, надел немногочисленные свои наградные колодки, они-то более всего меня стесняли, вроде бы выставляюсь, и мальчик спросил: «Дядя, вы — ветеран?» Вот так впервые применительно к себе услышал я это слово, мне еще сорока не было.

Что хотел и мог, я рассказал в книгах. Книги — свидетельство о времени великом и страшном, когда решалась судьба нашей родины; каждый, кто участвовал, знал, помнит, обязан оставить свидетельство. На той войне, на Отечественной, не всем выпало совершать подвиги, даже не всем тем, кто способен был и мог, не каждый и до фронта доехал, воинские эшелоны, как, впрочем, и гражданские, бомбили и в тылу, но все вместе — и герои и не герои — все вместе спасли родину в годы небывалого нашествия. И тех спасли, кто ныне живет, получив жизнь в подарок, и за делами своими и заботами повседневными так и не нашел в себе желания и времени хотя бы предать земле кости павших на полях бывших сражений; их втягивают в себя болота, мхом заросли они в лесах, и в том их погребение, да ветры укрывали пыльными бурями. Но нет-нет и поныне еще выпадет плуг человеческие кости. «У нас любить умеют только мертвых...» Это про великих сказано, про именитых. А рядовые? Есть ли еще на земле страна, где бы так относились к павшим воинам?

Вот пипет мне человек 53-го года рождения, не такой уж молодой, но явно сбитый с толку национал-патриотиче-

ским кликушеством последних лет. Он не хочет меня обидеть: «Вы – один из моих духовных пастырей. До церкви нас не допускали, так что нравственно воспитывались мы на книгах. Воспитались мужчинами, защитниками Родины». А дальше – про границу: «Все чаще печатают вести об актах вандализма на захоронениях наших солдат. Вам бы заступиться, Григорий Яковлевич, за память о погибшем солдате. Позаботиться о том чтобы перенести останки на родную землю, пока еще есть что переносить».

Сам он из Старой Руссы, в 42-м году я воевал в тех местах. Там столько не похороненных! А вся 2-я армия, которую Власов предал, – кости и черепа тысяч и тысяч в районе Мясного Бора... Это туда из-за границы переносить останки? Знаю, знаю, что прах миллионов, погибших в фашистских лагерях, – и солдат войны, и никогда не бравших в руки оружие мирных жителей, и детей малых, – развеян по полям Европы, втопан в землю. Но там, где есть кладбища, в том числе – в Германии, они сохраняются в образцовом порядке, нам бы так научиться. У нас же в лучшем случае – символы, всем сразу: горят вечные огни неведомо над кем, и, как бездомные, возлагаем к ним цветы, не нашлось на просторах нашей родины места для родных могил. А кое-где огни эти уже погашены: дорог нынче стал газ, дорожке памяти об отцах и дедах.

Пока мы были молодыми и мыслями все еще там, на войне, словно она не кончилась (это не просто – вернуться в мирную жизнь, многим в ней места не нашлось), бывало, соберемся, выпьем, и если пойдут разговоры, так все больше смешное что-либо вспоминалось: то ли будоражить в себе не хотелось главное, а может, из простого чувства застенчивости. И дух вольности жил в нас, цену что ли начали себе сознать? Вот это, как мы после убедились, более всего ненавистно оказалось «отцу родному», которого мы всенародно славил: рабами управлять легче.

Помню, стояли мы в Болгарии, поздняя осень сорок пятого года, красива Болгария осенью, персиковая, виноградная пора, а мы ждем – не дождемся, когда же, наконец, демобилизуют нас, домой отпустят, хотя у многих там – ни дома, ни крыши. Тем более – домой. И вот собралось дружное застолье, было это не в редкость, хорошо сидим, и тут кто-то скажи, что у одного нашего начальника, не буду имя его поминать, может, он теперь отошел уже в мир иной, будто бы у него целый прицеп набит награбленным барахлом. А давайте сожжем! В том ли было дело, что мы его не любили, или чувство справедливости вышло в нас (когда

человек выпьет, ему непременно справедливость подай), но сказано — сделано. У нас, у кого они были, даже фотоаппараты поотбирал у всех особый отдел и командование, мол — не дай бог! — пушки наши сфотографируем, тайну военную выдадим. Мало того, что отобрали, так еще как бы под подозрение попадал человек, может, успел уже, выдал, поди знай... А тяжелая наша артиллерия едва ли не вся осталась в сорок первом году в руках у немцев: у границы, в многочисленных окружениях, какая уж тайна! И в каждом киновыпуске эффектно стреляли наши пушки, и во всех газетах были их фотографии, но тем не менее фотоаппараты отобрали у всех. А тут — прицеп барахла. Еще и застолье не кончилось, он уже пылал. Просто рехалось тогда, в молодости.

Впрочем, доводилось мне слышать и героические рассказы. Но странная закономерность: как правило, это рассказывают те, кто был далеко от фронта, немца видел разве что в бинокль, а чаще всего — охраняемого, пленного. Окажешься в таком обществе и чувствуешь, что ты, вроде бы, и не воевал.

Конечно, в сорок первом году и фронт, и глубокие тылы нередко постигала общая участь, всех вместе, и тыловиков, и окопников, случалось, гнали по дорогам в общих сборных колоннах, немцы, сознавая себя победителями, даже и не очень-то их охраняли: тысячи, десятки тысяч, миллионы пленных, обреченных. Но под конец войны... Мне как-то довелось читать воспоминания комиссара, верней — замполита дивизии или бригады всего лишь. Был он в ту пору уже директором Свердловской киностудии, мы были знакомы, оказались одновременно в Доме кинематографистов в Болшеве, он попросил, я не смог отказать, читал. А он рассказывал спроста, как они жили на войне, на каких сервисах ели-пили как раз в ту пору, когда шли тяжелые бои за Вену, как им австрийки прислуживали. И все это как будто так и надо, хозяин жизни писал. Никогда уже больше он так не жил, как на войне. Да он ли один?

А вот в той же Вене. Бой в городе идет, заскочили мы в особняк, внизу, в холле (я и слова этого тогда еще не знал), — убитые лежат, и немцы, и наши. А по деревянной лестнице наверх — очередь пехотинцев. И все какие-то нетерпеливые, жаждающие. Там, наверху, — женщина, к ней и стоит по лестнице очередь. Артиллерийские разведчики тут же начали оттеснять, отпихивать пехоту, не для чего-либо, а чтобы — самим впереди встать, уже за автоматы хватаются. Все же удалось отогнать и тех, и других. И видел я и всю жизнь это вижу, как она вышла. Была это не австрийка — наша, ут-

нанная в неволю: эшелонами гнали в Германию, в Австрию — восточных рабов. И вот со своими повстречалась. Она вышла на эту площадку лестничную наверху, юбка сзади тяжело отвисшая, мокрая, скользкая — этого я забыть не могу.

Те, кто был на войне, всего про войну не расскажут. И не надо. Я тоже немало из того, что видел и знаю, унесу с собой.

Но вот прошли годы, десятилетия, целая жизнь минула, и, глядя отсюда, хочу сказать: не судите этих людей по меркам мирного времени. Да, не все даже и война списывает, тогда и я готов был в эту очередь из автомата стрелять, а сейчас говорю: не судите. В том нечеловеческом деле, которое называют войной, даже нормальные люди звереют. И не всем, нет, не всем удается сохранить себя, остаться человеком. Хорошо, если хотя бы потом покаяние очищает душу. Но это — твою душу. А жертвы?

## ВХОДИТЕ УЗКИМИ ВРАТАМИ

На третьем курсе студентом Литературного института послали меня в командировку в Чувашию, написать очерк. Я съездил, написал: дождливый день, поля, мокрые стога в тумане, как на краю света, простые подробности человеческой жизни, но мыслям в очерке, не было тесно. Да этого газете и не требовалось, любая мысль в то время проходила сложный путь утверждений, согласований.

Очерк напечатали на первой полосе «Литературной газеты», я был приглашен к Симонову, главному редактору, меня ввели к нему в кабинет, я был поощрен и обласкан. И вновь командировка, на этот раз – в заволжские степи, и снова очерк на первой полосе. Мне было предложено, когда закончу институт, поехать собственным корреспондентом газеты на Куйбышевскую ГЭС, на «стройку коммунизма». Не знал я, что коммунизм там строят заключенные, рабы. Наверное, таким и представлял себе коммунизм наш вождь и учитель и решил, после победы в войне, пришло время бросить валять дурака, пора называть вещи своими именами: «стройки коммунизма». Не резало же нам слух ежедневно повторяемое по радио и в газетах: «На горизонте уже видны сияющие вершины коммунизма!», хотя каждый школьник знал, что горизонт – это воображаемая линия, которая отдалается по мере приближения. Страну населяли не другие какие-то, ныне вымершие люди, а мы сами, мы воспринимали любое его слово как последнее откровение.

Помню, до войны в Воронеже большое умов смятение вызвали два свежих сталинских высказывания, напечатанные, кажется, в журнале «Большевик». Сталин сказал, что он любит почитать и в день прочитывает не менее пятисот страниц. Пятьсот страниц, мыслимое ли дело? Но объяснение нашлось: у Горького, мол, было так устроено зрение, что он взглядом охватывал сразу целую страницу. Раз Горький мог, Сталин тем более. А второе и мудрецов повергло в трепет: Сталин произнес тост за здоровье Ленина. За здоровье покойника... Подумать, что съяну, грузинского вина перекушамши, на это самый смелый ум не решался.

Итак, предложено мне было поехать на стройку собственным корреспондентом «Литературной газеты». У меня в то время – ни семьи, ни жилья, я уж было размечтался, но тут произошло вот что: бывшего комсорга института Бушина я публично назвал фашистом. Разразилось громкое пар-

тийное дело, меня исключили из партии, потом обошлось все строгим выговором, но ясно было, что теперь корреспондентом меня не пошлют.

«Литературная газета», весьма любимая интеллигенцией, была особая газета: ей и только ей высочайше позволялось являть умеренные признаки свободомыслия, нести легкий налет оппозиционности — для заграницы, разумеется. Мнение заграницы у нас всегда рабски почиталось, что не мешало вести борьбу с «низкопоклонством перед Западом». Учредив под строгим надзором единственную в стране, так сказать, оппозиционную газету, Сталин распорядился: дать ей хороший буфет. И буфет в «Литературной газете» был хорош. А главным редактором назначили Симонова: Сталин его любил. Случалось, и сек, например, за повесть «Дым отечества», потом снова любил: у нас исстари за одного битого двух небитых дают. Да это ли битые по тем временам! Вернейший бессменный помощник Сталина Поскребышев, рассказывают, на коленках елозил по ковру, молил властелина вернуть жену из лагерей, имел такую слабость, любил ее. «Иди. Жена тебя дома ждет». Дверь открыла незнакомая женщина: «Я — вапа жена». И с ней, сотрудницей органов, жизнь прожил, детей нажил. Так ли, нет, не поручусь, но это было широко известно. В сравнении с этим битые, выпавшее Симонову, — отеческая ласка.

Покойный Илья Эренбург, с которым вместе был я в свое время приглашен на 20-летие словацкого восстания, рассказывал мне в Праге, в любимой его гостинице «Алькрон» (номера наши были рядом, ему не спалось, ему требовалось выговориться, возможно, в чем-то и оправдаться перед самим собой и не только перед собой, он говорил, говорил до полуночи, мне бы записывать, интересно, а я, намотавшись за день, да и поили нас непрерывно на партизанских встречах, мучительно хотел спать), так вот рассказывал мне Эренбург, как после разгрома в печати повести «Дым отечества» поехал он к Симонову на дачу в Переделкино подбодрить его. В шортах, загорелый, лежал Симонов в гамаке. «Жизнь кончена», — сказал он. После этого он написал «Русский вопрос». Мне запомнились эти, одна за другой без всякого выражения сказанные фразы: «Жизнь кончена». — После этого он написал «Русский вопрос». Пьеса «Русский вопрос» разоблачала США и сразу, разумеется, пошла на многих сценах.

Но до поездки в Прагу надо было еще целых четырнадцать лет прожить, а тогда, в пятьдесят первом году, я заканчивал институт, жить мне было негде, никакая работа



нигде не светила, и я все же решил попытать счастья, записался к Симонову на прием.

Сколько ему тогда было лет? Ранняя седина, ранняя известность, а известен он был смолоду, не только поэзия его, но даже его жизнь с актрисой Серовой, в прошлом — женой летчика Серова, погибшего, все это широко обсуждалось. Ну, и обитал он в высших сферах, наверное, потому казался мне немолодым. А было ему тогда тридцать шесть лет. Часов в двенадцать ночи он вышел из кабинета, сказал, что примет всех. И затрепыхалась надежда: вот же видел он меня, сказал — примет. В два часа ночи меня позвали в кабинет. Разговор был короткий. Не приглашая садиться, он зашел за свой редакторский стол, не спеша набил, раскурил трубку (вот эта пауза была для меня долгой), повеяло хорошим ароматным табаком.

— Мы пошлем вас на ст'ойку, а вы там комсо'га назовете фашистом...

Он не выговаривал звук «эр», но это не портило, а даже придавало его речи индивидуальность, и говорил он в сталинской манере, не торопясь: пауза и — жест трубкой, опережающий слово.

Я молча выслушал его, вышел. Одного не мог понять: зачем он принял меня? Чтобы вот это сказать?

В третьем часу ночи шел я по Москве, униженный до крайности, и думать не думал, что все, происшедшее со мной, к лучшему. Никуда не надо было мне ехать «изучать жизнь», ни на какие стройки. Позади — вся война, все, что я должен был рассказать, все мои книги были во мне, только я еще об этом не догадывался. Не от себя, а в себя путь писателя, там все сокрыто, а жизнь у нас повсюду интересная, не зря все чаще поминуют не самое доброе китайское пожелание: жить тебе в интересное время!

Да и что бы я там увидел? Ни фашистские, ни наши лагеря я не прошел, Бог миловал. А требовалось, о чем я и не догадывался, видеть зэков и восхвалять свободный труд «строителей коммунизма». Вот это бы, наверное, переломало мне жизнь.

И по-другому посмотреть: поехал бы, и была бы у меня, возможно, другая семья, какие-то другие дети, внуки... Нет, я благодарен Симонову, я действительно благодарен ему. «Входите узкими воротами». Великая мудрость в том заключена.

Прошли годы, и жизнь не то чтобы сблизила нас, но мы оказались как бы по одну сторону незримой баррикады. Нужно было перед Фурцевой, перед министром культуры,

защищать спектакль в Театре на Таганке — зовут и его, и меня. И много было таких случаев. Да к тому же и за городом оказались в одном поселке.

Думаю, лучшее, что написано им о войне, это его фронтовые дневники. Но и там — корреспондентская, генеральская война. Вот пишет он о боях под Могилевом, где героически сражался полк Кутепова (а Кутепов — прообраз Серпилина во всех его романах, начиная с «Живых и мертвых»), пишет, что, по-видимому, все они там погибли. Следующий же отрывок в дневнике начинается со слов, что он, Симонов, хорошо выспавшись и позавтракав, отправился... Этой разницы судьбы не он один не чувствовал, не понимал.

В послевоенной, мирной жизни он словно бы еще не пришел с войны. В кабинете его, на даче, в просторном, богатом кабинете, потолок был из бревен, но хорошо обработанных, подчеркнутых и лаком покрытых бревен. И под этим накатом, как в землянке, диктовал он свои книги, потом это перепечатывалось с магнитофона, и он правил. И ходил он, и держался так, словно не снял с себя военной формы. Только формой его был теперь джинсовый костюм и та же трубка. В джинсовом костюме вел он телевизионные беседы с кавалерами трех орденов Славы; грядущим поколениям он оставил живыми на пленке этих людей, их простые рассказы. Кроме него никто этого не сделал. И, если не говорить о его поэзии, это — самое проникновенное, что сделано им. В свое время я написал об этих беседах с солдатами, о фильме, который получился. И о другом его фильме, поставленном по роману «Живые и мертвые», я по его просьбе написал для «Летр франсез». Не знаю, как сейчас смотрел бы я этот фильм, но тогда первая его серия меня взволновала, вторая же... Не помню, кто сказал о книгах Симонова, что автор их гораздо интересней при встрече, чем при расставании.

В 1975 году в журнале «Новый мир» цензура запретила мой роман «Друзья», уже набранный в типографии, уже стоявший в номере. Ни одна моя книга не проходила через цензуру, не ободрав бока. Первая повесть о войне — «Южнее главного удара», — повесть слабая, но первая, была искалечена в журнале «Знамя». Как раз в то время свергли Жукова, уехавшего в Югославию, и одно из страшных обвинений ему было то, что он недооценивал роль политработников, комиссаров. А у меня в повести как раз ни одного комиссара и не было. Стыдно вспоминать все это костоломное редактирование, и уж совсем противно, что в последний мо-

мент, без моего ведома снято было посвящение моим погибшим на войне братьям, родному и двоюродному: Юрию Фридману и Юрию Зелкинду. Оба они пали смертью храбрых, артиллерист и пехотинец, ни у одного из них даже могилы нет. После, в книге, я это посвящение восстановил.

Другая повесть, «Мертвые сраму не имут», в последний момент, опять же в журнале «Знамя», была вынута из набора. Причина вовсе странная: в заливе Качинос, на Кубе, высадились эмигранты свергать Кастро. Меня вызвали и сказали: надеемся, вы понимаете... Впрочем, эмигранты были вскоре разбиты, и повесть запустили снова.

Только то обстоятельство, что пишу я медленно, делало встречи мои с цензурой не такими уж частыми. Но вот опять встретились. Попробовал я было в Союз писателей обратиться, все-таки вроде бы профессиональный наш союз. Маркова замещал Озеров, с ним у нас были самые теплые отношения, о детях всякий раз справлялся. Но тут вдруг стал холодно-официален: «Нет-нет, секретариат этим заниматься не будет. Если каждый раз секретариат...» Впрочем, в тот же вечер он позвонил мне. В Минске по случаю тридцатой годовщины Победы собиралось большое заседание, он возглавлял делегацию, возглавлял все это мероприятие, и я был ему нужен: «Вам надо поехать, выступить, это создаст для вас благоприятный фон...» Пришлось его огорчить.

И тут Лазарев Лазарь Ильич предложил поговорить с Симоновым, секретарем Союза. В свое время Лазарев первым написал рецензию на мою повесть «Пядь земли», написал, как фронтовик мог написать. И доставалось ему потом вместе со мной нарравне. Он поговорил, Симонов согласился прочесть роман, предупредив: «Только вы дайте мне его при н и х. На главные секретариаты о н и теперь меня не приглашают».

А я и не догадывался, что его уже начали оттеснять, хотя было это так понятно. Он служил Сталину, бывал обласкан. Науку властвовать Сталин изучал с детства, знал, власть нуждается в красивых одеяниях, умел расставлять по сцене и главных исполнителей, и массовку, не скупился на декорации. Симонов мог сравнивать тот двор и его подобие, и это было не в его пользу. И международная его известность была ему теперь как бы в укор: Марков, Сартаков – кто их знал? Брежневские времена, чиновник выросстал в спасителя отечества. Да и не воевал никто из них. А на Симонове, что бы там ни говорить, лежал ответ победы, читатель его был огромен, его читали и рядовые, и маршалы, и даже жены самых высших руководителей. Я мог в этом убедиться, когда после его смерти в журнале «Знамя» мы печатали его мемуары «Глазами человека моего поколения».

Для меня в этих мемуарах, в которых он решился сказать

всю правду, а печатать, насколько знаю, при жизни и не пытался, интересней всего был он сам, человек своего времени. Как несвободна была его мысль, даже когда он писал в стол, как пишут завещание.

Я отдал ему верстку романа при Озерове, на следующий день они уезжали в Минск. И понимал, что все это уже впустую, журнал не может ждать, есть график, сроки, а выпал из номера — выпал из гнезда.

Помог мне совершенно неожиданно Наиль Бариевич Биккенин. В огромном здании ЦК, где столько этажей и кабинетов и так хорошо разработана система отпасовывать неприятное дело по горизонтали, по вертикали, чтобы не брать ответственность на себя, он занимал весьма небольшую должность: заведующий сектором. И знакомы мы с ним были всего каких-нибудь несколько месяцев: в Колонном зале Дома Союзов он подошел, протянул руку: «Я ваш читатель». Он позвонил в цензуру, и роман был напечатан, хотя опять покореженный. И еще дважды Наиль Бариевич вырубал меня.

Как-то зимой по делу зашел я к Симонову на дачу. Был я с мороза, в валенках, внес с собой морозный воздух, и, возможно, от этого захотелось ему пройтись, подышать. Он хронически болел легкими, подозревали даже рак, но рака у него не было. И вот втроем шли мы по улице нашего поселка. Он был в черной, черным мехом отороченной дубленой шубе, в дубленке была и Лариса, его жена. Первым браком она была замужем за поэтом Семеном Гудзенко, пошла за него против воли своего отца, генерала Жадова, в войну — командующего армией: Гудзенко был еврей. Кстати, фамилия самого генерала была Жидов, но Сталин, подписывая указ о награждении, счел такую фамилию неподобающей и переименовал его в Жадова.

Мы шли по свежесвалившему снегу, и морозен, чист был воздух за городом, дышишь и не надыхнешься. Еще и лошадь пробежала с савьями, уронив между следов полозьев теплый помет. О чем-то мы говорили, я старался смотреть под ноги, чтобы по лицу моему он не увидел, как изменился. У него уже был тот испуганный взгляд человека, страшящегося в чужих глазах прочесть правду о себе. А изменился он сильно. В белый зимний день при мягком свете особенно желтым, серо-желтым было его лицо, черные тени под глазами, а губы белые, сухие, шелушатся. Он уже не курил, но закаплеваясь и сплевывая в снег желтые, будто от никотина, плевки. Потом он лег в Кремлевку. Говорят, ему непрофессионально сделали выкачивание из легких. Но мне кажется, возможно, я ошибаюсь, он чувствовал, что пережил свое время, и это липало его воли к жизни.

## СТАРЫЙ СТАРИЧОК

При Хрущеве построили эти особняки вблизи киностудии «Мосфильм». Построили, обнесли высокой каменной стеной, встала за стеной охрана, и москвичи прозвали все это – «Заветы Ильича». Бывало, раскрывались массивные железные ворота и выезжали черные машины. И въезжали. И вновь наглухо закрывались ворота. В одной из этих длинных черных машин с пуленепробиваемыми стеклами ездила бывшая ткачиха, член политбюро (или президиумом тогда это называлось?) Фурцева, а другая ткачиха, с Трехгорки, построенной еще купцами, лежала в роддоме, в районе Сре-тенки, в одной палате с моей женой – есть там такой старый родильный дом в глубине квартала, за новыми домами, мно-гие поколения будущих москвичей вынесены оттуда на ру-ках, прежде чем они сами, своими ногами пошли по земле.

Лето. Окна распахнуты на всех этажах, в каждом окне – женщины в одинаковых халатах, временно сюда заключен-ные. Внизу, под окнами, – мужья и матери, перекликаются с ними, задрав головы. Но к этой ткачихе не муж приходил с передачами, а подруги.

– Мы к Пурцевой, к Пурцевой пойдем! – кричали они всех громче.

– А кто она, Пурцева?

– Ну – Пурцева! Не знаешь, что ли?

И уже все, приходившие сюда проводить жен и доче-рей, знали: ткачихе этой идти некуда, в общежитие с ребен-ком не пускают, хоть здесь, в роддоме, оставайся. Вот за нее и собирались ходатайствовать перед бывшей ткачихой, ныне – главным человеком на Москве, первым секретарем город-ского комитета партии.

Не знаю, кто помещался в соседних с Фурцевой особня-ках, все это были люди временные, хотя и всевластные, вспомнить нечем. Бывало, засядут они в президиуме в один ряд, движется камера по лицам – все на одно лицо.

Как-то бывший редактор журнала «Октябрь», ныне по-койный Панферов привел нас, молодых в ту пору, для по-учительной беседы на Старую площадь, и то ли Аристов, то ли Беляев – говорят вам что-нибудь эти имена? – рассказы-вал нам в огромном кабинете, где он кого-то сменил и где потом его кто-то сменил, о перспективах Сибири: какая там дешевая электроэнергия, как донастроят там повсюду теп-лиц, и будут в этих теплицах произрастать огурцы и по-

мидоры на сибирском морозе, и окажутся они дешевле тех, что сами в южных краях растут под солнцем. И в ближайшем будущем завалят тепличными помидорами всю страну, а пароходы и самолеты повезут их в ближние и дальние страны...

В самом конце улицы особняков и тоже за каменной стеною был Дом приемов, так, кажется, тогда он назывался. Должно было там состояться чествование Нобелевского лауреата Шолохова, я получил приглашение и решил пойти из любопытства. Проверили у меня документы при входе на территорию, не раз и не два взглядом сверили мое лицо с фотографией, а ты стоишь, поневоле напряженный, пока убеждаются, что ты — это ты, и отдана была честь: могу проходить.

Я несколько опоздал, за огромными, уходящими в бесконечность столами уже ели и пили, стоя, и слышалось дружное жужжание убаготоренных голосов. В ту пору на жителя Москвы в среднем приходилось в год что-то около ста тридцати граммов красной рыбы, истребленной стремительным нашим продвижением к светлому будущему, а на жителя страны — и того меньше. Но здесь, в огромном зале, на столах, сверкавших под электричеством, и семги, и лососины нежнейшей, и белуги, и севрюги — всего было вволю, и приглашенные жужжали над ними, чуть принижая голоса, когда очередной по списку оратор выходил к микрофону. Вот там, у почетного стола, как обычно, поставленного поперек, бродил невысокий седенький старичок с подстриженными седыми усами. Он, очевидно, плохо слышал и оттого, держа в одной руке тарелку, в другой, в пальцах, — надкушенный слоеный пирожок, близко подступал к оратору, простодушно глядя ему в рот. А поставит тарелку на стол, она тут же словно бы сама собой исчезала, и он оглядывался потерянно, с детским огорчением: где его недоеденный пирожок, куда делся? Но рослые официанты с хорошей строевой выправкой следят за порядком, посуду грязную тут же убирают. Он берет новую тарелку из стопки, опять надкусит, опять — огорчение.

Его и толкали, пробегая: молодые поколения подросли, деловых, целеустремленных. Толкнут и не оглянутся, мол, не заметили, он оглядывается им вслед с опозданием. Кто в армии служил, знает, как это не заметить офицера даже в самых малых чинах, не поприветствовать. «Меня не заметил? Я что, такой незаметный?» И вернет, и раз, и два поставит пройти мимо него, печатая шаг, неся ладонь у виска: меня не заметил!.. А тут, хотя и в штатском, маршал бродит

с тарелочкой в руке. Про него не одна песня сложена, это и про него пелось: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет...» Да, из тех первых наших пяти маршалов, из которых только Буденный да он уцелели, а троих — Егорова, Тухачевского, Блюхера — низвергли, объявили врагами народа и расстреляли. Впрочем, и жертвы, прежде чем стать жертвами, были судьями. Блюхер судил своих товарищей, маршалов и командармов, и они стояли перед ним, опозоренные, и он в глаза им смотрел. А по завершении кровавых дел, рассказывают, был приглашен на обед к Сталину и, отобедавший, сел в поезд, который увозил его на отдых, на курорт, к морю, к солнцу. Там, в поезде, его и взяли.

Наверное, это сладко было, все зная наперед, обедать с обреченным, который предан отныне, готов служить, да только служба его, кровью связанного, уже не требуется.

Так это было или не так — дела не меняет, всего мы не узнаем никогда, но и того, что знаем, — довольно. Жертвы сами создавали и укрепляли машину, которая в дальнейшем перемалывала их. А он вот уцелел, седенький уже теперь старичок с подстриженными усами. Мы выросли под его портретами. Сохранилась фотография четвертого нашего класса седьмой воронежской школы, случайно сохранилась, потому что и от Воронежа-то после войны почти ничего не осталось, ее пересняли и прислали мне в подарок. Стриженные, сидим мы в три яруса — на полу, на стульях, на стене, — а передние прилегли, как разместил фотограф в стандартных позах, — и наши учителя на первом плане четко среди нас. А над сценой — два больших портрета: Сталин и Ворошилов с кожаной портупеей косо через грудь. «Клим Ворошилову письмо я написал; товарищ Ворошилов, народный комиссар, товарищ Ворошилов, когда начнется бой, пошли моего брата в отряд передовой...» Как для нас все было несомненно! Так ли несомненно было и для наших учителей, теперь оставшихся уже только на фотографиях, но переживших многих своих учеников? Мне отчего-то на отдалении лет всегда жаль их, они ведь и другую жизнь знали, из нее вышли, другие понятия были им ведомы.

И опять же рассказывают, когда арестовывали Ковтюха, героя гражданской войны, с которого Серафимович писал своего железного Кожуха: когда пришли его арестовывать, он будто бы позвонил Ворошилову, с которым был на «ты»: «Я их тут держу под дулом пистолета. Положить их?» Но тот заверил своего боевого товарища: не сомневайся, мы разберемся. Как же его потом били на допросах, Ковтюха,

как издевались над ним!.. Но и это, может быть, легенда: людям всегда хочется, чтобы трогательней выглядело, чем в жизни, легенды понятней, сами прилегают к сердцу. Но факт, уж это-то факт: за всю войну, за все те страшных четыре года, мы потеряли высшего командного состава меньше, чем расстреляно было перед войной, а он-то, Ворошилов, и был в самые кровавые годы нашим народным комиссаром, своей рукой визировал расстрельные списки. И сколько же безымянно полегло солдат на полях войны, пока учились воевать наши командиры, вырастали в маршалов.

Но вот и сам не понимаю, как это получается, а когда его толкали, пробегая, молодые, полные сил, устремленные в карьерные выси, когда он, как обиженное дитя, беспомощно оглядывался, ища глазами недоеденный пирожок, честное слово, прямо-таки жаль его становилось. А ведь уже знал я, как Берии он боялся, готов был с ним на все, как плакал, когда причислили его к антипартийной группировке, но потом все же решили сохранить: не ради него, а чтобы народ не разуверился.

Он прожил с тех пор еще четыре года, столько же, сколько длилась вся Отечественная война. И как-то под праздник возился я на огороде, что-то сажал, и тут пришло сказать: Ворошилов умер, но чтобы людям праздника не портить, не омрачать печальными известиями, тело сохраняют пока что в холодильнике, а сам факт смерти держится в строжайшей тайне. Но минул праздник и выяснилось: жив.

Умер он поздней и похоронен был с почетом, и долго еще города и улицы назывались его именем.



## НО ЖАЛЬ ТОГО ОГНЯ

Дважды меня исключали из партии. А вступал я в партию на Северо-Западном фронте в сорок втором году восемнадцати лет от роду, и было сказано по этому поводу: принимаем его прямо из пионеров. Через много лет после войны пошел анекдот: «Если убьют, прошу считать меня коммунистом, а нет – так нет...» Но в ту пору мы веровали, и не только по наущению комиссаров, которым был разверстан какой-то план, а от души нередко писали люди в окопе: «Прошу считать меня...» Так надевают перед боем чистую нательную рубашку, она уже останется на тебе, даже когда пройдут похоронные команды, снимая обмундирование с убитых, чтобы, отмытое от крови и подштопанное, оно вновь на ком-то пошло в бой. Потребность веры, радость самоотречения, готовность жертвовать собой – все это заложено в человеке, а немцы уже в ту пору стояли под Сталинградом, и коммунистов – это знал каждый – не брали в плен.

Везли нас из штаба на грузовике, мы тесно набились в кузов. Помню ветер встречный, машина скакала по выбоинам, за гулом мотора не слышен был полет снаряда, только вздымался разрыв то в поле, то впереди, а мы пели – орали, взбодренные близкой опасностью, причастившиеся.

Через три года полк наш возвращался из Австрии. Это был другой полк и другой фронт: Третий Украинский. Война кончилась, мы возвращались домой, в Россию. Знали, дома голодно, и везли с собой что могли: была мука, сало, бочка вина, спирт в канистрах для горючего – имущество взвода. И вот на одной из остановок – а мы подолгу стояли где-нибудь в поле, то на запасных путях, не на фронт идут эшелоны, с фронта, – подошел к нашей теплушке кто-то из офицеров:

– Слушай, у тебя, говорят, спирт есть?

– Есть.

– Бери, идем к нам.

Был я после болезни, врач полка определил воспаление легких. Определил правильно, а лечить все равно нечем. Правда, сестры, когда я выписывался из госпиталя в Днепропетровске, дали по дружбе мне в дорогу сульфидин, который в ту пору был на вес золота. Но в Венгрии поздней осенью сорок четвертого года, когда началось наше наступление и стояли мы с командиром второй батареи на наблюдательном пункте, смотрели, как после артподготовки по-

шли танки в атаку, пехота бежит за ними по грязи, по развороченному полю, спросил он меня, не отрывая бинокля от глаз: «Ребята говорят, ты сульфидин привез из госпиталя?» Мы ждали, не заговорят ли немецкие батареи, которые мы только что подавляли. «Привез» — «Дашь?» — «А что стряслось?» — «Да партизанка эта... югославская... Помнишь, в эшелон взяли? Наградила меня...» И бинокля от глаз не отрывает.

Партизанку я запомнил, видел, как она картинно просталась с матерью на перроне, потом впрыгнула к нам в эшелон. Были у нас на платформах пушки и тягачи, переделанные из американских легких танков, очень удобные на походе, крытые брезентом, а внутри — сиденья, как лавки широкие. Вот туда, под брезентовый кров, и взял ее комбат. Красивый был он парень, рослый, виски вьющиеся, кожа лица белая, нежная, раздражалась после бритья. Здесь же, на наблюдательном пункте, проще сказать — в окопе, который был нам обоям по грудь, отдал я ему сульфидин, но воспользоваться им не успел он: в тот же день убило его осколком снаряда.

И вот когда прихватило меня воспаление легких, вспомнил я тот сульфидин, не то чтоб пожалел, но вспомнил поневоле. А вымотало меня сильно, только что ветром не шатало. Но как отказаться, не пойти, если зовут? Дело мужское. В артиллерии не зря говорилось: артиллерист должен быть всегда чисто выбрит и слегка пьян.

Пошли. У них уже шумно. Двери теплушки откатили, солнце с поля светит яркое. А посреди вагона — стол красного дерева, ножки изогнутые, бронзовые лапы уперлись в пол дощатый, вагонный, дочерна истоптанный шипами лошадиных подков, сапогами, солдатскими ботинками. И такие все бравые сидят: гимнастерки, ордена, ремни. Мне, чтоб догонял, с ходу налили штрафную: толстого стекла граненый бокал грамм под триста. И опять нельзя себя уронить. Выпил, не дыша, запил водой. Если, не вдохнув, запить водою, спирт не обжигает, чуть только подсушит в горле. Не успел я еще заесть, колбасы сухой пожевать, идет, как на грех, дежурный по эшелону. Остановился на насыпи снаружи, погоны майорские на его плечах чуть выше пола вагонного, он их недавно получил, никак не налюбуется:

— Празднуете?.. Хор-рошее дело...

Дежурил наш командир дивизиона, мы его не любили. Не умен был, но властен, как водится, в таких случаях. И покрасоваться любил, сам роста малого, а выше всех себя нес.

– Выпиваете, значит... – И подержал, подержал всех под взглядом строгим, как под прицелом. – Кто мне догадается налить?

Налили. Чтоб не задерживался, компании не портил. А заодно и всем заново налили по кругу. У меня еще от первого бокала, как говорится, до бровей не дошло, а тут – второй следом. И больше я уже ничего не видел и не помнил.

А тем временем, как после я узнал, нагрянул командир полка полковник Камардин. Был он скор на расправу, на фронте ему многое прощалось за смелость, но война кончилась, а он и тут, недолго думая, решил кулаком убеждать. И видели из вагонов, как вслед за командиром полка бежал командир пятой батареи и стрелял из пистолета. Но нетвердая пьяная рука, а еще и дождь хлынул стеной. Это спасло командира полка и нас с ним вместе.

В дожде разведчик моего взвода, молодой могучий парень, прозванный Макарушкой, увел меня к нам в вагон. И спал я сном праведника, пока стучали, стучали под полом, подо мной колеса, а поезд мчался, оглашая окрестности. Проснулся – голова ясная: после чистого спирта голова не болит. Только сохлось все внутри. Выпил воды, и опять хорошо стало.

На остановке иду вдоль эшелона, мимо товарных, мимо штабного вагона. Командир полка завтракал как раз в своем окружении, окликает:

– Ну как, голова не болит?

– Никак нет, товарищ полковник!

И сам себе бравым кажусь. Мне и в его голосе почудилось одобрение, вроде бы и он залюбовался мною... Стукнет же такая дурь в голову.

– Ну-ну...

И шире рта его широкая улыбка растянулась плотоядная, а я и ее за поощрение принял, «поцеряет», как говорил наш старшина.

Завтракал он долго, не спешил: на дело собирался. А потом срочно всех нас призвали в штабной вагон, там уже и командование, и политотдел – трибунал в полном составе ждал нас.

– Ня надо нам таких членов партии! – определил повестку заседания Камардин и грохнул кулаком по столу подоковному. В прошлом – горняк, с грамотешкой у него было неважно, однако воевал, повторяю, хорошо. А поезд мчит нас, мчит на родину, стучат колеса на стыках, потряхивает всех вместе, и подсудимых и судей. Кто посмеет возразить командиру полка, когда выше него один лишь Господь Бог, да и того отменили.

У нашего комиссара дивизиона, верней сказать, замполита, — лицо честного пожилого путиловского рабочего, такими с детства привыкли мы видеть их на экране. И будто даже с тех самых предреволюционных пор копоть с лица не отмыта, оттого глаза светлые-светлые, чистые глаза под густыми темными бровями. А вот голоса его не помню, может, он за войну слова не сказал, только писал политдонесения про наше морально-политическое состояние: «Доношу до Вашего сведения...»

Когда в конце сорок второго года отменили на фронте комиссаров, к нам в училище прислали их переучиваться. Мы, артиллеристы, ходили в сапогах и с фронта в сапогах прибыли, но они почему-то были все из пехоты и — хоть лейтенанты, хоть старшие лейтенанты — все в ботинках с обмотками. Могло ли командование допустить, чтобы курсанты — в сапогах, а офицеры — в обмотках? Сняли с нас сапоги, отдали нам ихние ботинки, и стали мы километрами мотать обмотки. Можно себе представить, как мы сразу их полюбили.

Не знаю, что делали замполиты в пехоте, но в артиллерии надо было уметь грамотно стрелять. И вот пытаюсь вспомнить: хоть раз за войну видел я, чтобы замполит вел огонь, подавал команду батарее? Нет, не пришлось. Каждый из них, так сказать, обеспечивал наше морально-политическое состояние, или, как недавно писали в некрологе об одном в бозе почившем политработнике высокого ранга, «вел действенную политико-воспитательную работу с войнами, воодушевлял их на достижение победы над врагом».

Под стук колес вагонных наш комиссар с честным лицом экранного путиловского рабочего сидел и скорбно молчал. И, когда оставалось только проголосовать единодушно и тем судьбу нашу решить, осмелился вдруг тихий Моисеенко. Был он то ли парторг, то ли еще кто-то в этой иерархии, лет ему было за сорок, старик по нашим тогдашним понятиям. И чем-то был он не такой, как все, это сразу чувствовалось. Помню ясное свое впечатление: из уцелевших. А от чего уцелел, от какой грозы — не вдумывался. Наверное, это и было охранное состояние: не вдумываться. Незримый кто-то надзирал за твоей душой. Только в бою забывалось, а полностью освобождала одна лишь смерть.

Был у нас в училище комиссар, подполковник Видеман. И вдруг узнаем: воевал в Испании. Какая же мысль самая первая, чему удивились? В Испании воевал и не арестован... А ведь мы, школьниками, рвались туда воевать с фашистами. И мы же удивляемся: не арестован. Значит, сознавали

смутно, только мысль свою не отпускали на волю, так, наверное, и можно было поладить со своей совестью.

Говорили про Мойсеенко, что он женат, но с женой почему-то не расписан. И еще некие странности числились за ним. Когда нормой, чуть ли не доблестью считается быть, как все, проверенным, насквозь просвеченным, человек со своей, оберегаемой от чужих глаз жизнью, на других не похожий стряпел, любое подозрение к нему липнет. И вот он заступился за нас. И почему-то особенно — за меня.

А я однажды поиздевался над ним вволю, молодость жестока. Было это во время Яско-Кипшиневской операции, когда окруженные немецкие дивизии рвались из котла. И вот на пути такой сборной части — а они напролом шли, в том их спасение было — оказалась наша батарея. Комбата незадолго перед тем увезли в госпиталь, я оставался за него. Развернули мы орудия, снарядов, как всегда, мало. Поверху, по краю балки, залегли разведчики, связисты с автоматами, туда же и всех батарейных тыловиков погнал, они стекались к кухне, как вода в ложбину. И тут является вдруг Мойсеенко. Без оружия. Растерян. К нам под защиту.

— Где ваш пистолет, товарищ старший лейтенант?

По должности, по званию он — старший, я всего-то командир взвода. Но вблизи опасности звончей становишься.

— Где ваше оружие?

При всей батарее, подпираемый сочувствием, героически встал за его счет. Возможно, был он не самый умелый в бою, не очень приспособлен, он мог бы тихо умереть, не унижаясь. Но в двадцать лет я не способен был понимать это, другие качества ценились на фронте. И вот он заступился за нас, рассказал и про тот бой. Среди властных, украшенных орденами людей, привыкших на войне распорядиться многими жизнями, а уж одна чья-то жизнь и не в счет, он единственный нашел в себе смелость сказать слово в защиту: как же так, мол, провозвали всю войну, а теперь, после войны, исключать из жизни?

— Не надо нам таких! — в улыбке очерился Камардин, широкое его лицо стало красным, как сырое мясо, жаждал он смыть позор. — Мы их исключим, а заслужат, приемем опять...

В тамбуре мы постояли, покурили, колеса отстукивали версты. Какая-то разрядка требовалась душе. Выкинул я окурок да и прыгнул за ним следом на ходу, благо поезд не так уж и быстро шел, пробежал по инерции за вагоном, валясь назад для упора; когда наша теплушка поравнялась, бойцы за руки втащили меня.

Где-то в неведомых высших сферах – в политотделе бригады или даже в дивизии – дали нам всем по выговору, и уже в Болгарии (а везли нас, оказалось, в Болгарию, не домой) перед строем полка прочли, кому, за какие грехи и – сколько. И, когда меня вызвали из строя и я отчеканил два шага и стал, каюсь, гордым себя чувствовал: чести не замарал, дело мужское, можно и пострадать.

Второй раз исключали меня из партии после войны, в самую глухую пору: до смерти Сталина оставалось меньше двух лет. Своей вины власть никогда не прощает народу, а мы, спасая родину и власть сталинскую над нами, и его самого спасли. И вот за весь срам, за то, что в сорок первом году он всех на край гибели поставил, нашли теперь виноватых: из немецких лагерей прямым ходом в наши каторжные лагеря гнали пленных наших солдат домучивать до смерти – почему, мол, в плен сдался, почему не покончил с собой? Мало было им миллионов погибших, надо, чтоб и эти костями легли. И на полстраны пало клеймо: кто в окружении был, кто сам или родственники оставались на оккупированной территории – так вот и писали в анкетах – «территория», словно бы не своя родная, а завоеванная, чужая земля, и простиралась она до самой до Москвы, до Волги, – все, все отныне были под подозрением, как под прицелом. Врага разбили, он уже не угрожал, пришло время со своим народом расправляться по нашему обыкновению: бей своих, чтоб чужие боялись. И волнами покатила по стране разжигаемая ненависть: сживали со света генетиков, громили кибернетиков, боролись с низкопоклонством перед Западом, чтобы вовсе отгородить нас ото всего мира, били «космополитов». И тот, кто с фронта возвращался победителем, дома становился побежденным.

Есть анекдот того времени: сидят на кухне два брата, выпивают, один из них во время войны был партизаном, другой – полицаем. И спрашивает партизан бывшего полицая: «Отчего так все перевернулось? Ты в почете у властей, я – под подозрением». – «А ты что пишешь в анкете? – говорит полицай. – Ты пишешь: брат мой был полицай. А я чист, я пишу: мой брат – партизан...» И в нашем Литературном институте, куда я поступил после войны, любезными власти, любимыми ее сыновьями становились те, кто переждал войну вдали от фронта, те, у кого брат – партизан.

Когда вся мощь государства с его карающей десницей стоит за спиной раба, его подпирает, самый ничтожный раб распоряжается и жизнью твоей и смертью. И последним убе-

жищем становится – не замечать, не верить, не сознавать. Прошла борьба с «безродными космополитами», она на лице моем горела, оставляла меня за чертой, а я все еще поверить не мог, что мы четыре года воевали с фашизмом, а он нас дома ждал. Но терпишь-терпишь, когда-то и прорвется. И прорвалось: не самого главного в этой кампании, но очень уж гаденького, бездарного критика с нашего курса, Бушина, у которого должность была – пару поддавать, теоретически обосновывать, я публично назвал фашистом; не зря назвал. Он еще и тем был мне противен, что на войне ошивался где-то при штабе армии, числился комсоргом; на фронте говорили: там не война, а мать родна. И точно в духе времени настроил он тут же заявление в партком: «В моем лице оскорбили бывшего комсорга...» Мол, сам я – ничто, но – «в моем лице...» И дело завертелось.

Поначалу нашлось у меня много заступников: «Правильно назвал, мы, если потребуется, выйдем, скажем...» И только полковник Львов-Иванов, тогдашний заведующий военной кафедрой института, советовал умудренно: «Ты покайся». – «Не в чем мне каяться». Но он чистосердечно хотел помочь мне: «А ты все равно покайся...»

Рассказывали, что во времена гражданской войны командовал он партизанским соединением в Сибири, чуть ли даже не дивизией целой, и будто бы партизаны его дрались «как львы». В память об этом он к своей фамилии «Иванов» присовокупил еще и «Львов». В институте его любили, а когда на собрании он брал слово, все оживлялись. Говорил он так: «Это было, когда мы боролись с этими... канцепа... канцепа... канцепалитами! Я еще тогда слова этого не знал!» Он и правда многого не знал и не узнал, не липла к нему зараза. Вот он от души советовал мне покаяться. А мои доброжелатели, будущие «творцы», молчали, потупясь, когда меня распинали.

Но был еще друг. Четыре года просидели мы рядом в аудитории. И в институт – вместе, из института – вместе. А сколько выпито вместе, и думалось, и говорилось по душам. Он – парторг курса, по заведенному порядку он должен был написать мне характеристику. Он сказал, каменя лицом: «Характеристику я тебе дать не могу». И я не обиделся, вот это через много лет было для меня самым удивительным. Я даже виноватым себя почувствовал, словно пытался утянуть его за собой, а тонуть надо одному, молча. А может, правда, гонимые не обидчивы?

У казни этой не было даже фронтовой непосредственности: «Ня надо нам!..» Все делалось со сладострастием, со

словоблудием, и так, чтоб не тебя одного, а всех придавить страхом, сделать соучастниками, разъединить и замарать. Но по необъяснимым для меня причинам опять где-то в высших сферах исключение из партии заменили мне строгим выговором. Однако на работу после института не брали никуда. Я выписал адреса что-то около пятидесяти редакций, половину обошел, и тут встречаю на улице моего однокашника, ныне уже покойного Бориса Бедного. Мог ли я в ту пору предполагать, что нам еще суждено будет жить в одном доме, в соседних подъездах, и однажды в поздних сумерках увижу я из окна, как вынесли на носилках кого-то укрытого с головой простынею, высоко вздымался под простыней живот, носилки вдвинули в задние распахнутые дверцы микроавтобуса, темного, под цвет хаки, дверцы захлопнулись, автобус выехал со двора... Оказалось — и только часом позже об этом узнал я, — умер Борис Бедный, внезапно, от сердечной недостаточности, нашли его около двери с зажатым валидолом в руке: по-видимому, хотел позвать кого-то на помощь, да не успел. А тогда он шел радостный по улице Горького, пыхал папироской. «Неужели ты не понимаешь, — сказал он, — что тебя нигде на работу не возьмут?» Я понимал, дозрел уже, но мне интересно было видеть лица людей, которые сначала приветствовали меня, давали анкету, потом, прочтя, отказывали. Мучительное занятие, а — интересно.

Стояли мы с ним как раз напротив пельменной, и он предложил: «Пойдем лучше пельменей поедим». И мы пошли. Вкусные были пельмени, с уксусом, только голодному они так вкусны. Он тоже не работал, и тоже ему негде жить, но у него уже повесть напечатали, он на ноги встал. А на втором или на третьем курсе института, когда развернулась очередная эпопея, сажали лесополосы в степи и Сталин-отец наклонился над картой родины на плакате: «И засуху победим!», послали нас троих — Тендрякова, Бедного и меня — в заволжские степи писать о готовящемся свершении. Возглавил бригаду старый журналист Аграновский, отец Валерия и Анатолия Аграновских. Мы действительно написали книгу очерков, ее срочно сдавали в печать, но вдруг что-то застопорилось, редактор вызвал Бедного, а я пошел с ним. Редактор, если мерить мерками войны, был призывного возраста, однако не воевал. Он долго в молчании шелестел бумагами на столе, будто что-то отыскивая в них, а вопрос Бедному задал внезапно: «Вы, оказывается, были в плену? А ведь не полагалось сдаваться в плен...» Спросил ласково, вкрадчиво, со сладостью в голосе. И больно было



видеть, как товарищ мой сник виновато и покорно. Нам поставили условие: книгу выпускают срочно, а вот очерка Бедного в ней не должно быть. Для каждого из нас в ту пору книга эта была событием, и жаль нам было своих трудов, но мы отказались. Так она и не вышла.

Поели мы с Борисом Бедным пельменей с уксусом, и на этом мои колебания кончились, больше я по редакциям не ходил. И — к лучшему: сидел, писал, как-то перебивался, снимал углы. Однажды повезло: в четырехкомнатной квартире, где жила семья, в прошлом — обеспеченная, но впадшая в нужду, удалось снять так называемую «комнату для домработницы», как раз помещались в ней столик, стул и топчан.

А жизнь шла к рубежной черте. Последним делом жизни Сталина явилось дело врачей. Слово бы наперегонки со своей смертью, кто успеет раньше, она или он, торопился совершить он последнее злодейство. Начать — начал, завершить не успел, а планы были обширные.

В этой снятой мною комнате услышал я по радио утром рано: Сталин умер. Я был один, в квартире еще спали, я стоял и плакал. Жена моя, будущая моя жена, с которой тогда я и знаком не был, а поживи он еще, и не встретился бы с нею, вот она, единственная из учителей их школы, когда их всех собрали в актовом зале, и плач стоял и стенания, и друг перед другом рыдали, она стояла с сухими глазами, и даже ее ученицы волчатами смотрели на нее. А я плакал в то утро. О нем? Нет. Я уже избавился от иллюзий. Но что-то рухнуло и в моей жизни. Или нервы сдали, долго они были напряжены.

В третий раз исключить меня из партии не пришлось, вышел сам: через сорок девять лет после того, как впервые на Северо-Западном фронте ощутил себя причастившимся. Было это в январе, когда танки, посланные комитетчиками, штурмовали телецентр в Вильнюсе: прообраз грядущего путча. И хотя ничто уже не связывало меня с партией, все равно труден был этот шаг, трудно от себя самого отступить. Притча об Иове — это и про меня притча. Какие только испытания не насылал на Иова Господь Бог — и дом рухнул, погребя десять его детей, и слуг перебили, и стада разграбили, — а он оставался стоек в своей вере... Вот и я с такой страстью и верой боролся за свое порабощение, с какой бороться надо только за свободу.

Есть вечные строки: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть! Но жаль того огня...» Да, жаль того огня.

## В ОЖИДАНИИ МИЛОСТЕЙ

Ждали приезда Гришина. В те не столь дальние времена Гришин в Москве был человек всевластный: первый секретарь городского комитета партии, член Политбюро, словом – Первый. Уже население Москвы подступало к девяти миллионам человек, жили здесь и люди, чьи имена войдут в историю народа, но Гришин был – Первый. И так это говорилось на аппаратном языке, так мыслилось. Был свой Первый в Ленинграде, и в каждом городе и селе – Первый. И слово Первого – закон.

Стоят сейчас на площади Тургенева в Москве какие-то вроде бы недостроенные здания, затевалось что-то большое, а потом, как рассказывал мне архитектор, еще в макете показали их Гришину: благорасположения искали, погордиться ли хотели – Бог весть. Тот прицелился взглядом – высоки. И, будто на его кровные строились, усек наполовину мановением пальца. Такие, усеченные, они и стоят на одной из главных площадей Москвы.

И вот в Театре на Таганке разнесся слух: такого-то числа, в среду, Гришин посетит спектакль «Пристегните ремни!». Все переполошилось. Директор театра Дупак, в обязанности которого входило знать и предвидеть, уверял, что члены Политбюро имеют обыкновение посещать театры по средам, и непременно вставлял в программу наш спектакль на среду. Каких уж милостей он ждал, сказать не могу, но человек он был решительный, служил в кавалерии во время войны и в кинофильмах о войне играл эпизодические роли командующих. Пытался я ему втолковать, что ничего хорошего из такого посещения не выйдет, довольно и того, что народ ломится. В Театр на Таганке вообще было не попасть, за билетами записывались с ночи, а уж на премьеру съезжались известнейшие, влиятельные люди, ну и, разумеется, торговые работники в немалом числе. Это было престижно, этим в какой-то степени измерялось положение в обществе: зван на премьеру или не зван. И бывало интересно наблюдать, как в фойе перед началом прогуливаются гости, словно бы соизмеряясь ростом.

Пьеса же «Пристегните ремни!» шла с большим шумом, на нее со временем стали привозить иностранные делегации: вот, мол, какое у нас свободомыслие. Что и как переводили им – судить не берусь.

Между прочим, достиг этот шум ушей Шелеста, бывше-

го Первого человека Украины, к тому времени – пенсионера, то есть, по нашим меркам, канувшего в небытие. При Сталине в отношении «бывших» решалось фундаментально и просто, если канул, так уж канул без следа: «Бубнов Андрей Сергеевич... 1 августа 1938 г. военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу, и в тот же день расстрелян... Рыков Алексей Иванович... 13 марта 1938 г. приговорен к расстрелу, расстрелян 15 марта этого же года...» И все, кто знал и близок был, и соприкасался, и соприкасался с теми, кто соприкасался, – всех, всех заодно уж... Вот так усадили ныне в инфекционное отделение на Соколиной горе всех пассажиров огромного самолета, и экипаж, и тех, кто успел с ними как-то соприкоснуться: один пассажир заразился в Индии холерой, замели всех. Только ни холера, ни чума не уносила и в средние века столько, сколько у нас унесено.

Это уж Хрущев, возможно, и свою судьбу провидя, завел мягкие порядки: соратников не казнить, а со всеми удобствами отправлять на пенсию. Они вскоре и отправили его, а потом друг друга начали ссаживать с кресел, и вот бывший Первый Украины, как все бывшие, обрел местожительство в Москве, а не среди благодетельствованного им народа, который в праздники, ликуя, нес над собой многочисленные его портреты, омоложенные лет эдак на пятнадцать, полагая простодушно, что на себя нынешнего даже и ему смотреть не захочется. И живой Шелест, в шляпе, в окружении сподвижников, жестом руки приветствовал свои портреты и колонны трудящихся. Все это было, а теперь бывшим стал он и захотел на досуге посмотреть наш спектакль. Он не помнил, разумеется, что подобно тому, как Гришин движением пальца усек здания, он тоже чуть было не запретил фильм по моему сценарию. Сам он фильма не видел, но кто-то что-то напелтал ему в ухо, он тут же приставил к уху трубку правительственного телефона в Киеве, а зазвонило в Москве.

Тогда, как говорилось, правила династия Романовых: один Романов сидел в Ленинграде, другой возглавлял цензуру, а третий Романов удобно расположился в кресле председателя комитета по кинематографии, и всем троим кресла были велики. Вот у кинематографического Романова и раздался телефонный звонок. А он уже имел неосторожность похвалить фильм и даже торжественно пригласил к себе в кабинет режиссера и меня, и был принесен чай (ему одному!), и он, отвалившись в кресле, со вкусом прихлебывая из стакана в серебряном подстаканнике, поздравлял, делился

умозаключениями, я даже подумал, грешным делом, нет ли чего стыдного в фильме, если он так хвалит. Но раздался звонок из Киева, и все произошло, как в известной частушке: «Я любил тебя, Маланья, до партийного собрания, как открылись прения, изменилось мнение». И вот от недавно еще грозного Шелеста звонят, просят билетик на спектакль.

Я стоял в фойе, издали смотрел, как в общей толчее он проходит в зал, приметной была его круглая, наголо бритая голова с большими губами и складкой на шее, под затылком. Но в дверях по-деловому поспешающий заместитель министра культуры Воронков оттеснил его, проще сказать, локтем отодвинул и прошел сам, не извинившись, не оглянувшись даже. Чиновный человек и Шелеста не заметил!

Был Воронков из комсомольской рати, а комсомол, как известно, готовил кадры не только для партии, но и для Комитета государственной безопасности. И поместили Воронкова в Союз писателей на должность секретаря по оргвопросам, все звонки и распоряжения «сверху» шли через него, на всем требовалась его виза. Мог ли он при такой должности писателем не сделаться? Автор нашелся, он — соавтор, и оба они стали лауреатами премии Ленинского комсомола, откуда Воронков и был родом.

Однако, как говорится, и на старуху бывает проруха. В самый разгар его успешной деятельности поехал в Англию Анатолий Кузнецов, ныне покойный, да и исчез там из гостиницы, попросил политического убежища. Рассказывали, готовился он задолго, намеревался чуть ли не под водой пересечь границу, а потом уж, из турецких вод... Но в конце концов выбрал путь самый проверенный: еду, мол, собирать материалы о Ленине. Ради такого благого дела Воронков лично походатайствовал за него. А уж когда случилось и посыпались выговора на всех причастных и не причастных, только Воронков, он единственный почему-то никак не пострадал. И отнюдь не будучи пророком, я сказал тогда: этого ему не простят, пострадавшие не простят. И, действительно, вскоре пересел он в кресло замминистра культуры, что по незримой табели о рангах означало понижение. Как же было ему не стараться в новой должности своей! И он-таки успел запретить в Театре на Таганке спектакль «Живой» по повести Бориса Можаева и проделал это мастерски.

Был год страшной засухи и пожаров, дымом горящих торфяников заволочло Москву. И вот в эту жару и сушь свезли в театр председателей колхозов, прибыли работники Министерства сельского хозяйства. Все первые ряды блестящие Золотыми Звездами Героев Социалистического труда, ду-

хота в зале стояла страшная, а актеры... Знали, что запрещать съехались, видели, как хмуρο глядят на них из зала, а играли вдохновенно. Когда же, отыграв, удалились, чтобы из-за кулис послушать, вот тут и начался главный спектакль. Один за другим по списку выходили к микрофону председатели колхозов, и, обливаясь потом от жары, каждый будто передовую газету читал, все слова оттуда: очернение, искажение колхозной действительности... Но еще и с личной обидой, с гневом: в пьесе тоже выходил на трибуну председатель, багровел весь и требовал запретить «враз и навсегда». И вот их свезли принимать спектакль. А тем временем их Москвы, в ихние подмосковные колхозы гнали поливальные машины, чтобы хоть на огородах что-то из урочая спасти. Постановщиком всего этого спектакля был Воронков. Вот он и оттолкнул в дверях бывшего Шелеста, не узнал его.

И теперь, через эти двери, в этот зал, впервые со времени основания театра, почетным гостем должен был пожаловать Виктор Васильевич Гришин. Уже в час дня явились товарищи в штатском, осмотрели помещение, обследовали все ходы и выходы, все проверили. А жизнь в театре шла своим чередом. Обычно в четыре, в начале пятого буфетчица начинала готовить бутерброды. Приносили рыбу, тогда это была еще и белуга горячего копчения, и осетр, но чаще уже — кета, горбуша. Острым ножом взрезали ее, снимали шкуру, отделяли нежное мясо, чтобы, нарезав тоненько, разложить по бутербродам. Этого часа ждал рабочий сцены, который обычно помогал буфетчице подтаскивать тяжести: ждал своей доли. Он уносил шкуру — на ней что-то неминуемо оставалось, а иногда — и голову рыбы, хорошая закуска под пиво, одного запаха могло хватить.

Постепенно сходились актеры, ненадолго разъехавшиеся после утренней репетиции. К шести часам, к восемнадцати ноль-ноль, в театре были все. Я пришел в половине седьмого. В кабинете Любимова, стены которого — в автографах знаменитых людей, дежурили у телефона два товарища в штатском, чем-то похожие друг на друга. Я поздоровался, назвавшись, они скромно не назвали себя. Потом понадобилось мне позвонить, и я разговаривал по телефону под их бдительным надзором.

Из окон кабинета видна была Таганская площадь, пустая, будто вымершая: ни машин, ни троллейбусов, ни пешеходов — голый асфальт, движение перекрыто, одни лишь чины милиции с полосатыми жезлами прогуливаются посреди. И вот примерно так без четверти семь что-то радио-

волны донесли, все на площади вздрогнуло, напряглось, вытянулось, и, как из-за горизонта в степи, возник черный ЗИЛ, черная машина сопровождения следом. Они развернулись по широкой дуге, совершили круг почета, поворачивая за собою головы милиционеров, и стали перед служебным входом. А там, внизу, хозяева – Любимов, Дупак – уже встречали почетных гостей. Я встречать не пошел; ощущая за спиной двух не назвавших себя товарищей в штатском, наблюдал сверху, из окна: как распахнулись дверцы машин, как просияли улыбки, и все общество – в центре Гришин с женой – двинулось от машин к служебному входу, в пространство, которое сверху уже не просматривалось.

В фойе тем временем прогуливался ничего не подозревавший народ, и буфет, как всегда, был полон: театральный буфет для людей, пришедших на спектакль, – это уже начало праздника. В кабинете тоже для гостей было приготовлено – чай, минеральная вода, бутерброды, – для видимости приготовлено: высокие гости непроверенного есть-пить не станут.

После узнал я случайно, что в этот самый день Андрей Дмитриевич Сахаров тоже хотел попасть на спектакль, но сочли это неуместным, присутствие опального академика могло омрачить впечатление. Знали бы, что жизнь приготовила...

По служебной лестнице, не очень, надо сказать, удобной, поднялись в кабинет, здесь некоторое время разговаривали почему-то стоя и тихими голосами, особую благостность и тишину распространял вокруг себя высокий гость. А за дверьми ощущалось незримое присутствие сопровождающих. Возможно, из-за того, что они там находились неотлучно, все дальнейшее и произошло.

Без пяти минут семь вспыхнула красная лампочка над дверью кабинета: первый звонок.

– Может быть, не будем заставлять народ ждать нас? – сказал Гришин.

– За нами придут, – заверил Дупак. Он как раз показывал гостям на ватмане, на специально внесенном планшете, будущее здание театра, заранее благодарил за заботу, и это воспринималось с благосклонностью. А то, что ранее тот же Гришин чуть было не закрыл театр и Любимов уже сидел у него в приемной, ждал, когда его вызовут исключать из партии, готовился, не провидя своей дальнейшей судьбы, – так ведь кто старое помянет, тому глаз вон. Ну, а встречать благодарностями, преподносить любое дело как личную заслугу высокого гостя, это был установившийся ритуал, даже

школьники знали частушку: «На дворе утихла вьюга, прилетели два грача, это – личная заслуга Леонида Ильича».

Вновь вспыхнула и длительно замигала красная лампочка над дверью: семь часов, третий звонок дан. И снова Дупак заверил: за нами придут. Однако не шли. Пять минут восьмого... Как-то неуютно стало. Двинулись сами.

В буфете, через который надо было пройти, – пусто, небранная посуда на столах. Пуста и безлюдна широкая лестница вниз, а там, внизу – ни души, двери в зал закрыты, спектакль начался. Только у ближних к сцене дверей толпятся актеры, сейчас им входить. Кто-то кинулся задержать их, а я, приотстав, вижу, слышу, как по широкой, пустой лестнице с тихим благостным разговором спускаются вниз гости, с ними – онемевшие от предстоящего позора хозяева, а внизу отпихивают актеров от дверей, как раз под ироничным портретом Брехта, он словно понимает, что сейчас произойдет.

Надо сказать, что сцена в том спектакле представляла собой салон самолета, проход посредине – это черта между прошлым и днем нынешним, между тем, что было с людьми и что с ними стало. И все в этом салоне было натуральное, и кресла натуральные, и когда под рев турбин закладывался вираж, один ряд кресел опускался, другой подымался, сцена как бы накренилась. И стюардесса объявляла по радио то же, что объявляют в полете. Правда, когда на самый первый показ спектакля пригласили строителей и авиаторов, строители одобрили все, кроме строительных проблем, и авиаторы похвалили спектакль, но стюардессу не одобрили: она, мол, говорит совсем не то и не так... Не знали они, что на пленку записан голос победительницы конкурса стюардесс.

Загружалась сцена в два приема. Сначала из задних дверей шумно пробегали через зал актеры в солдатском обмундировании: плащ-палатки, каски, шинели... Это – солдаты сорок первого года, те, кого уж нет; они рассаживались по одну сторону прохода, в полутьму. А затем с почетом входила из ближних дверей комиссия, направляющаяся этим рейсом на стройку, учинять разгром. Прожектор ловил ее и от дверей вел до самых кресел, где белые салфетки на подголовниках, где стюардессы сразу же начинали персонально порхать над ними. Вот эту комиссию, этих актеров срочно отпихивали от дверей, чтобы пропустить вперед высокого гостя, сами не понимали с перепугу, что делают. И Виктор Васильевич Гришин вместе с женой вступил в зал во главе комиссии, как бы возглавив ее. А прожектор осветил их и повел, и повел...

Сначала никто ничего не понял, потом смешок раздался, потом — смех. В театре этом — на беду — и ложи не было, чтобы, скрывшись в глубине, только белые руки выложить на бархат барьера. При всеобщем, как говорится, оживлении зала, ведомые прожектором, сели они на два пустовавших места, где ждали по бокам местоблюстители, да сзади, за спиной — двое ли, трое соответствующих товарищей.

После в театре говорили, что все это произошло не случайно, кто-то хотел подвести Любимова и специально так подстроил, даже какое-то расследование учиняли собственными силами. Но я думаю, было проще: слишком уж страху нагнали. Шутка сказать, с часу дня явились товарищи в штатском, движение на площади перекрыто, у телефона дежурят... Когда страх, люди глупеют непредсказуемо.

Имел я случай наблюдать после войны, в Болгарии, в чудном городе Пазарджик, где мы тогда стояли, нечто подобное. Прознало наше командование, что едет с проверкой из армейских верхов, из Софии генерал. И будто бы генерал этот любит цветы, чтобы повсюду, куда ни проследует он, цветы стояли. В казармах, как известно, никаких цветов не положено. Но раз любит... Приказано было офицерам нашего полка сдать по столько-то левов, навезли цветов видимо-невидимо, повсюду расставили их в горшках. А генерал этот, как оказалось, цветов не любил и превыше всего чтит устав. Садясь в машину приказал кратко: «Разминировать!» То-то смеху было, как эти цветы потом не знали куда деть. Но что тот генерал в сравнении!..

И вот сидим мы в кабинете Любимова наверху (сам-то Юрий Петрович в зале), слушаем спектакль по трансляции. Конечно, так не встречают гостей, не ставят в ложное положение, что уж говорить. Но мысль у нас у всех, кто здесь собрался, не об этом, мысль одна: уйдет со спектакля Гришин или не уйдет? Пьеса, как нарочно, без антракта, два с лишним часа надо высидеть при всеобщем любопытстве. И хоть бы без жены это произошло, жены, особенно руководящие, весьма чувствительны. Но, с другой стороны, встать, выйти на виду всего зала, так завтра же по Москве разнесется, все будут говорить.

А так трудно проходила эта пьеса, столько было многообразных комиссий. Специально для спектакля Владимир Высоцкий написал песню «Шар Земной», и когда он шел с гитарой через сцену, через зал и пел: «...Поначалу мы Землю вертели назад, было дело сначала, но обратно ее раскрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала...» у меня — мороз по щекам. Слова, музыка, голос его, сам он! Но в



комиссии подбирают людей нечувствительных, ничего на их лицах не мелькнет, ни мысль, ни чувство. Встанут, поблагодарят и направятся к выходу, надевая пальто в гардеробе: им дано задание поприсутствовать и доложить. И мнения своего не высказывать. Не люди, живые микрофоны на ножках. Но микрофон хоть воспроизводит с точностью, а они натренированы предугадать мнение начальства. И нередко от них начальство и узнавало свое мнение.

Один раз я все же не выдержал. В комиссии был отставной полковник бронетанковых войск, он тоже вот так направился к выходу, ни слова не уронив. И тогда я громко, на все пустое фойе – вслед ему: «Товарищ полковник! Вы – фронтовик! Вы и на фронте были такой застенчивый?» И что-то в нем дрогнуло: повернулся, пошел не в гардероб, а в кабинет Любимова по той широкой лестнице вверх. Комиссия – за ним. Но что они говорили, чтоб ничего не сказать, так лучше б и не оставались.

А последний раз принимали спектакль под самый Новый год, 31 декабря, когда в квартирах елки наряжают, когда все к празднику готовятся, и людям надо бы не ожесточаться, а простить друг другу грехи года минувшего, да и вступить в Новый год с душой, очистившейся от озлобления, расположенной к добру.

Руководил тогда культурой в Москве, заведовал ею в Моссовете некто Покаржевский. И вот туда, к нему, в главк призвали нас с Любимовым. Мы – двое, а с той стороны видимо-невидимо бойцов и все – испытанные. Заместителем Покаржевского был Шкодин, известный тем, что однажды, во время такого обсуждения, кто-то из выступавших разволновался и сказал ненароком: «Вот тут товарищ Поскудин говорит...»

В свое время закончил Шкодин то ли факультет, то ли курсы театральных режиссеров, и надо же было так случиться, что прислали его на стажировку именно к Любимову. Тот попробовал его, поглядел: «Не надо вам этим заниматься, режиссер из вас не получится, вам это не дано». И стал Шкодин руководить искусством в точном соответствии с принципом: кто может – делает, кто не способен – учит. Вот он-то вместе с Покаржевским и решал судьбу спектакля.

Во время обсуждения Любимову стало плохо. Объявили перерыв. В приемной, где все же не так накурено, сидел он в кресле под распахнутой форточкой, дышал. Если б хоть зима легла настоящая, из форточки морозный бы пар осаживался, дышалось бы легче, а то – слякоть за окном, ма-

шины сплошным потоком идут по Неглинной, жидкий снег расплескивают. Пощупал я у него пульс: то частый, то выпадает. Принесли стакан воды, первое наше российское лечение. Тут Шкодин вышел из кабинета, глянул, воткнул сигарету в рот, закурил. Стоит и дымит.

Когда вновь началось обсуждение, я предупредил: если Шкодину дадут слово, я выйду. Ему, разумеется, слово дали. Я вышел. Потом послали за мной: надо же продолжать. Вернулся. Опять он встает, начинает говорить. Я опять вышел...

И после всего, что вытерпели, когда спектакль наконец пошел, надо же такому случиться! А по трансляции слышно, идет лихо, весело, может, потому, что многие реплики словно бы обрели в зале адресата. И каждый раз, как там раздастся смех, администратор хватается за голову: «Закроют!..» А мне какое-то чувство говорит: нет. Ведь это получится вот что: пришел, увидел, запретил... Лучше делать не своими руками, не оставлять зримых следов, так у нас принято.

И ободряет еще одно соображение, которое по прежним временам должно бы напугать: некая уругвайская газета, переврав и название и содержание, заявила сенсационно, что идет в Москве, в Театре на Таганке антисоветская пьеса. Уругвай от нас далеко, можно бы и не внять, хотя мы традиционно чувствительны к тому, что скажет или подумает о нас самый зашудалый иностранец. И вот в Москве председатель ВЦСПС, глава наших профсоюзов, школы коммунизма, и все еще — член Политбюро, которое тогда называлось Президиумом, Шелепин повторил то же: мол, сам он не видел, но ему докладывают...

Прозванный «Железным Шуриком», Шелепин хотя еще и занимал столь высокие и как бы выборные посты, на самом деле доживал последние дни на политической арене, звезда его катилась к закату, и все, кому положено знать, знали: он есть, но его как бы и нет, он уже — бывший.

Мир мал, и в этом постоянно убеждаешься. Шелепин — из Воронежа, земляк мой, и даже его младший брат учился в одном классе с моим двоюродным братом Юрой Зелкиным, который на войне стал лейтенантом-пехотинцем и погиб в том бессмысленном, по сталинской воле начатом наступлении на Харьков летом сорок второго года, оно-то и открыло немцам ворота на Сталинград.

Шелепин же благополучно учился в Москве, готовил себя к деяниям великим, и уже в студенческие годы (как раз зашел разговор в общежитии, кто, мол, кем хотел бы стать?) заявил твердо: хочу быть членом ЦК и им стану. И стал. А

помогла ему в этом, чего она знать не могла, Зоя Космодемьянская: то ли комсомольский билет он ей вручал, то ли напутствовал, когда ее и других таких же девочек отправляли на подвиг и на смерть мученическую.

В длинной офицерской шинели, в звании капитана, нужный родине в тылу, а не на фронте, Шелепин шел за гробом Зои Космодемьянской, сопровождал в последний путь героиню, как бы им воспитанную, есть эта кинохроника, я ее видел. Вот с того он и пошел, и пошел вверх сначала по комсомольской, потом по партийной линии, и все выше, выше, а в пятьдесят восьмом году уже занял пост председателя КГБ. Сдав его потом Семичастному, тоже комсомольскому секретарю, под ним выросшему, участвовал в удалении Хрущева на пенсию, после чего и зашептали, и заговорили, а по «голосам» — так вовсе уверенно, что Брежнев — фигура временная, скоро власть переймет Шелепин, «Железный Шурик», он-то и наведет порядок.

Но в чем в чем, а в аппаратных играх Леонид Ильич простаком не был и возможных своих соперников распыливал умело. Случайно или не случайно был «Железный Шурик» послан с миссией в Англию, там встретили его и проводили с таким позором, что быстрый закат его стал неминуем.

Не берусь решать, прикидывал ли это все в тот момент Гришин или нет, но единение с Шелепиным даже по самому незначительному поводу (запрещение какой-то пьесы, у нас это вообще ни за что не считалось!) славы ему не прибавило бы.

Когда спектакль окончился, я увидел совершенно потертанного человека. Поднялись в кабинет Любимова, шли молча, будто на собственные похороны. Мы думали — сразу уедет. Не уехал. Вошли. Стоим. Пауза.

— Так что же, мне теперь в свою машину не садиться? — спросил он голосом тихим и как бы даже болезненным.

Но тут необходимо пояснение, иначе смысла этих слов и всей глубины обиды не понять. Пьеса заканчивается тем, что на обратном пути в столицу самолет едва не потерпел аварию и сел где-то во глубине России. И вот, не вполне еще осознав случившееся, в некоем потрясении председатель комиссии привычно распоряжается: «Значит так: за мной машина прибудет. За вами — тоже. А вы тогда возьмите с собой в машину...»

И только когда шепнули ему, что они не в Москве, за всеми должен прийти автобус, он вдруг умнеет: «А? Тогда на общих основаниях. На общих основаниях...»

Вот к этому и относились с тихой обидой сказанные слова: «Так что же, мне теперь в свою машину не садиться?» И все услышали бурное дыхание супруги. Да что вы, как можно так понять, совсем не то имелось в виду, — дружно заверили его, — садитесь, садитесь... Ох!..

Около получаса длился тихий разговор и опять же почему-то — стоя. И я старался слушать, момент серьезный, судьба спектакля решалась, но что-то мне мешало вслушаться. Вот как если у человека один глаз живой, свой, другой — стеклянный, и понимаешь — невежливо, нехорошо, а все тебя притягивает в этот мертвый глаз смотреть. И в лице Гришина что-то притягивало меня, какое-то несоответствие. Не сразу я понял — что. Вроде бы и подбородок не тяжелый, но вот эта часть, это расстояние от низа подбородка до носа, проще сказать, жевательная часть была просторней, больше лба. Не того лба, что образовался за счет лысины да жиденьких зачесанных волос, отступающих все дальше, а лба, где что-то наморщивается, когда возникает мысль. И тянуло меня смотреть, как вверх-вниз двигается эта жевательная часть, а слова воспринимал не все, не полностью, что-то, возможно, и пропустил против собственной воли.

Вот я написал это, а человек подойдет к зеркалу, соизмерит и уличит меня, но я же не с линейкой стоял, я говорю о зрительном впечатлении, которое в рассеянность меня ввело и не дает теперь с точностью воспроизвести все сказанное дословно.

— Вот пехота у вас... Теплые слова сказаны про пехоту. Это хорошо: теплые слова. А почему не про летчиков? Летчики — героическое племя. Я в войну с летчиками был, — сказал он скромно, и глаза полуприкрыл веками.

Я, правда, знал, что в войну Виктор Васильевич Грипин, как бы это поаккуратней выразиться, не в полной мере «с летчиками был». С 41-го года он — на партийной работе: секретарь, второй секретарь, первый секретарь Серпуховского горкома партии, потом выше, выше подымался, до Москвы дошел. И так же, как Шелепин, — а может, это и не совсем уж случайное совпадение биографий — во время войны был нужен родине в тылу, а потом, на каком-то витке своей карьеры, тоже занял пост председателя ВЦСПС — школы, как было уже сказано, коммунизма. И всего-то у него образования, если не считать партшколы, — Московский техникум паровозного хозяйства. Но мы стоим, слушаем Первого человека Москвы.

Имел я перед самой войной вовсе небольшой, четвертый разряд слесаря-лекальщика. Так я и сейчас, лучше ли, хуже,

но все же напильник могу держать в руках. Был я во время войны солдатом, командиром взвода управления, задача моя была – корректировать огонь батареи. Так я и сейчас смог бы вывести снаряд на цель, хотя и нет уж тех орудий и, слава Богу, не надо мне этого делать. Или ту же строевую команду подать: «Бат-тар-рея!..» Почти полвека минуло, а приведишь – раскатится по всему строю, и это со мной до гробовой доски не столь уж дальней. Но росли у меня дети, и, если заболели, я не кидался лечить их, за врачом шел. И чужим детям не давал медицинских советов.

Все же когда о пехоте речь зашла (а слова там из моей повести взяты, самые обычные слова про то, что значило быть пехотинцем на войне, но почему-то десять редакторских рук пытались это вычеркивать уже не раз), я попытался возразить, хотя опыт жизни учил, кивай, а делай по-своему:

– Летчики, конечно, героическое племя, но народу-то больше всего было в пехоте. И погибало там бессчетно...

Вот тут раздалось:

– Народ и партия во время войны были едины!

Это не он сам, это – супруга за его спиной. И все услышали бурное дыхание. Едины-то едины, это правильно, а все же и тогда один в окопах мерз, а другой по службе рос.

Потом они уехали. И движение на площади восстановилось: троллейбусы пошли, машины хлынули сплошным потоком. А мы сидели в кабинете Любимова: опять что-то надо было решать. И пришла простая мысль: бутербродам зачем пропадать? Гости побрезговали, но нам они вполне годятся, не беда, что заветрились, подсохли маленько. Нашлось и к закуске. И просветлело перед глазами, вспоминалось уже со смехом, как директор на среду вставлял спектакль, все на среду – в ожидании милостей. Вот и дождались.

## НЕУЖЕЛИ – ОПЯТЬ?

В очередной раз летал над планетой наш космический экипаж, газеты печатали праздничные фотографии: Никита Сергеевич Хрущев, отдыхающий на юге, разговаривает с космонавтами по белому телефону. И Микояну передал трубку, поговорить. Был заранее известен весь дальнейший ритуал: постелят красную ковровую дорожку, и от трапа самолета, держа под козырек, пойдут по ней спустившиеся на землю космонавты докладывать: задание правительства выполнено. Их уже ждут Золотые звезды Героев. И отдохнувший, загорелый Хрущев по-отечески будет стоять с ними на трибуне Мавзолея, а внизу – народное ликование. Но взлетели-то они при нем, а возвращаться предстояло при Брежневе, с ним и славу делить и почет.

Еще летали они (по слухам, даже дольше запланированного промотались в космосе из-за всего, что происходило на земле), когда позвонил мне утром давний мой приятель Лазарь Лазарь Ильич, в прошлом – командир роты под Сталинградом, откуда вернулся он инвалидом войны:

– Можешь зайти ко мне сейчас?

Время раннее, самое рабочее, зря звонить он бы не стал. Но с чего вдруг? И как сердце оборвалось: Хрущева свергли. К тому шло, хотя ясно этого еще не сознавали. Жизнь все парадней и парадней становилась с фасада и все тревожней внутри. Уже Хрущев кулаком стучал на встрече с деятелями искусства, уже сказаны были им где-то слова, что во всем он, мол, ленинец, но в отношении искусства – сталинец. И я чувствовал: приоткрывшаяся нешироко дверь вот-вот захлопнется и торопился, дописывая роман мой «Июль 41 года». А когда принес его в «Новый мир» и там прочли, Твардовский сказал:

– Выньте главы про тридцать седьмой год, иначе напечатать не сможем.

– Как же я выну, когда без тридцать седьмого года не было бы всей трагедии сорок первого? Из жизни этого не выкинешь.

«Новый мир» уже теснили со всех сторон, можно было их понять и не обижаться, но я обиделся и даже вернул отработанный аванс, полторы тысячи рублей, очень нужных моей семье в ту пору. И отнес роман в «Знамя», где в свое время искалечили первую мою повесть: податься было некуда. Рассчитал я просто: что Твардовскому не разрешат,

вполне могли разрешить здесь. И угадал. Неужели радоваться поспешил?

Я спросил у Лазарева:

– У тебя что-то случилось?

– У меня – нет.

– Тогда я еще часок посижу.

Но какая уж тут работа... А за окном – осень золотая, октябрь, листья пожухлые сгребают во дворе в кучи, малыши, как мы когда-то, зарываются в них, и уже над одной-двумя кучами дымок вьется горьковатый, даже на седьмом этаже ощутим. И сами собой мысли приходят, что вот как мир хорош, а жизнь наша – нескладная. Сколько люди на свете живут, всякий раз, как настает время что-то терять, делают для себя это изумительное открытие.

А все же малая надежда оставалась, когда я шел к Лазареву, но вошел, и ее не стало. Посидели мы с ним, прикидывая, что и как теперь будет, но думай не думай, от нас ровным счетом ничего не зависит. И тут пришло мне время идти на радио, читать главу из романа.

В многоэтажном здании на улице Качалова стражи в милицейской форме, как обычно, проверяли пропуска у входа, все выглядело незыблемым. А может – слухи?

Вышел ко мне заведующий редакцией Падалка. Ни в одной комнате не приткнуться, и мы сели в прокуренном коридоре за круглый обеденный стол, вынесенный сюда неизвестно откуда: он, я, еще кто-то, еще кто-то. У нас любят одно дело делать впятером, все стали срочно делиться своими так называемыми творческими соображениями, а мне и грустно, и интересно на них смотреть, я-то уже знаю, что Хрущев снят, а они живут в мире минувшем.

Вдруг из ближней комнаты высунулся, огляделся и манит к себе Падалку некий испуганный молодой человек:

– Можно вас на минуточку?

Падалка нахмурился, сработал в нем защитный механизм:

– Ну что там у вас?

А тот, хотя уже от двери отделился, продолжает подмакивать:

– Сказать вам надо...

Но Падалка почуял опасность, не давал себя заманить:

– Говорите, говорите.

– Да это вам лично.

– А вы – при всех, – и отчуждался все более. – Какие могут быть секреты?

Юноша решил:

— Только что звонили из «Правды», говорят, Хрущев снят. Позвоните, узнайте...

Настала тишина. Полнейшая. А по коридору — мимо, мимо — бегают люди с бумажками, огибают круглый стол изящными телодвижениями, многие в этом узком коридоре оббили об него бока.

— Куда я буду звонить? — обрел Падалка дар речи. И — накаляясь: — О чем это я буду спрашивать?

И правда, куда звонить, что спросить? Поставим себя на его место.

Но тут меня позвали в аппаратную. Примерно полчаса длилась запись, а когда я вышел из-за этих мощных дверей, сквозь которые ни один посторонний звук не проникает, вышел в другой мир, где все все уже знали. И несколько человек, сойдясь, возбужденно говорили в сплошном сигаретном дыму. Я понимал, о чем они говорят, подошел. Они взволнованно говорили о том, что по, слухам, Барабаш, заместитель редактора «Литературной газеты», перемещается выше, в отдел культуры ЦК. Всего-то полчаса прошло, а уже пережито главное событие, и умы занимает Барабаш... Мне даже жаль стало Никиту Сергеевича, мог ли он себе такое представить?

Вышел я на улицу — все как всегда. И лица у людей обычные, никакой тревоги не ощущается. Может, не знают еще? И повлекли меня мои ноги туда, где лежала моя книга: новые времена наступают, прежние обязательства не в счет. Если при Хрущеве она так трудно проходила, на что же теперь надеяться?

Есть старый-старый анекдот, как в Харькове ли, в Киеве остановился селянин, читает вывешенную газету: «От жмуть, от жмуты!» Милиционер тут как тут: «Кто тэбэ жмэ, кто?» — «Та чоботы». — «Яки чоботы, ты ж — босый». — «Ото ж и босый, шо жмуть...» Вот так и я враз оказался босым. А уже радовался: как на меня ни давили в редакции, ни от чего не отступился. Лучшая редакторша под личным надзором Бориса Леонтьевича Сучкова редактировала мой роман. Не сразу я догадался, почему именно ей поручили: брат ее, знаменитый командарм, был расстрелян в сороковом году. Вот она и пыталась изъять все главы про тридцать седьмой год:

— Поверьте, уж я бы не стала ни в коем случае. Мой брат, как вы знаете... Но то, что у вас в этой главе, это — гиньоль!

Я не спорил, я набирался опыта жизни.

— Так вы же ничего не сделали! — поражалась она, когда



в назначенный день я приходил к ней с невыполненным уроком:

– Я так сразу не могу... Сообразить надо... Я вообще медленно пишу.

А когда добрались мы до конца, я разложил перед ней все, что она предлагала вырезать именем своего расстрелянного брата:

– И не стыдно вам?

Она была хорошая женщина и, действительно, хороший редактор, но начальство и жизнь требовали от нее. Возможно, я не имел права поступать так жестоко, да только как же иначе было мне защищать мою книгу?

И вот я шел заново узнавать ее судьбу. Мысленно я уже со своей книгой простился. Стыдно признаваться в этом, но я шел и только что не плакал в душе, так она мне дорога была в этот момент. Два с половиной года писал я, и бывали редкостные счастливые дни, когда что-то похожее на озарение сниходило. Но отрезать надо сразу, не томить душу пустыми надеждами. Когда человеку терять нечего, у него ничего и не выманишь.

В общем-то шел я посмотреть, как те самые люди, которые поздравляли меня, будут теперь отступаться от всего сказанного, дело обычное, слово у нас ни к чему не обязывает, а все же любопытно всякий раз. И вот иду я мимо памятника Тимирязеву, что столбом стоит у Никитских ворот, как всегда на плечах, на голове его – белые потоки голубиного помета, а тут еще, помню, голубь на затылке сидел, клюв во все стороны поворачивал, и вижу у газетного стенда – Василий Васильевич Катинев, ответственный секретарь «Знамени», стоит. Меня так и потянуло к нему: вот сейчас увижу самую первую реакцию. И он заметил меня, жестом приглашает повозмущаться газетной статьей, «Советский спорт» там был вывешен:

– Вот пожалуйста! Мы что, раньше не знали, что спортивно надо хорошо содержать? До сих пор боялись признавать очевидное. И еще хотим рекорды ставить!

Э-э, думаю, да ты еще в неведении пребываешь. И осмелел совсем не ко времени.

И всю дорогу, пока мы шли с ним – а хорош все-таки Тверской бульвар осенью, хорошо идти под его липами, наверное, только тогда и оценишь, когда на душе плохо, – всю дорогу произносил он смелые речи про то, как дела в спорте поставлены у нас и у них. А я думал, на него глядя: что завтра ты скажешь, узнав. Отец его, насколько я знал, был репрессирован, и всю жизнь ощущал он это выжженное на нем тавро.

Дня через два Борис Леонтьевич Сучков, первый замес-

титель главного редактора, сказал мне голосом печальным, подняв глаза в некоей задумчивости, а взгляд его был светел:

— Знаете, композиционно для романа будет даже лучше, если мы главы о тридцать седьмом годе, ну, там, где у вас все эти аресты... перенесем во вторую половину, в следующем номере напечатаем. А первую сдадим чистой. Поверьте моему опыту, так — намного стройней.

— Нет, Борис Леонтьевич, по-моему, вы опережаете события, сами еще не знаете, что требовать.

— Почему мы не знаем? — как бы даже обиделся он. — Мы знаем.

И жестом руки непроизвольно указал на газету «Юманите», она как раз лежала у него слева на столе. И вот этот жест объяснил мне многое: значит, не поступало еще твердых указаний «сверху», иначе бы не на «Юманите» указала рука, а на телефон.

— Нет, Борис Леонтьевич, ничего переносить не надо. Не удержавшись на голове, на хвосте не удержишься.

— Ну, как хотите...

И взгляд его светлых, чуть выпуклых глаз похолодел. Он был человек образованный и умный, но мудрости жизнь учит немногих.

Как-то сказал он мне: «Вы т а м, — и указал на потолок, — никогда не будете с в о и м. А я т а м — с в о й». Это была правда, он рано стал своим, путь перед ним открывался широкий. А потом в издательстве, где он был директором, вламывали паркет, Сучкову дали двадцать пять лет сроку, определив его шпионом уж не знаю какой страны, и следом за ним, за проволоку за колючую пошло немало людей. При Хрущеве он был выпущен и снова начал расти как голодный человек — наедаться не в меру. Мог ли я требовать, чтобы ради меня он чем-то рисковал? Но как быстро включается этот механизм, всю страну объявший, где каждому определено место, как патронам в пулеметной ленте.

А с другой стороны посмотреть — ведь это всегда было. Кто славил победителей, кто памятники им высекал, бессмертные создания, пережившие века и тысячелетия? Победенные, покоренные, рабы. Они-то и становились самыми верными слугами.

Опять я брел по Тверскому бульвару, только в этот раз в сторону Никитских ворот, потом свернул на улицу Герцена и оттого, что не знал, куда себя деть, забрел в Дом литераторов. И первым попался мне навстречу Олег Васильевич Волков, дворянин, с прекрасной бородой, приятно грассирую-

щий. Наверное, не одного меня в этот день спрашивал он вот так:

– Как вы думаете, неужели опять начнут сажать?

А в ресторане – как раз мы остановились при входе – было накурено, шумно: эпохи сменяются, а здесь все так же сидят.

– Нет, – сказал я уверенно, – не начнут. Этого не будет.

Разумеется, ни в чем я не был уверен, но я видел его лицо. Этот человек не десять, не семнадцать, а все двадцать семь лет провел в лагерях и ссылках. И маленькой показалась мне моя беда по сравнению с его тревогой, так надо бы сказать. Но нет, своя беда, мала не мала, она – своя. Я не знал тогда, что книга моя все же будет напечатана, еще не захлопнулась дверь, а потом целых четырнадцать лет находится ей под запретом. Но вот это его вопрошающее «неужели – опять?» не раз мне вспоминалось. Целые поколения под этим выросли и живут, и у самых легковверных нет-нет да и шевельнется в душе: «Неужели – опять?»

## ПАРТИЯ ВЫМАГАЕТ З НАС

В тот день зачем-то поехал я в Союз писателей, может быть, так просто. И в троллейбусе, а это еще будет иметь значение, встретил секретаря парткома В. Вместе вышли, перешли улицу Герцена, в дверях, как водится, произошла гоголевская сцена: поуступали друг другу право первым войти. Крупный мужчина цветущего вида, мог ли он думать, что жить ему осталось недолго? А случилось с ним вскоре вот что: на собрании его не выбрали в президиум. Ну и что? — скажете вы. Как что? Секретаря парткома не выбрали в президиум, где его законное место! Тот, кто знает весь механизм изнутри — а он-то знал, — может себе представить, что произошло: вышестоящие товарищи не вставили его в список. Или, что еще страшней, вычеркнули. И уже кто-то, наверное, присмотрен на эту должность, а ему возвращаться в первобытное состояние, стать просто писателем...

Вот представьте: снимает он трубку телефона у себя в кабинете (в этот момент секретарша никого не пустит к нему: занят!), звонит в издательство или в редакцию журнала и посреди ничего не значащего разговора — «Я тут одну вещьчку закончил... Не берусь даже определить жанр. Само вылилось. Так рука легла...» А там, хоть и представляют, что могло вылиться, знают его руку, тем не менее — радостно приветствуют. И в служебном конверте доставляется курьером, и сразу — в набор.

И вместо этого, удобного, привычного, самому со своей рукописью просителем являться в редакцию, а там еще и злорадствовать начнут: «Это — бывший секретарь парткома, тот, которого поперли... А за что, кстати говоря, поперли? Числится что-то за ним?» Бывший... Это ведь вот что значило: в плане издательства «Художественная литература» стоял однотомник одного из секретарей Московской писательской организации, было уже известно, под каким номером, когда намереваются выпустить, и вдруг секретаря переизбирают; и под тем же номером, в том самом утвержденном плане появляется однотомник, но уже не его, а нового секретаря; сменился человек в кресле, заменили и книгу в плане.

Так что дороже, возможно, спросите вы: пребывание в должности или жизнь? А если пребывание в должности и есть жизнь? Не берусь утверждать, так ли, не так думал В., когда узнал, что не избран в президиум, но он вернулся

домой, и его разбил паралич. В дальнейшем, когда я писал роман «Друзья», историю гибели Немировского, вспоминалось мне все происшедшее с В., жизнь его и смерть. Но в тот день был он еще здоровый, цветущий, мы поговорили любезно ни о чем, и к обеду я вернулся домой.

Обедали, как обычно, на кухне. И только поставила передо мной жена тарелку, помнится, кислых щей, горячих, с плиты, — звонок телефона. Звонит Ильин, секретарь по организационным вопросам, так эта должность называлась. Со времен Горького, к которому комиссаром был приставлен Щербаков, со дня первого съезда Союза, то есть с той поры, когда вслед за коллективизацией крестьян была проведена коллективизация писателей, учредили этот пост, и занимал его по традиции либо партийный функционер, либо работник КГБ. Впрочем, почему либо — либо? Чаще это совмещалось в одном лице. Ильин в прошлом, до ареста, был генерал-лейтенант КГБ.

— Слушай, приезжай сейчас в партком.

И голос дружеский, и «ты» доверительное, в нем как бы дух партийного товарищества. Но я только что там был, с В. разговаривал, что за это время могло стрястись?

— Созывают...

Сказано уже официально, строго, как говорят магическое «есть мнение». А я терпеть не могу безличных предложений. Чье мнение? Не твоего, дескать, ума дело. Достаточно и того, что оно есть. И, уверенный, что со мной все решено, Ильин вдруг спрашивает:

— А где Слуцкий? Не знаешь, где Слуцкого найти?

Никакой беды я не ждал, ничего не подозревал и не предчувствовал, но меня вдруг как током пронзило. Созывают... Созывали однажды. Под конец жизни Сталина, когда готовилось выселение евреев в бараки, уже сколоченные в тайге, как до этого выселяли другие народы, рассчитав, что не меньше половины до места не доедет, по дороге в теплушках перемрут, вот тогда созывали именитых интеллигентов подписать соответствующее воззвание. Приглашали по одному, первый подписал его Каганович, а Эренбург будто бы отказался... Не могу сказать, что в тот момент мне это вспомнилось, нет, но в каждом из нас что-то отложилось, оно и остерегает: один глаз спит, другой бодрствует. Я почувствовал: затевается что-то грязное. И уже голос Ильина по-другому услышался: это был сознательно умягченный голос ловца душ. И он уверен: свистнул, и я приеду, прибегу, буду исполнять — солдат партии.

Положил я трубку телефона и с таким сожалением по-

смотрел на тарелку щей, к которым уже было всей душой расположился. Да что щи! На меня всем теплом обжитого нашего дома повеяло, будто пришло время и его лишиться, вот она и сюда, в самое заветное, вторглась, черная сила.

Пересказав разговор жене, я позвонил в Ленинград на киностудию «Ленфильм», где в ту пору Иосиф Ефимович Хейфиц снимал фильм по нашему с ним общему сценарию, попросил забронировать номер в гостинице и поехал на вокзал за билетом. Ильин вскоре позвонил вновь: где я? Выехал. Потом звонки стали чаще, истеричней, с угрозами.

А жили мы с ним в одном доме, он — в третьем подъезде, я — в первом. По утрам за ним прибывала черная машина Союза писателей. Пожилой, с крашенными тоже в черный цвет волосами, шофер открывал багажник, нес в подъезд ящик боржома. Разумеется, не каждый день по ящичку, бывало, связку книг несет. Из подъезда выходил с хозяйской собакой на поводке и в садике, где играют дети в песочнице, выгуливал ее по получасу и более, пока она обнюхивала деревья, выбирая по запаху свое, перед которым и задирала лапу. Машина тем временем на виду всех окон ждала, так, видимо, утверждалась незыблемость бытия.

В бытность свою действующим генерал-лейтенантом КГБ Ильин имел определенное касательство к печатному слову, к искусству, вернее — к деятелям искусства, не берусь сказать, какое. Отсидев, как говорят в таких случаях, «свои» семь лет, выпущенный при Хрущеве, восстановленный в правах, но не в прежней своей службе, он был определен на должность в Союз писателей: здесь, как в отстойнике, много пребывало на должностях надежных товарищей, и тех, кто засветился за границей, и тех, кто вышел в тираж. Все они сохраняли боевую готовность и корпоративный дух: кадры, резерв всемогущей организации, объяввшей страну, пронизавшей ее насквозь.

Как Ильин сам рассказывал, он был арестован за то, что предупредил товарища, над которым нависла угроза ареста: случайно узнал и предупредил. Но не исключены и другие варианты, может, просто пришел его черед, настала пора очередной смены караула, Сталин проделывал это регулярно, в таких вещах он знал толк. Чтобы править единолично, всевластно, требовалось периодически менять сподвижников, не давать им обрастать зависимыми от них, верными людьми. И ничье имя не должно было осеняться беспримерной славой.

Кончилась война, и Жуков был отброшен, создана была вокруг него пустота: одного за другим пересажали его окру-

жение — от рядового до маршала. Поразительно, но даже сам Жуков верил, что это дело рук Берии, что Сталин чуть ли не спас его, не дал арестовать. Но тогда еще безумным Сталин не был. Жестокий, лукавый, кровавый, но не безумный. Своих ближайших подручных — Молотова, Кагановича — всех он под конец жизни готовился сменить, придавить прокуренным ногтем, как с ними вместе давил других. Не успел, смерть помешала. Но что, кроме кровавых дел, за этими его подручными числилось, за каждым из них? Да ничего, в сущности, если отбросить пропагандистский грим. Исполнители высшего ранга. Калинин, умильный всесоюзный наш староста с козлиной бородкой, олицетворявший союз рабочих и крестьян, поскольку сам был вроде бы из тверских крестьян, но сколько-то и на заводе поработать успел, это усиленно подчеркивалось. А фамилия уж куда народной, прямо с куста калины снята. Вот он и подписал указ — казнить двенадцатилетних детей за колоски, которые они с голоду подбирали в поле. Молотов твердолобый, прозванный каменной задницей. Оба они отдали своих жен в залог, в лагеря. А Каганович и этих превзошел: двух братьев, старшего и младшего, отдал на расстрел в знак высшей преданности. Заложив душу дьяволу, они и свои жизни заложили.

Но за Жуковым была вся Отечественная война. И — Победа. Этого уже не отнять, не отделить от него в сознании народном, как нераздельны Отечественная война 12-го года и Кутузов. Не понимать этого Сталин не мог, другое дело — умалить значение Жукова, принизить, присвоить его славу, как присвоил он себе все победы в гражданской войне. Но жизнь маршала Жукова уже история хранила. А какой-то генерал-лейтенант КГБ... Таких и в расчет не брали. Для обычных советских граждан он — Божий суд, а тут — ничто. Потребуется — другому его звезды навесят, рядового топтуна произведут в генералы. И производили.

Однако Ильин был по-своему интересный человек, с определенным пониманием долга, порядочности, работать умел четко: совершенное, отшлифованное создание системы и времени. Выпущенный на свободу при Хрущеве, он относился к Хрущеву пренебрежительно, Сталина же боготворил, и фотография, где Сталин — в группе людей, а молодой Ильин на заднем плане проглядывает, эта фотография висела у него в кабинете на почетном месте. А как, бывало, во время собраний, пленумов входил он на сцену, осуществляя живую связь. Роста выше среднего, с хорошей выправкой, он принижался, сознательно умалял себя во имя Службы,

шел только что не на дыпочках, помахивая ладонями, как ластами. У микрофона, в президиуме — Наровчатов, в прошлом неплохой поэт и фронтовик, но уже разъевшийся. И вот к его оттопыренному толстой щекой уху преклоняет Ильин седую голову, показывая лысину всему залу (что — зал, зал для него не существовал), докладывает сокровенное и уходит, нацеленный, помахивая ладонями.

До того как нам поселиться в одном доме, я месяцев семь работал в Союзе писателей ответственным секретарем секции прозы, так называлась эта должность. Помещались мы в бывшей масонской ложе, в старинном особняке. Внизу, в Дубовом зале, — ресторан, над ним — служебные помещения. После работы я оставался там писать. Из ресторана подымались наверх запахи ресторанные и — писатели от столиков: позвонить по телефону. «Вы здесь работаете? Нет, я бы не смог...» И севши ягодицей на край стола, накручивая диск телефона, рассказывает, как важен для работы привычный ритм, привычный вид перед глазами... А я жду терпеливо, мне в ту пору жить было негде, я за жильё работал.

Весь мой штат — машинистка, пожилая курящая дама, Софья Михайловна, милый, интеллигентный человек «из бывших», тайная страсть ее — игра в карты. Вполне понятно, она подрабатывала. Ильин предупредил меня: я должен следить за тем, что у нее в машинке. Я сказал ему сразу: этого делать я никогда не буду. Узнала ли Софья Михайловна про наш разговор, или так поняла, но отношения у нас с ней установились самые доверительные.

Позднее одна из секретарш, вышедшая замуж за польского писателя (для многих девочек, приходивших сюда работать, да и старившихся, это было и мечтой, и надеждой: выйти замуж за писателя, — ей удалось), рассказывала мне в Варшаве, как Ильин вербовал ее в органы, не ее одну вербовал. Вменялось ли это ему в обязанность, или повелевал инстинкт размножения таким внеполовым путем, но при всех обстоятельствах возглавлять тех, кто дал подписку, наверное, привычней и удобней.

Вот он и вызывал меня «срочно» по телефону. И можно было просчитать, как это все происходило: раздалась команда «сверху», из ЦК спущен список, и он выдергивает по списку одного за другим. Отлаженный, привычный механизм, сколько судеб завершилось телефонным звонком...

Вечером я вышел из подъезда. Метро, Ленинградский вокзал, а там, на перроне, уже стоит состав «Красная стрела. У меня был билет в международный вагон. Тогда еще



ходили один или два таких старинных международных вагона с бронзовыми бра, начищенными бронзовыми ручками купе, а в купе – красное бархатное кресло, дверь в умывальную – одна умывальная на два купе, – там и побриться, и умыться, а при желании можно и душ принять, и все это – за государственный счет: в таких вагонах, как правило, ездили высокопоставленные командированные. Неслышно трогался поезд, словно это не он пошел, а перрон за окном сдвинулся со всеми провожающими на нем и отъезжает, отъезжает в глубину вокзала. А в буфете уже открыта большая жестянка черной икры, и вот идет по вагону официантка с подносом: коньяк армянский, бутерброды с икрой, холодные свиные отбивные.

Как-то за коньячком, которым я его угостил, старый-старый проводник, совершавший уже последние свои рейсы, рассказал мне, как в те самые годы – 37-й, 38-й, 39-й – входил, случалось, к нему в вагон человек с небольшим чемоданчиком, он уже в лицо его знал и знал, что произойдет. Где-нибудь в Бологом или ранее человек этот выходил среди ночи, а в купе обнаруживали утром пассажира, умершего от разрыва сердца. Правда это или нет – утверждать не берусь, но и не такое бывало, да и врать ему вроде бы ни к чему.

Уже в Ленинграде, в гостинице, увидел я по телевизору, во что вовлекали меня, какая роль мне предназначалась. Транслировали пресс-конференцию, группа, как их потом прозвали, «дрессированных евреев» клеймила тех, кто от всех оскорблений решился уехать в Израиль; доказывали, что антисемитизма у нас было и нет, всенародно покрывали себя позором. И это были именитые люди, до той поры вроде бы не запятнанные. Дважды Герой Советского Союза, герой Отечественной войны генерал-полковник Драгунский. Как уживался в одном сердце герой и раб? Или мужество война и мужество гражданина – два разных мужества? В дальнейшем Драгунский возглавит так называемый антисионистский комитет, и как-то начальник политуправления пограничных войск, входивших в систему КГБ, приведет туда делегацию писателей и точно по Фрейду, представляя Драгунского, скажет: «Председатель антисемитского комитета...»

Так вот – Драгунский. Еще – Дымшиц, заместитель Председателя Совета Министров. Ну, этому по должности положено, хлеб свой надо отрабатывать. Там ведь не только выступление по телевидению, напечатали потом еще и обращение в газете. И Дымшиц организовывал это, по одному вызывал к себе: ставить подпись. Известный режиссер, ныне

здравствующий, сказал: не могу подписать. Почему? Тут напечатано – Народный артист СССР, а я пока еще – Народный РСФСР. Будете, будете!.. И – подписал. Но Бог с ним. А вот Райкин, Райкин! Один из самых знаменитых актеров, ему же потом перед людьми на сцену выходить. У него было лицо трупа на экране, но он сидел там, участвовал. Что заставило его лгать принародно, чем приманили? Много их там было, не хочется всех называть. Да я уже и не помню.

А в это время дома у меня, в день той самой пресс-конференции, раздался ранний телефонный звонок:

– Это – Мелентьев.

Жена рассказывала потом: голос ласковый, прямо-таки родственный голос.

– Кто? – не поняла она.

Еще ласковее:

– Мелентьев.

– Не понимаю, кто говорит?

Мог ли человек такого ранга, заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС, поверить, что его не знают, да еще в доме писателя, да еще писательская жена? Настоящие писательские жены лучше секретарш знают, на ком какие блага растут, от кого что зависит. Ему стоит трубку снять, слово промямлить, и набор моей книги рассыпят или задержат издание на несколько лет. Но жена моя действительно не знала никого из официальных лиц, ни одной фамилии. И не хотела знать. Довольно невежливо она переспросила:

– Не понимаю, кто говорит?

– Мелентьев! – сказал он грозно. И было спрошено, где я нахожусь, и приказано: когда объявлюсь, сразу же звонить ему, в ЦК.

Мы договорились с женой заранее: домой звонить я не буду, неровен час, прослушивается аппарат. Ей сообщат, не называя меня, номер телефона, и если что, она позвонит мне, но не из дома. И она ходила на переговорный пункт, высиживала очередь, звонила мне.

Выждав несколько дней (спешить мне было ни к чему!), я позвонил Мелентьеву. Но не из автомата гостиничного, а заказав телефонный разговор с Москвой, чтобы секретарша доложила: звонят из Ленинграда. Был ли у него «народ» в кабинете, или он один сидел там в кресле, не знаю. В номере ленинградской гостиницы я лежал на кровати, и мы разговаривали.

– Что же вы в такое время уехали? Такое напряженное время, а вы...

– Да вот это и беда, что весна ранняя, натура уходящая, все зимние сцены не отсняты, – разыгрывал я дурачка.

– Вы телевизор смотрите? – спрашивает он строго; похоже, все же «народ» был в кабинете. – Газеты читаете?

– С этими съемками не то что телевизор смотреть, забудешь, как тебя зовут. С утра до ночи...

А на душе пакостно. Есть мелкое удовлетворение: он там в галстук, при всем параде, внизу – охрана, а я лежу себе... Но это ведь не трубку телефонную держу я в руке, а конец поводка, другой конец у него на руку намотан. Но почему вообще я должен скрываться? Война? Враг вторгся? Так от врага я не бегал.

Был у нас на фронте командир дивизиона... Впрочем, на командиров дивизиона нам как-то особенно везло: что Яценко, что Гулин, оба не гении, но о себе заботиться ума хватало. Гулин только тем и отличался, что ростом был поменьше да брови подбривал. И вот в Венгрии приказывает он мне добраться к командиру роты (и это – днем, местность открытая, бой идет) и оттуда ракетой указать свое местонахождение. Он по себе меряет: мол, засяду где-нибудь на полдороге, в пехоту не пойду, буду пережидать. Но какой же дурак станет в бою указывать ракетой свое местонахождение? Или командир роты позволит мне показать немцам, где он сидит? Они, в пехоте, и радиий-то наших боялись, станешь передавать команду – «Отключи свою шарманку к такой-то матери!..» Уверены были: сейчас немцы «засекут» радию и ввалят из минометов. Добрались мы до командира роты, где ползком, где перебежками, доложили, и тут же приказал я больше на связь не выходить. Сюда Гулин не полезет, а мало ли какая дурь ему в голову взбредет. Нужно будет вести огонь, включусь.

Так что же, на войне, на фронте я свободней себя чувствовал? Выходит – так. Я был в ту пору – сам по себе. Отец и мать умерли, детей у меня еще не было, а своя голова, хоть она и не лишняя, но – своя. Когда же дети есть, человек более всего уязвимый; свободен только тот, кому некого любить и у кого нечего отнять.

– Вы когда возвращаетесь? – спросил Мелентьев, заканчивая разговор.

– Мы еще в Киев поедem, там съемки. – И аппаратное словечко с языка скатилось: – Затрудняюсь сказать.

Начальство всегда затрудняется, вот и я затруднился.

– Когда вернетесь, попрошу зайти ко мне.

И я зашел. Офицер госбезопасности за своей конторкой при входе сличил меня с фотографией, громко произнес

фамилию; солдат в такой же фуражке, за такой же конторкой, но по другую сторону прохода, нашел в ячейке выписанный пропуск, все это вручили мне, и я прошел.

Такого количества ондатровых шапок, столько серых каракулевых генеральских папах, генеральских шинелей голубоватого сукна, вернее драпа, не встречал я ни в одном гардеробе. А вот академику Сахарову Андрею Дмитриевичу подал я однажды в гардеробе, но не в этом, а в соседнем, еще более значительном подъезде, серую его курточку (приглашал нас на беседу тогдашний член политбюро Медведев, удостоил, и беседовал с нами, не снимая темных очков), так вот помог я надеть в рукава легкую эту, не пуховую, а на чем-то вроде поролона курточку, воротник ее затертый вижу до сих пор. И вижу, как потом стояли мы в темноте на улице, ожидая чью-то машину. Была поздняя осень, когда холод переносится трудней, чем зимой, а он боялся холода, единственное, чего он боялся в жизни, стоял, сгорбившись, в продуваемых на ветру брюках, прямо чувствовалось, как в них зябнут его худые ноги. Но это было позже, много позже.

А тогда разделся я в гардеробе, повесил свое пальто в почетном обществе, и – коридоры, коридоры, ковровые дорожки, тишина особенная, можно сказать, священная тишина: коридоры власти. По ту и по другую сторону – массивные двери, фамилии на дверях, одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, какая прополка шла по стране, какой из десятилетия в десятилетие отбор совершался.

Секретарша, заранее предуведомленная, доложила, из кабинета, заканчивая разговор: «А я и не знал, что Быстрицкая – еврейка...» – «Но как Аксинью сыграла в "Тихом Доне"!...» – вышли два работника ЦК. Белые воротнички, галстуки, походка, манера держаться, да и костюмы одинакового покроя. А может, от одинаковой кормежки они такие друг на друга похожие?

И вот сидим: Мелентьев – за массивным столом, я – перед ним за столиком. Путь его в этот кабинет мне более или менее известен. Два мощных потока партработников вливались всегда в Москву: с промышленного Урала, из Свердловска и из Ставрополя, куда ездило на отдых высшее руководство и где его соответственно обхаживали. Сейчас никому ничего не говорит фамилия Кириленко, вспомнить нечем. Маленького роста, с бульдожьим лицом, человек этот начал партийную карьеру в 38-м году, когда по стране шел великий отстрел кадров, дорос до должности первого секретаря Свердловского обкома, был переведен в Москву, куда и

потянул за собой своих людей, Мелентьев был в их числе. Пройдет время, и, отодвинутый другими карьеристами, удаленный на пенсию, впавший после инсульта в слабоумие, Кириленко еще долго будет по утрам собираться «на работу», экипироваться – костюм, вычищенные ботинки, галстук – и совершать в полном параде марш до дверей своей квартиры... Но в то время, о котором я рассказываю, Кириленко был на вершине власти, весь государственный гранит, вся эта мощная пирамида – под ним: член политбюро, третье по значимости лицо в партии. А Мелентьев – в его фарватере, распространился даже слух, что он – зять Кириленко. Впрочем, и про Ермаша, тоже привезенного из Свердловска, говорили, что он – зять Кириленко. Ни один из них этого не опровергал. Но была ли дочка? Во всяком случае, если не зятем, если не правой рукой Кириленко, то уж указательным пальцем его руки Мелентьев был, а стоит этим пальцем погрозить, чтобы слабонервного ввести в трепет.

– Вы свою форму участия продумайте, – сказал он. – Свое отношение вам надо высказать.

Я молчал. Продумывал. Значительный разговор в значительном месте и вестись должен значительно. Склонить себя я все равно не дам, но хотелось, ох, хотелось уйти с наименьшими потерями. Да и силу всей этой огромной машины я уже не раз ощущал на себе. Как-то на 4-м съезде писателей, когда Солженицын попросил дать ему слово, с письмом обратился в президиум, и было ясно, что слова ему не дадут, мы с Тендряковым поехали на его машине собирать подписи в поддержку. Встретили Александра Яшина. «Нет, – сказал он, – не обижайтесь, ребята. Не подпишу». Его громили, просто-таки изничтожали за его «Вологодскую свадьбу». «Вы не знаете силы этой системы». И рассказал к слову анекдот, как позвали слесаря чинить кран. Починил он на кухне, потек кран в ванной. Починил в ванной, опять потек на кухне. «Нет, не возьмусь, всю систему менять надо...»

Вот я сидел, слушал и услышал, что, оказывается, я в литературе – генерал, что ко мне прислушиваются, потому очень было бы важно... Нет, Юрий Серафимович, я – лейтенант. Генерал, генерал, настаивал он, чувствовалось, и в маршалы произведет меня охотно, лишь бы я что-то подписал. Ну, прямо толстовская сцена: он врет, я понимаю, зачем он врет, и он понимает, что я понимаю, и тем не менее... Вдруг вырвалось у него с досадой:

– Думаете, мне доставляет удовольствие всем этим заниматься? Мне в радость?

Вот это, похоже, правда. При Сталине разве уговаривали бы? Кнопку стоило нажать...

— Ильин не мог как следует организовать!

Вот тут я за Виктора Николаевича Ильина вступился, я буквально оду ему пропел:

— Зря вы его не цените, он — идеальный работник старой выучки. И действовал в лучших традициях: преступник должен быть доставлен ничего не подозревающим, должен сам, как за наградой, стремиться. Нет, таких, как он, осталось уже немного.

И еще некоторое время длится наш разговор, тягостный для обоих, но нельзя ему, не полагается отпустить отсюда человека не замаранным, да я ему помочь в этом не мог.

Однажды на Украине услышал я в официальной речи: «Партия требует з нас...». Как понимаю, это означало: партия требует, ждет от нас. Но странное звучание в родственных языках обретают одни и те же слова, обнажая вдруг сокровенный смысл. Вот это и происходило в кабинете: вымагае...

А Ильина на одной из фотографий я видел молодым: юноша из полуинтеллигентной семьи, принадлежность же к интеллигенции для новой власти была тем родимым пятном, тем пороком, который полагалось изживать, отмывать в чистилище заводов и шахт, соскребать с себя многими покаяниями, иначе путь в жизнь был закрыт. Кто у нас не проходил через бесконечные чистилища, через ложь, отречение от отцов-матерей, от самих себя, превращаясь из гонимого в гонителя. Какие судьбы втаптывались! Вот так, наверное, и оказался он в надежнейшем из чистилищ.

Ильину было под семьдесят, потом и за семьдесят, когда, спущенный сверху в Московское отделение Союза писателей, держал он все нити управления в своих руках, уже исхудавших, бледных. Но так же четко работал аппарат из множества секретарш, и все вертелось, и дела делались, и бумаги подшивались. А он сохранял хорошую выправку, хотя уже и губы стали дряблыми, пришепetyвал, забывчив становился, это видели, он один за собой не замечал. В огромном, необъятной высоты кабинете он скромно в обеденный час включал электрический чайник, пил чай с бутербродами, принесенными из дому. Для других в его должности держали неприкосновенным столик в ресторане: вот спустится, и будет долгое застолье, на которое никакой зарплате не могло хватить. Но странность: парикмахер Дома литераторов, бривший когда-то командующего нашим фронтом Толбухина, жаловался мне на Ильина: «Почему я должен стричь

его бесплатно? Мне не жалко, пожалуйста, но почему?» Думаю, дело тут было даже не в экономии, во всяком случае, не в ней одной: просто он считал, ему это положено по должности. И шофер утрами выгуливал его собаку во дворе.

В ондатровой шапке, спиной в литфондовском ателье, где тоже все шилось по рангу (кому — ондатровую, кому — кроличью), в демисезонном пальто, он выходил к машине, садился, захлопывал дверцу, ехал в должность. Мне он как-то сказал: «Зимнего пальто я никогда не носил, в любые морозы — в демисезонном». Но в теплой машине этого и не требовалось.

Потом он был свергнут, все, как всегда: те люди, кого он поддерживал и растил, свергли его, посадили своего человека. И вот, встречая меня во дворе, он вновь и вновь рассказывал историю про какого-то проходимца Першина или Паршина, который, как ему удалось установить, присвоил себе чужой орден, а он его разоблачил, но им этот проходимец был нужен, они встали за него горой... Если бы лишь в этом дело и только — Паршин-Першин!

Как-то включаю радио — «Писатель у микрофона». И слышу такой текст: «...на снегу в Сталинграде лежал молодой капитан. Кровь текла из его губы. Этот капитан был я». По голосу — Падерин. Был такой полковник, он же литератор, он же в непонятной должности при отошедшем от дел маршале Чуйкове: то ли ординарец, то ли приближенный. Оттуда он метал на своих литературных недругов громы и молнии за маршальской подписью. Потом между ними возник какой-то денежный конфликт, и маршал прогнал его со двора. И вдруг выясняется: в бытность свою комиссаром полка Падерин украл орден Боевого Красного Знамени, снял с убитого сержанта, присвоил и носил многие годы. Об этом двадцатимиллионным тиражом сообщила газета «Труд». И что же? А ничего. Для жалостливости обзаведясь палочкой и прихрамывая, все так же приходил Падерин на писательские собрания, держал себя жертвою невинной, случалось, и с трибуны выступал: стыд не дым. Это прежде офицеры от позора стрелялись.

Ильин, удаленный от дел, продолжал жить той жизнью, которая теперь без него вертелась, собирал компромат на своих недругов, гордился, что писатели не забывают его, присылают книги с дарственными надписями. «Как хорошо, — говорил он, — что ты остаешься самим собой». Прежде почему-то именно это его не устраивало. Но, освобожденный от груза обязанностей, он говорил теперь это вполне искренне. И возмущался, возмущался теми, кто предал его,

чей авторитет ранее был для него неколебимым. А ведь он такую школу жизни прошел, такой многоопытный человек. Но так же, как легко понять и принять, что все люди смертны, но трудно к себе это приложить, так же, видимо, трудно свыкнуться с мыслью, что те, кого ты взрастил, тебя и предали.

Теперь он ходил зимой в рыжеватой матерчатой шубе с меховым воротником и на меховой подстежке, шапка ондатровая уже потерлась. Идет, бывало, по скользкой улице в магазин, уставясь в свои очки на кончике носа. Нередко — видел я в окно — стоит во дворе с хозяйками, они с кошелками, он с кошелкой, разговаривают... Без должности, без смысла жизни он быстро старел, перемены последних лет опеломили его. Однажды он позвонил мне, предложил для журнала материал о прежней своей службе, еще той, до Союза писателей, до ареста: о святая святых. И говорил со мною на «вы», по имени-отчеству. Редактор журнала, я стал в его глазах как бы начальством, он явно робел. И, чтобы сделать ему приятное, я заговорил о том, какой порядок был при нем и как все измельчало теперь, развалилось. Кстати, это была правда.

Погиб он, переходя дорогу, наш Ломоносовский проспект. Возможно, вот так же загляделся в очки на кончике носа, задумался, и машина сбила его. Узнал я об этом задним числом, меня не было в Москве, когда его хоронили.



## ЛЮДИ И РОЛИ

Люди живут, строят планы, рожают детей с надеждой, может, им достанется жизнь посветлей, а где-то наверху, не за облаком, а в кабинетах распределяют им роли. И не так страшен царь, как бывает страшен псарь.

Сам-то наш царек в те времена, как нередко случалось в России, был жизнелюбив, но не блистал умом. А когда после инсульта часть мозга залило ему кровью и походка у него сделалась петушиная, что уж от него было ждать. Что подсунут, то и подпишет. Он коллекционировал иностранные машины, орденами себя награждал, прознавшие про эту его слабость иностранцы начали весьма для себя невыгодно вешать на него свои ордена. А еще до слез умилялся он, когда подносили ему свежие издания его книг про славные его деяния, которых он не совершал. Разумеется, писал не он, было кому за него писать, вряд ли он даже прочесть все это усилился, но в знак высокого расположения любил дарить приближенным авторские экземпляры, погладит переплет, да и надпишет дрожащим почерком. И хотя книг этих я не читал, но столько про них писали, да по телевизору, да по радио возглашали, что один эпизод все же запомнился.

А запомнился потому, что был не сочинен, а под магнитофон рассказан с гордостью, это чувствовалось. Шла к фронту пехота, и обгоняет ее на своей машине бравый в ту пору комиссар с полковничьими звездами на погонах — Брежнев. Так бы, может, и проехал, обдав пылью, но из колонны его окликнули: солдат после ранения попал в чужую часть, просит, чтобы забрали его обратно, в свой полк. Порадовался Леонид Ильич и тому, что его узнали, и вот такой приверженности солдата. И рассудил: ты пока иди, воюй, а я направлю соответствующий запрос, и законным порядком будешь запрошен и переведен... Ох, канцелярист, и мышление какое канцелярское. Пехотинцу жизнь на фронте отмерена короткая, пока бумаги будут ходить снизу вверх да сверху вниз, ротный писарь как раз и выпишет ему похоронку, где-то на полпути бумаги встретятся.

Похожий случай и у нас был. На Украине, под Кравцами, когда немецкие танки и бронетранспортеры раздавили нашу батарею, произошло нечто прямо-таки невероятное. Солдат, фамилия — Мартузалиев, бежал от бронетранспортера по снегу, тот нагонял его, непременно хотел раздавить.

Мартузалиев упал, бронетранспортер, машина эта страшная, стальная, переехала его, а он – представьте! – остался жив. Снег ли был глубокий, гусеница ли широкая, – или между гусеницами оказался, но выпало такое счастье человеку.

Двигается наш полк к фронту, я к тому времени тоже из госпиталя вернулся, движутся пушки за тракторами, отесняя пехоту к обочине, грязь ботинками месить, и слышу сквозь рокот трактора: «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!..» Мартузалиев! Из госпиталя, из запасного полка загнали в пехоту. «А ну, иди к нам!» Он было засомневался: вдруг хватятся, еще за дезертира сочтут. Да кто хватится? И всю оставшуюся войну провоевал он в нашем полку, в своей батарее.

Но это – к слову. А в те времена, о которых я рассказываю, Брежнев сидел в своем кабинете в сером здании ЦК, – а через площадь, в другом здании, на Лубянке, в кабинете, куда нормальному человеку и войти страшно, столько здесь кровавых дел вершилось, столько людей в подвалах замучено, сидел тот, кто сменит его: Андропов. Его путь наверх – обычный путь изломанной души, путь предательства, а предадут в первую очередь тех, кому больше всего обязан. Вот так предал он в свое время Куприянова, секретаря ЦК Карелии. Тот выдвигал его, опекал, секретарем ЦК комсомола Карелии сделал, пришло время Куприянова сажать, Андропов против него свидетельствовал.

Вот в этих двух зданиях судьбы решались, за каждым записывались его грехи. В сотнях кабинетов на разных этажах сидели писаря разных рангов и званий, каждый по соответствующей норме накормлен, удольствован, улажен, да еще надежда оставлена: будешь усерден, удачлив – переместишься в кабинет повыше. Вот они-то и ведали судьбами, они составляли списки, подавали на подпись, а по этим спискам то одного, то другого выдергивали на позор.

Год 1973-й, развернулась травля Сахарова и Солженицына, все новые и новые голоса требовались в общий хор. Сохранились у меня на пленке голоса моих коллег, с каким гневом клеймили они по радио и с экрана гонимых, сейчас о тех своих выступлениях хотели бы забыть. И доярки, и академики, и плотники, и писатели именитые кинулись дружно, как у нас и полагается, побивать словесными камнями. Вот тут и про меня вспомнили. Начали раздаваться звонки из редакций. Обычно милый женский голос сообщал, что такой-то, такой-то и такой-то уже откликнулись, написали им о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», выразили свое возмущение, они не сомневаются, я тоже присоединюсь.

Это подавалось как дело чести. Ответ мой был стандартен: этой книги Солженицына я не читал, пришлите, прочту. Как это они пришлют, когда они ее и в руки брать брезгуют. Возникла долгая пауза. И холодел голос: но вы верите нашей газете? Я объяснял терпеливо: у меня правило — не высказываться о том, чего не читал. Особенно настойчивы в те дни были «Советская культура» и «Правда». Сначала звонили рядовые сотрудники, потом — выше, выше.

В «Известия» написал Войнович: позвольте через Вашу газету выразить презрение всем токарям, слесарям, академикам, Героям Социалистического Труда и т. д. и т. п., кто участвует в травле. Он свою судьбу решил, он уезжает из страны, он хлопнул дверью, но я уезжать никуда не собирался, для меня это значило то же, что от себя самого уехать. И я о сущем чуде мечтал, чтобы обо мне забыли. Не нужно мне ни чинов, ни орденов, забудьте. Но видел уже: не оставят добром, нельзя допустить, чтобы человек сам распоряжался своей совестью, твоя совесть не тебе принадлежит.

А были, были за мной грехи записаны. И рецензия на повесть «Один день Ивана Денисовича», на нее Твардовский ссылаясь в письме к Федину, позоря его за отступничество, а Федин возглавлял Союз писателей, и был он человек обидчивый, памятливым. Еще в институте в Литературном, ничего не смысля, зашел я как-то на семинар, который он вел, послушать зашел, и дернуло же меня спросить: а как это получается, вот читаешь книгу, и не то видно, про что рассказывается в ней, а видишь, как трудно ее писали, прямо потом от нее разит. Я и сам в тот момент не отдавал себе отчета, что подсознательно его роман «Первые радости» имею в виду, я не догадывался, а он догадался сразу. И, благодушный, барственный, оскалился вдруг: «Вы почему меня спрашиваете? Вы мою книгу имеете в виду?..»

Второй же мой грех — публичное выступление в защиту «Ракового корпуса». Было устроено обсуждение книги, вот тогда я впервые увидел Солженицына: небольшая вокруг лица подстриженная рыжеватая шкиперская бородка, модная куртка с шерстяными рукавами и замшей на груди, взгляд поверх голов и лиц: шел боец на бой с нами.

А третий мой грех такой: вызвали меня в отдел культуры ЦК и там предложили прочесть рукопись пьесы Солженицына «Олень и шалаповка», вручить мне ее хотели. Я спросил, как положено по авторскому праву: автор дал согласие, чтобы его пьесу читал я? Мне назвали ряд известнейших имен, они прочли, выражают свое возмущение. Так

же, как я, они знали: пьеса конфискована при обыске. Я отказался взять рукопись. В дальнейшем на заседании парткома Сергей Сергеевич Смирнов высмеял меня за это: «Бакланов, видите ли, отказался. А я прочел». Его имя в ту пору много значило, его телевизионные передачи смотрели все, его узнавали на улицах, он реабилитировал героев Брестской крепости, вернул их к жизни. Вечная для меня загадка: как такие несовместимые вещи уживаются в одном сердце?

И опять стала передо мной та же проблема: куда-то надо деваться. Но не набегаешься. Да и стыдно вато мне бегать, что я, преступник государственный? В поселке же нашем под Москвой столько глаз, что оставаться там было нельзя. И решили мы с женой так: буду сидеть в Москве один, на звонки не отзываться, если крайняя нужда, она позвонит условным звонком, положит трубку, а я перезваниваю. Не бог весть какая конспирация, но все же...

И вот сижу я днем, работаю. Звонок телефона. Я не снимаю трубку. Он звонит, я печатаю на машинке сценарий. И продолжалось это с короткими перерывами – замолчит и вновь звонит – двадцать одну минуту по часам. Не выдержал, взял трубку. И женский голос, как показалось мне – телефонистки, накаленный голос: «Почему не берете трубку?» – «А вам какое дело! У меня за телефон уплачено!»

Я оделся, закрыл квартиру, вышел во двор. За четырнадцать лет, что стояли наши дома по сторонам кинотеатра, образуя как бы квадрат, деревья и кустарники во дворе разрослись. Я сел на дальнюю скамейку, жду. И вот въезжает черная «Волга», остановилась у нашего подъезда. Дверца открылась, вышел товарищ в сером костюме, обойдя машину, вошел в подъезд. Примерно столько времени, сколько требовалось, чтобы подняться на седьмой этаж, постоять безуспешно перед закрытой дверью и вернуться, он пробыл там. Машина отъехала.

С улицы, из автомата я позвонил Марлену Хуциеву, он был дома, я сказал, что сейчас приеду к нему. Когда-то давно, прочтя мою повесть «Пядь земли», он пришел познакомиться, сразу предупредив, что ставить фильм по повести не собирается, а хотел бы вместе со мной написать сценарий. И рассказал – о чем. Меня это не интересовало, я писал другую книгу. Но минуло больше десяти лет, и я дал ему прочесть мой рассказ «Почем фунт лиха». Уже несколько режиссеров предлагали поставить фильм, но весь мой предыдущий опыт работы в кино не радовал. Пришло предложение западногерманского телевидения, я даже не отве-

тил. Да, это были бы немалые деньги, но что сделают там из моего рассказа, я не знал, а прав у меня никаких не было, в авторскую конвенцию мы тогда еще не вступили.

Рассказ небольшой, страниц восемнадцать на машинке, читал его Худиев, не соврать, месяца три. И сказал: «Я поставил по нему фильм. Но я не могу сказать уверенно, что я буду его ставить...» Тем не менее вскоре мы начали писать сценарий. И вот, захватив пишущую машинку, кое-какие вещички, рукопись взяв, ехал я к нему. Рассказал, как и что. Потом сидел у него в квартире, ждал, пока он ездил за путевками в Дом кинематографистов, в Болшево. И на его машине мы уехали туда.

Фильм в дальнейшем по первой фразе рассказа назвали мы «Был месяц май». Из восьми или девяти фильмов, поставленных по моим книгам или сценариям, единственно этот дорог мне. И хорошо нам работалось, понимали друг друга с полуслова. Как-то я сказал Марлену: «Вот представь: смотрю я в окно на людей, они заняты своими делами, свои заботы у каждого, а я на них смотрю, и один я знаю, что завтра мир исчезнет, этот день — последний. А они не знают, ведут себя, как всегда. Понимаешь, с каким чувством я бы смотрел на все вокруг? Вот и предвоенную хронику я так смотрю: я знаю будущее этих людей, что их ждет, а им оно не ведомо. Как в фильме это чувство передать?» И он смог. И самое для меня удивительное, что он, не воевавший (да и не мог он ни по возрасту, ни по здоровью), так точно почувствовал, что чувствовали мы в первые дни мира, еще не отрешившись, не веря еще, что война кончилась.

И вот сидим мы с ним, работаем затворнически в Болшеве, и приезжает Геннадий Шпаликов. Вечером. Один. На нем — белые, растоптанные, дочерна пропотелые кеды, лицо опухшее, живот огромен: это распухла печень. В такие запойные или послезапойные дни здесь, в Болшеве, директор Дома принимал его без путевки, без денег, кормил, поил, выхаживал, стол и кров для него всегда здесь был. Какой яркий талант и как быстро просверкал он!.. А многие его строки у меня в душе: «И на валенках уеду в сорок первый год... Там, где мама молодая и отец живой...» Не знал он, когда писал это, что недолго уже осталось, скоро и он соединится с ними.

На следующий ли день, или через сутки поехали мы на машине Худиева на рынок, обалдев от работы, перерыв захотелось сделать. Марлен куда-то отошел, а я стою у машины. Подходит Шпаликов: «Дайте рубль...» Лицо водянисто-опухлое, дышит тяжело. Понимал я, нельзя давать, гибнет человек, но как не дашь? Вот так последний раз я его видел.

Вернулся Марлен, заодно газеты купил. Уже в машине раскрыл «Правду», на видном месте — письмо: клеймят Сахарова и Солженицына, чье поведение «не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения...» И — подписи. Некоторые ошеломили меня. Не буду перечислять, это все были известнейшие имена.

В «Бесприданнице» Островского, склоняя Ларису к сожительству, старик купец Кнуров говорит: стыда не бойтесь, мы можем такую цену заплатить, что самые смелые критики умолкнут...

Все, кто подписал это письмо в «Правду», стали впоследствии Героями Социалистического Труда. Некоторые, впрочем, были уже удостоены, но кто еще не был Героем, стал им.

## КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ

Курить я начал в госпитале, в Красном Лимане, в сорок третьем году: покуришь — и есть не так хочется. Лежали в нашей офицерской палате в основном тяжелораненные, в общей сложности я в тот раз полгода провалялся по госпиталям. А кормили так: жив будешь, но больше ничего не захочется. Но молодость брала свое. И вот когда я уже был ходячим и только левую руку, как ребенка грудного, носил на перевязи перед собой, настигла меня любовь. Она — врач, старше меня лет на восемь, красивая, казалось мне, никого красивей ее нет. Любила ли она меня или жалела — не знаю.

И вдруг на короткий срок с фронта прибыл ее муж, летчик; вхожу к ней в кабинет на перевязку и по лицу ее понял, кто это. Помню, жутко покраснел. Жив ли он остался на войне? Жива ли она сейчас? И где? В своей Эстонии? Какие светлые были у нее глаза, какими они бывали ласковыми. А ведь может случиться, что, встретясь теперь, мы друг друга уже не узнаем.

В институтскую пору я по бедности курил махорку. И хотя в дальнешем и «Золотое руно» курил из трубки, привезенной с фронта, и самые дорогие сигареты, для меня с дымком махорочным весь фронт связан.

Но родился сын, жили мы за шкафом, впятером в одной комнате, и надоело мне выходить на лестницу, выкуривать сигарету наспех, а потом все равно дышишь на сына табачным перегаром. Марк Твен утверждал, ничего нет легче, как бросить курить: он, мол, бросал раз тридцать. То же и со мной происходило. А бросил совершенно неожиданно, и вот как это получилось, могу поделиться опытом.

В тот день я купил в запас двадцать пачек сигарет «Лайка», были такие сигареты с милой мордой собаки, которая проложила дорогу в космос всем нашим прославленным космонавтам, на ней испытывали, что им придется испытать. Так вот, набрал я сигарет, взял на почте газеты, письма за целую неделю и поехал за город, на дачу, к семье. Было лето, в Москве — бензиновая гарь, зной, и оказаться после городской суеты, холостяцкой жизни всухомятку вдруг за семейным столом, когда и по левую и по правую руку от тебя сидят дети — что еще душе надо? А потом в кабинете открыл я окно в сад, закурил и в таком блаженном послеобеденном состоянии разворачиваю «Литературную газету»: поглядим сквозь табачный дымок, что пишут. А с газетного

листа в глаза мне – моя фамилия. Большая статья Грибачева на самой первой полосе, ею, в сущности, газета открывается. И пишет он, что водораздел в русской литературе «отделяет Пушкина от Бенедиктова, Некрасова от Надсона, «Судьбу человека» М. Шолохова от «общечеловеческой» «Пяди земли» Г. Бакланова».

А уже заканчивалась кратковременная хрущевская оттепель, сменяли ее крутые заморозки, уже Хрущев стучал кулаком по столу, созвав к себе интеллигенцию, и такой вот Грибачев, известный со сталинских времен погромными делами, вновь становился надеждой и опорой, и его статья рассматривалась уже как прямое указание свыше. Что за этим следует, я знал по собственному опыту. Молодой критик Барабаш, переживший войну и оккупацию на Украине в нежном возрасте, именно разгромнейшей статьей об этой моей повести сделал первый заметный шаг в карьерные выси. Он писал, что и воевали мы не так, и совсем не о том думали солдаты на фронте: ему это лучше было знать. Карьера в Харькове или в Киеве была тогда еще не карьера, заветное – в Москве. Его статью напечатала правительственная газета «Известия», выдержки из нее украшали суперобложку французского издания «Пяди земли»: хорошая получилась реклама. А Барабаш перебрался в Москву, рос быстро: зам. редактора «Литературной газеты», зам. зав. отделом ЦК (как оно звучно пролаивалось: замзав!), уже и черную машину «Волга» подавали под него...

Есть у меня странная привычка: иногда я мысленно переодеваю людей, так легче представить человека в других обстоятельствах. Глянув как-то на Барабаша, на светлые его, негустые волосы, лоб белый, особенной белизны, глаза голубоватые, холодные, я мысленно примерил на него эсэсовскую фуражку и поразился... Конечно, быть бы ему со временем заведующим отделом: смекалист, не глуп, ум схватчивый, не созидательный, такой и требуется, чтобы не дело делать, а расти, но ранний инсульт подкосил.

А еще был у меня сосед, Иван Тимофеевич Козлов, в прошлом – армейский политработник, ставший литературным критиком. Когда-то в литинститутском гимне были такие слова: «Здесь поэты пишут прозу и – наоборот... Если с прозой тоже лихо, нам не привыкать, есть еще хороший выход, драматургом стать». Ну, и последним в этой иерархии, последний выход – стать критиком. Иван Тимофеевич трижды, в трех статьях громил эту мою повесть, статьи его я не читал, но, встретив у лифта, сказал: «Вы бы хоть бутылку поставили, все же трижды получили гонорар». Был



он мужик неплохой, но богобоязненный и службу знал. И дернуло же меня сказать ему в его кабинете (а он к тому времени продвинулся высоко, стал главным редактором издательства «Советский писатель» и полтора года упорно не пропускал «Пядь земли» в печать), дернуло же меня сказать ему: «Вы все-таки на фронте были, должны знать...» И рассказал я ему, как 11 октября сорок третьего года (как раз в этот день меня ранило) под Запорожьем пошли в контратаку немецкие танки и рядом со мной в траншее убило пехотинца. Он только спрыгнул туда с термосом на спине, завтрак принес пехоте, и — разрыв снаряда. Лежит он убитый, ничком, крышка термоса открылась, и на спину ему, на землю ползет густой пшениный кулеш, белые куски сала. А я вторые сутки не евши, и — ложка за голенищем. Если б не люди кругом, если б стыд не останавливал, я бы хоть пару ложек того кулеша ухватил под обстрелом. «То — война, — сказал Иван Тимофеевич, — и совсем другое дело — литература».

В следующей его статье все это появилось как пример натурализма в повести «Пядь земли». Он же, кстати, первым поставил на повести клеймо: «окопная правда».

Когда в обществе умопомрачение, люди перестают слышать родную речь, понимать смысл слов. В окопах сидел народ, в окопах, а не в штабах, раз окопная, значит — народная, гордиться бы этим, а не клеймить. Не случайно, когда царя свергали, газета большевиков на фронте так и называлась: «Окопная правда». Но, выходит, одно дело свергать и — совсем другие понятия, когда сами воцарились.

В общем-то, я моим хулителям благодарен, в короткий срок «Пядь земли» чуть ли не полмира обошла: четырежды издавали в Западной Германии, дважды — в Италии, в Англии, Франции — всего в тридцати с лишним странах.

Однако время прошло, все вроде бы улеглось, с чего это Грибачеву заново поднимать волну? Случайностей тут не бывает. А главное, на Мосфильме как раз на следующий день должны утверждать план запуска фильмов в производство, среди них — режиссерский сценарий по этой моей повести. Неужели специально подгадано? И подумалось: будь что будет, а вот я возьму за это да и брошу сегодня курить, хоть какая-то мне польза. И бросил. Несколько лет спустя рассказал я об этом Алексею Суркову, был какой-то прием, стоим мы с ним рядом у шведского стола, набираем себе в тарелки, и я рассказал, как бросил курить. «Хоть этим Грибачев послужил литературе!» — не упустил Сурков случая, у них с Грибачевым давние были счеты.

И вот — «завтра», сидим в кабинете директора Мосфильма Сурина, один утверждает сценарий, другой. Подходит очередь «Пяди земли». Ждал я этого момента, но не один я ждал. Сразу же встает парторг Шавкуненко, заходит за директорский стол, как за трибуну:

— Товарищи!

Ах, не знаем мы своего будущего. И полугода не пройдет, как дочь его, дочь парторга главной киностудии страны, останется в Италии, совершит позорнейший по тем временам антипатриотический поступок, не совместимый с гордым званием советского человека. А вскоре Шавкуненко будет тяжело умирать от рака, рак горла уже съедал его, когда он, перенапрягая гортань, произносил свою страстную речь. А произносил он ее, как могло показаться, в мою защиту, киностудия, мол, должна защищать своих авторов. Вот выпустили фильм по повести Казакевича, а критика разнесла его. Так давайте не торопиться запускать фильм в производство, пусть автор еще и еще поработает, если уже раздалась критика.

Какая критика? — вскинулся Сурин, придремавший было под привычный поток слов. Кто критикует? Где? Да вот же! И из пачки непрочитанных газет на столе достает вчерашнюю «Литературку». Вот, пожалуйста. Николай Матвеевич Грибачев. Грибачев? Грибачев!

И, развернув, Шавкуненко показывает всем первую полосу газеты, да еще вслух, с выражением, с поглядом, какое впечатление производит, читает избранные места. И кладет газету перед Суриным, как кладут обвинительное заключение, пристукнув по нему костяшками пальцев. Вот тут действительно настала тишина. Сурин читает, а Шавкуненко жестикулирует, что-то говорит, но будто с выключенным звуком. И странное спокойствие на меня снизошло, худшее случилось, я уже не волнуюсь. Только вот курить хочется до смерти. Конечно, не судьба мира решалась, все-то судьба одного фильма, но когда тебе сапоги тесны, какой толк, что мир обширен?

Долго читал Сурин. А может, и не читал: глядел в статью, соображал. Потом вздохнул, взял ручку, зачем-то поглядел на кончик ее, на шарик в пасте, и расписался: подписал фильм в производство. Могу свидетельствовать: не один я был изумлен. Почему он решился, служивый человек, когда не только парторг, но и «свободные художники» молча своим в его кабинете подсказывали ему другое, привычное решение, — не могу сказать. Знаю только одно: я ему благодарен.

О Сурине говорили разное, и, надо полагать, был он разным в разные времена, иначе бы не занимать ему этот пост. Трудный пост, опасный пост, если учесть, сколько знаменитостей снималось на Мосфильме, сколько из них обласкано было и любимо вождями еще от сталинских времен. И депутаты они, и лауреаты не по одному разу, а кто-то имеет доступ к высочайшему уху, кто-то в старческую постель. Сурин же и не депутат, и не лауреат, встань поперек — и головы не сносить, если профессией твоей сделалась руководящая должность.

Как раз в ту пору создавалась на Мосфильме гигантская экранизация романа «Война и мир». Рассказывают, консультант картины профессор Гудзий сказал после просмотра: «Я думал, Бондарчук не понял романа. Теперь я убедился: он его и не читал». И еще говорили, что на съемках этого фильма было сожжено дворянских усадеб больше, чем погибло при нашествии Наполеона. Вся студия работала на него, все трепетало, а если что и доставалось другим съемочным группам, так из остатков, из обносков. И вот приехала высокая министерская комиссия освятить своим посещением государственную важность того, что создается, и в кабинете Сурина задан был вопрос: «Ну что, помогает вам студия?» Благодарственный ответ предполагался заранее. «Нет, ничем не помогает», — сказал Бондарчук. И взгляд его, рассказывают, был ясен, и голос жертвен и тих, как в лучшей его роли в фильме «Тарас Шевченко», за которую Сталин из заслуженного сразу произвел его в Народного артиста СССР, сделав неприкасаемым.

Такая служба была у Сурина, ошибаться ему было нельзя, а вот почему-то решился.

Фильм с его благословения снимали молодые в ту пору режиссеры Андрей Смирнов и Борис Яшин. Спустя годы Смирнов скажет мне: фильм ваш мы пропили. И это, к сожалению, была правда. А актеры собрались хорошие, достаточно одного Урбанского вспомнить. Такого могучего человека природа создает, наверное, для того, чтобы самой полюбоваться: вот ведь на что я способна, не оскудела, могу! Но сцена, когда он в последнюю атаку подымает свой батальон, прижатый к берегу, никак что-то не удавалась. А все это с нами было на плацдарме, когда немцы пытались сбросить нас в Днестр. Но в фильме сцена не получалась. Позже Урбанский рассказал мне, что в лагерях его отец, когда замерзали в бараке, поднял обессиленных, уже покорившихся людей, заставил в лютый мороз валить лес и тем спас их. «Вот то и нужно было играть», — сказал я. Возмож-

но, что-то в рассказе об отце не совсем точно, но переспросить уже не у кого: Урбанский погиб.

И вот интересное совпадение: на первый мой фильм, вернее – фильм по моему сценарию, называть его не буду, фильм плохой, приглашена была на главную женскую роль красавица Дэидра Ритенбергс, на мужскую – Урбанский. Он был занят, не смог, но от судьбы, видимо, не уйдешь: встретились они не в фильме, а в жизни и поженились. Редкостная была пара.

А погиб он, по рассказам, так: на съемках у него украли деньги. И вот, чтобы заработать, привезти жене, он начал сниматься без дублера, проделывал то, что должен совершать каскадер. Машина перевернулась, он сломал шейные позвонки.

Режиссеры, молодые в ту пору, сами войны не видели, и консультантом был приглашен генерал-лейтенант в отставке, в прошлом – командующий артиллерией армии. Человек скромный, преклонного возраста, он смущен был всей этой вольницей, особенно же – присутствием молодых актрис. А молодежь веселилась, при нем в автобусе по дороге на съемку рассказывали «генеральские» анекдоты, как, например, пообедав, генерал вдруг вылил себе на голову кисель. «Товарищ генерал, это же кисель!» – «Да? А я думал – кефир...» Он словно не слышал за шумом мотора, только лысая голова краснела. А тут еще актрисы разузнали, что наедине с собой любит он пропустить перед обедом стопочку армянского коньяка: для аппетита. И, подкараулив момент, учинили набег, с весельем, с шумом выпотрошили его чемодан, где хранилась-таки пара-тройка бутылок: как можно красивым женщинам отказать?

И вот пришел первый отснятый материал, в просмотрном зале потушен свет, замелькало, замелькало, и я увидел на экране... А увидел я траншеи, обшитые первосортнейшим тесом, землянки, как вековые курганы, способные выдержать прямое попадание бомбы. У нас на плацдарме, если и были землянки в три наката над головой, так все три наката, как говорилось, кукурузные. Надо было срочно ехать на съемки.

Войну я закончил лейтенантом, лейтенант – это тот, кому меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют. А тут – генерал, командующий артиллерией армии... «Иван Васильевич, – говорю ему в некотором смущении, – разве такая была война? И где это на передовой траншеи обшивали тесом?..» А он, будто Иваном Тимофеевичем Козловым проинструированный, объясняет: «Так то – война, а это – кино,

люди смотреть будут, нельзя! Я хотел как лучше». И из глаз его поблекших, уже слезою подернутых, такая преданность долгу светится, что, как на солнышко, больно глядеть. Весь этот материал пришлось переснимать.

А режиссерам, недавним выпускникам ВГИКа, забавно казалось, что у них в подчинении генерал-лейтенант. На фронте артиллерией целой армии командовал, а здесь — «Иван Васильевич, надевайте китель». В Кишиневе, в гостинице, собрались мы обедать, а ресторан в обеденную пору закрыт на обед, и швейцар в галунах сидит за стеклянными дверьми для порядка. Иван Васильевич, впитавший в плоть и кровь привычку подчиняться старшим по должности, надевает кремовый чесучовый китель, на нем яркие орденские колодки от сердца до пояса, и во всем параде идет первым, за ним — остальные. И швейцар распахивает двери, и в пустом ресторане начинают обслуживать нас одних.

Снимали фильм на местах бывших боев, и я узнавал и не узнавал наш плацдарм: столько лет прошло, молодой лес поднялся. Но самое поразительное, каким узким казался мне теперь Днестр. А тогда, под огнем, многих жизней не хватило, чтобы его перешлыть. По контуру прежних, времен войны, заплывших окопов рыли окопы заново, чтоб все было натурально. И в одном из них отрыли скелет. Он сидел. И был это, возможно, мой ровесник, зубы все молодые, не съеденные. И, может быть, видел я его в бою, знал. И вот мне уже — за сорок, целая жизнь, вторично подаренная мне, прожита после войны, подарено было мне детям радоваться, а он все так же сидел в окопе, засыпанный землей...

Когда фильм вышел на экраны, я получил от Виктора Некрасова письмо:

«4. 1.65.

Дорогой Гриша!

Вчера посмотрел «Пядь земли» и сразу же захотелось написать тебе, что это очень, очень славный фильм, многое во мне всколыхнувший. И ребята, и выпетшие гимнастерки, и вся эта бессюжетность, недекларативность, правдивость — все это очень хорошо. «Живые и мертвые» я, например, проспал (правда для этого были и другие основания кроме качества фильма), но второй раз не пошел... Кстати, я в этих местах тоже воевал и тоже на пяточке — у Тапшыка, поэтому я должен быть особенно придирчив, а вот и не к чему придраться. Очень рад! А кто эти ребята — режиссеры? Мотовилов? Молодец! Папан, а ведь здорово сделал лейтенанта тех лет... Даже (не дай Бог!!!) немного взгрустнулось, что прошли те «пламенные» годы. Впрочем, просто моложе и веселее все мы тогда были.

Вот так-то, Гриша. Передай всем привет и мои поздравления. Заодно и тебе. Заодно и с Новым Годом!

Сейчас еду с мамой в Дубулты – говорят, там сейчас тихо и можно хорошо поработать.

Обнимаю. Твой В. Некрасов.

А где Володя Тендряк? Я уж забыл, как он выглядит? Он, кажется, твой сосед по Пахре. Зайди к нему, передай привет и выпей 100 гр., хотя ты, кажется, этого не любишь...»

Запятые Вика, случалось, и забывал расставлять, а на счет 100 грамм, был бы он жив сейчас, я бы сказал: обижаешь. И вот интересно, и не мной первым это замечено: Симонова, который был моложе его по годам, мы ощущали человеком совершенно другого поколения, другой иерархии, а Виктор Некрасов словно бы ровесник был наш и не только по войне. А ведь ни одна книга не повлияла так на всю нашу литературу о войне и на каждого из нас, как его повесть «В окопах Сталинграда», исповедь мужественная и честная.

Дорого мне это его письмо. Он фронтовик, я понимаю, что могло ему понравиться в фильме. Правда войны там была, для проверки я попросил режиссеров вмонтировать хронику в сцены боев, ее было не отличить. Но вот искусства в фильме, к сожалению, не было.

## В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Западные интеллектуалы, к ним у нас относят и американцев, живущие в обстановке относительно комфортной, а бытовые удобства способствуют и душевному уюту, привыкли до последней возможности «не допускать мысли». Уже и Гитлер пришел к власти, а все «не допускали мысли», и Сталина, рябого изверга, повидав вблизи, Фейхтвангер все же написал бог знает что, книгу его — «Москва 1937» читать мерзко. Тому, разумеется, была причина, не о ней сейчас речь, но факт остается фактом. С нас спрос не меньший, но другой: это спрос с тех, кто либо сам побывал в пыточной камере, либо ожидал своей очереди в нее, а уж как ожидание калечит душу, на что способно толкнуть человека, известно хорошо. Молодые же просто были отравлены слепой верой.

Но вот, чтобы дальнейшее понять, попытаемся представить себе нечто вовсе уж невероятное: состоялась беседа Томаса Манна с Гитлером. И говорит ему Томас Манн: «Я удручен Вашими многочисленными антисемитскими высказываниями и действиями... Мы восхищались Вашими ораторскими способностями. Мы ценим Ваш глубокий вклад в ликвидацию безработицы. Но написанное Вами в книге «Майн кампф» и Ваши публичные высказывания могут быть использованы для интеллектуального обоснования идеологии ненависти, ведут к массовым убийствам. Вам следует пересмотреть свои взгляды...»

Томаса Манна нет. Вслед за своей собакой сдох Гитлер, успевший прежде погубить миллионы и миллионы, об одном он только жалел перед смертью, что с ним вместе не погибнет немецкий народ, который оказался не достоин своего фюрера. Где-то хранится у нас, если еще хранится, волчья его челюсть, по которой и опознан был труп обгорелый.

А теперь от Томаса Манна, от великого, спустимся с той нравственной высоты в дни наши. Вот — письмо. Не Гитлеру, разумеется, но тоже антисемиту, правда, куда меньшего масштаба: возможности пока что у него не те. Открытое письмо И. Р. Шафаревичу. Под ним — четыреста пятьдесят подписей американских математиков, среди которых три бывших и нынешних президента Американского математического общества, 24 члена этого общества, 14 членов Национальной академии наук США. Они пишут:

«Мы удручены многочисленными антисемитскими вы-

сказываниями в Вашей книге «Русофобия» и в Ваших публичных заявлениях по поводу текущей политической ситуации.

Мы восхищались Вашей борьбой за права личности в тяжелый период недавней русской истории. Мы ценим Ваш глубокий и фундаментальный вклад в математику. Разум, которому открыта красота науки, который способен ее развивать, должен быть так же способен видеть пустоту и безосновательность теории заговора, сторонником которой Вы являетесь.

Поддержка Вами давно скомпрометировавших себя суждений о роли евреев в мировой истории и в особенности в русской истории способна только повредить Вашим взаимоотношениям с математиками-евреями и неевреями, а также улучшившимся в последнее время связям Востока и Запада. Написанное Вами может быть использовано для интеллектуального обоснования идеологии ненависти, приведшей в прошлом и способной привести в будущем к массовым убийствам.

Мы призываем Вас пересмотреть свои взгляды и публично отречься от Вашей антисемитской позиции».

И — четыреста пятьдесят подписей...

Все очень интеллигентно, цивилизованные люди, цивилизованный разговор. Да для него улучшившиеся связи Востока с Западом — нож острый, как это не понять? Россия под колпаком, санитарным кордоном отделенная от мира, — вот его идеал. Есть бактерии аэробные, есть анаэробные, одни без воздуха жить не могут, другие только в безвоздушной среде и живут и чувствуют себя прекрасно.

Интересно, как же он «пересмотрит свои взгляды», «публично отречется от антисемитской позиции», когда это — его промысел, который он за Божий промысел выдает? В той самой книге, в «Русофобии» (я убежден, только русофоб и мог ее написать), он же заявляет, что, не опубликуй он ее; не влей этот яд в сознание людей, не смог бы он спокойно и в могилу слечь. Какой извращенный ум! «Мы восхищались... Мы ценим глубокий...» Ах, интеллектуалы, интеллектуалы! Правильно сказано: гром не грянет, мужик не перекрестится. Так ведь грянул уже. Или, в самом деле, история ничему не учит?

Однажды я наблюдал этого человека по телевизору. В тот раз он говорил об Ельцине и Горбачеве, о том, что они принесли России бед несравнимо больше, чем татарское нашествие. У нас теперь для этого смелости не надо, дозволено говорить все, и кто прежде жаловался на вынужденную



немоту, на тяжкий гнет цензуры, они-то первыми теперь и клянут тех, кто дал им возможность говорить. Но не то важно, что он говорил, это и старухи яростные на улицах любому корреспонденту в микрофон кричат, хоть бы и иностранному корреспонденту, от которого прежде шарахнулись бы в ужасе, гораздо важнее было, как он говорил, лицо его в этот момент. Это было лицо человека, неизлечимо больного ненавистью, она сжигала его, исходила с экрана. Бледный, искаженный, пиджак перекошен, сполз с одного плеча, ненависть была такова, что даже взгляд временами казался безумен.

В Израиле вот уже чуть ли не три года тянется суд над одним из самых жестоких палачей Треблинки, Демьянюком. Четыре с лишним десятилетия разыскивали его, ловили, привезли и вот судят. Какая долгая жизнь подарена ему, уничтожившему столько жизней. Я как-то присутствовал при разговоре об этом процессе, возник даже небольшой спор. Было это в Беэр-шева, в милой семье киевлянина, переехавшего в Израиль, собралось у него несколько семей.

У Демьянюка в Треблинке был не то чтобы подручный, а мальчик, выполнявший что ему прикажут, еврей по фамилии Эпштейн. И вот разгружают очередную душегубку, в которой газом отравлены люди, и под голыми телами, где все же сохранился воздух, осталась жива двенадцатилетняя девочка, без сознания, но жива. Тоже голая, полумертвая, она ожила на свежем воздухе. И Демьянюк приказывает мальчику: «Снимай штаны!» И тот вынужден снять, он боится, в страхе живет. Но сделать с ожившей девочкой то, что от него требуют, не может от ужаса. Поняв, что не удастся, что тот физически не способен, Демьянюк взял дрель и при помощи дрели... Тут женщины закричали: «Хватит! Это невозможно слушать».

Эпштейн жив, он свидетельствовал на суде, приехал с женой, с детьми. Он сказал, что не хочет никакой мести, его месть в том, что вот живут его дети, а Демьянюка судят. Ну, а та девочка? А пепел сожженных в печах Треблинки?

В Иерусалиме, в Яд вашеме, каждую минуту голос произносит детское имя, день за днем, год за годом. Из шести миллионов евреев, уничтоженных фашистами, полтора миллиона — дети. И, может быть, самое страшное — детский зал. В сплошной темноте горят пять свечей, отраженных множественном невидимых зеркал, и ты словно в центре Вселенной, в центре мироздания, где витают души; над тобой, под тобой, повсюду — бесчисленные звезды — огоньки во тьме космоса: душа человека — свеча Господа. И голос, отсчитывая минуты, произносит и произносит детские имена.

А у Демьянюка в его камере – цветной телевизор, библиотека, и во дворике, на свежем воздухе растит он и поливает цветы: суд не кончился, процесс длится, адвокат затребовал новые документы.

Но в конце концов, что такое демьянюки вместе взятые? Исполнители. Их руками творилось зло, и одни творили его с садистским наслаждением, другие – от страха за свою жизнь. Но чтобы все это оказалось возможно, началом всего было слово. Словом надо было отравить сознание людей, пробудить ярость, сказать: дозволено. И прежде чем атомная бомба взорвалась, было сказано слово. Без него не сбросили бы ее на людей.

Убеждения неподсудны, за них нельзя карать. Но слово сказанное, написанное – это деяние, дело. В истории человечества в начале дел, великих и страшных дел, всегда было слово, оно предшествовало. Так кто же главный убийца, кто палач: тот, кто бросил слово в толпу, как огонь в стог сена, или тот, кто исполнял приговор? «...дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя – о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть». Да, да, это из поэмы «Великий инквизитор», которую Иван Карамазов читает своему брату Алеше. И это – руководство к действию всех тех, кто обольщал и обольщает совесть человека в кровавый наш двадцатый век. «Разум, которому открыта красота науки..., должен быть также способен видеть...» Видит, знает, ведает, что творит, можете не сомневаться.

Для Шафаревича евреи – источник мирового зла, так он их пытается представить. Но, может быть, он любит молдаван? Или американцев? Он любит русских. Но не тех, что живут на свете, радуются, маются, а тех, какими они обязаны быть по его заветам и повелениям. Он любит Россию. Но Россию Пуришкевичей, Шафаревичей, где – лжепророки «и ты, послушный им народ». Оттого-то он не прощает Лермонтову эти строки.

Я еще высуну вам язык после смерти, пообещал в свое время В. Розанов. И дочь, войдя к нему, мертвому, с ужасом увидела высунутый мертвый язык. В дальнейшем она покончила с собой. «Русофобия», написанная с ненавистью в сердце, – не такой же ли высунутый мертвый язык?

В результате многолетнего разбирательства, Демьянюк был освобожден из-под стражи, служба его в других лагерях смерти не стала предметом разбирательства. Ну, а та девочка двенадцатилетняя, о которой сегодня и помнить

некому?.. Или, может быть, девочки и не было? Пишут же сегодня фашисты – и в Германии и у нас, – что не было никаких газовых камер и душегубок, никого не сжигали в крематориях. Так вологодская газета "Эхо" и вовсе сообщила читателям спроста, что это американцы сожгли в крематории бычьи шкуры, сняли на пленку дым из трубы, и такой фильм представили Нюрнбергскому процессу, обвинив фашистов зазря.

## У КАЖДОГО СВОИ ЗАБОТЫ

Народы разные и разная вера и обычаи, а опыт жизни, пронесенный через века и религии, схожий, как это ни покажется странным. «И я мастер, и ты мастер, кто же наш сор выметет?» Это армянская пословица. А вот – арабская: «Я эмир и ты эмир. Кто же погонит ослов?» И в Абхазии, и в Армении говорят: «Чужой покойник спящим кажется». Или вот адыгская пословица: «На чьей арбе сидишь, песни того и пой». Это – перевод, и слово к слову тут плохо прилажено. А вот – русская: «По которой речке плыть, той и славушку творить».

Сегодня самим себе в оправдание винят время: «Время было такое...» Мол, что я? Я – как Илья... Время понуждало, ему и списывать грехи. А у китайцев, если не тысячи, так уж сотни лет этой пословице: «Змея говорит: “Это не я извиваюсь, – дорога извивается”».

Как-то рассказывал мне большой наш литначальник, сидел он за просторным столом, по правую его руку – телефон правительственной связи и еще телефоны, по левую его руку – несгораемый сейф: «Какие тут у меня заявления писателей лежат! В депутаты Верховного Совета просятся... А сколько заявлений на звезду Героя соцтруда!..» Я предложил: «Давайте напечатаем». – «Нет, с этим уйду».

Да ведь и на фронте, даже там это было. Были такие, что если не выпляшут, так выпросят. Вот в Венгрии хотя бы, под Секешфехерваром. Брала мы его и оставляли, и снова брали, много народу полегло там. Ночью, помню, вернулся я с передового наблюдательного пункта, из пехоты, откуда огонь корректировал, сменить меня должен был командир второй батареи Коропенко. Только я завалился спать, командир дивизиона вызывает. Непроспавшийся, злой иду к нему, спрыгнул в окоп, хотел уже плащ-палатку в землянку откинуть, да голоса меня остановили, один из них был голос Коропенки: на судьбу жаловался. Выпало ему несчастье быть в оккупации, и теперь, мол, нельзя ему умирать без ордена, пусть самый маленький, но орден, чтобы смочь позорное пятно, не ради себя, ради жены и детей.

До войны Коропенко закончил Одесское военное училище, росточка был маленького, а маленьким людям большие сны снятся. Но в первых же боях попал он в окружение, а там, сняв с себя военную форму, переодевшись в гражданское, вернулся домой. Освобождая Одессу (наш полк в этом

участвовал), мы и его освободили. Военная карьера испорчена бесповоротно, единственное, что требовалось ему теперь, — орден.

Вошел я. Смолкли. Гулин, командир дивизиона, придвинул к себе карту города, при свете снарядной гильзы, в расплющенной горловине которой коптил плоский фитиль, разглядывает ее. А там, в городе, грохочет все. «Значит, так, — Гулин нахмурил подбритые брови. — Бери разведчика, бери телефониста, пойдешь туда. Там тебе все известно. Нужен сейчас там такой человек, который уже находился... Я на тебя надеюсь...»

Не услышь я только что их разговора, я бы возгордился по молодости лет: как же, на меня надеются! А Коропенко сидит в землянке, ножки свесил, лицо обиженное на жизнь, словно бы опять проявлено к нему недоверие, от почетного дела отстранили. И что самое поразительное — действительно обижен. Так мне противно, так гадко стало, что ничего я не сказал, повернулся и вышел. Но тоже, если подумать трезво: я — из гордости, из презрения, а разведчик, телефонист, которым идти со мной, они за что? Туда живым добраться — и то везение. Но их судьбу я в тот момент не брал в расчет, вернулся и приказал: «Собирайтесь!»

Коропенко получил орден Красной Звезды, пришел с войны орденосцем, не инвалид, даже не ранен ни разу. Но и в дальнейшем, в мирной жизни, тоже у него что-то не ладилось, может, хотел больше того, что мог, такие люди всегда несчастны.

Войну с поля боя, из окопа повидал я достаточно, но высокие штабы, где рукою белой прочерчивают стрелы на карте, стрелы нашей судьбы, повидать не пришлось. Бывало, раздается по телефонам, когда уже стрелы нацелены: «Огурчиков тебе подбросят... Шестой тебе спичек передаст!..» Огурчики — это снаряды, спички — мы. Вот такая конспирация, куда уж немцу догадаться!.. И не раз после войны жалел я, что эту жизнь не видел, не знаю: не для понимания даже, чего уж не понять, для бытописания, без которого невозможна проза.

Покойный ныне Черноуцан под Сталинградом был близок к Жукову, в ту пору еще не маршалу, что-то он делал на штабной радиостанции. И после войны, по цеховской своей службе, встречался с ним. В одной из статей в «Литературной газете» он писал, что Жуков читал мою повесть «Пядь земли», сказал: «Эти ребята знают, с какого конца пушку заряжать». Да, науку «с какого конца пушку заряжать» я прошел в полной мере, а вот Жукова повидать не довелось.

Мог, хотел, да постеснялся. А теперь жалею. И никакие мемуары этого не заменят.

Было утро, я сидел, работал. Надо бы, конечно, в такое время выключать телефон, но мог позвонить внук, названный Юрой в память о моем брате, ныне уже – старший мой внук, он едва ли не с полутора лет научился набирать номер телефона.

Но позвонил не внук, раздался звонок из Союза писателей: «Сейчас с вами будет говорить Юрий Николаевич Верченко». Оказалось, завтра, в такой-то час – совещание в ЦК, мне надо быть. Что-то я слышал, будто Гришин собирается побеседовать, как говорят в таких случаях, в узком кругу. Мне любопытен был этот человек. Невыразительное его лицо выражало эпоху, и было интересно наблюдать, как ведут себя люди в его присутствии, театр и какой театр!

Еще памятна была позорная сцена по телевидению, когда к умирающему, задыхающемуся Черненко в больничную палату, декорированную так, будто дело не в больнице происходит, пришли вручать удостоверение депутата Верховного Совета РСФСР. Он уже был депутатом Союза, но по ритуалу, заведенному еще в сталинские времена, полагалось ему быть депутатом еще таких-то и таких-то советов, чтобы за него, как семь городов за Гомера в древности, чуть ли не сражались города и веси, оспаривая право наречь если не земляком, то хотя бы своим избранником. И его подняли с одра, надели брюки на тощие ноги, надели пиджак с тремя Золотыми Звездами Героя (последней Звездой он уже сам себя награждал), с депутатскими значками и лауреатской медалью – все это скоро разложат на алых траурных подушечках, а пока что оно висело, блестело на нем, – и зажужжали телевизионные камеры, засверкали блицы...

Вот передо мной фотография той поры: четверг, 28 февраля 1985 года, газета «Известия». Седой, с косыми скулами Черненко держится рукою слабой за спину кресла, ноги сами уже не держат его, а перед ним густоволосый партийный чиновник не говорит, прямо-таки поет поздравление. И Прокофьев, этот еще взберется по лестнице на самый верх московской партийной иерархии, а тут – относительно молод, востроносенький, губы поджал, в руках с подобострастием держит букет цветов, и почему-то в том букете калы белые, какими обычно невесту сопровождают. А из глубины снимка, как бы оставаясь в тени, Гришин наблюдает с благой улыбкой: его постановка, его дрессура.

Надо полагать, был во всем этом сокровище высший госу-

дарственный смысл: народу предъявили генсека, жив, прочна наша держава. И я слышал на следующий день в очереди, как люди впервые с сочувствием говорили о Черненко: «Надо же так над больным человеком надсмеяться!..»

А ведь легли бы карты по-иному, ну, например, не умри внезапно Устинов, тогдашний министр обороны, и у Гришина были шансы стать после Черненко во главе партии, над народом и страной. Были определенные шансы, хоть сам он впоследствии даже мысль такую опровергал. Но и в страшных снах ему не снилось, что через каких-то семь лет, лишенный даже персональной машины, ведомый под руку, придет он в районный отдел социального обеспечения, он, недавний хозяин Москвы, которому все на стол подавалось, и принесет, как рядовой пенсионер, справки, чтобы ему пересчитали и увеличили пенсию.

Бывал я в собесе, знаю, что это за учреждение. Инспекторша лет тридцати с небольшим, возможно, оттого и злая, что без кольца на руке, и это при ее-то плоти, когда джинсы на мощных бедрах едва сошлись, неведомо, как молния затянулась, не устаивая меня и взглядом, вновь отправляла за справками, и я собирал их три раза: сначала – за два последних года, потом – за пять предыдущих, а потом – за два года десятилетней давности с такого-то по такой-то месяц, да еще, еще разные справки. Но меня от волнений, от тех гневных речей, которые люди потом сами с собой наедине дома произносят – они-то и сжигают сердце, меня от этого любопытство хранило, мне интересны люди, получившие хоть малую власть над людьми, чем меньше человек сам по себе, тем власть для него сладостней. Я просто наблюдал ее. Вот она шла в кабинет, а за ней, как утята за тенью, целой очередью старики с вопросами. Не слышит, закрыла за собой дверь, отсекала. Вот вышла, опять к ней устремились было. Щелкнула замком, прошла, не отвечая. Учреждение это открывается в девять утра, а они, восьми еще не было, уже выстроились на улице в очередь под дверьми, каждый хочет раньше других попасть. Вот опять она идет, несет целлофановый мешочек с продуктами в холодильник. В четверть десятого приняла первого.

А в коридорах – волнение, толкотня, сидят, ожидая, стоят у стен, кому присесть негде, на больных ногах стоят старики, тычутся бестолково не в те двери, и в самом деле бестолковы они и некрасивы в старости их лица, старость не красит, а ведь я их молодыми помню, ну, не их, других таких же: «Гляжу на них, и вижу те года, где шли они во всей красе и силе, когда была Россия молода и судьбами ее

они вершили...» Это – Сергей Орлов, рано умер он, на фронте в танке горел, вернулся с войны инвалидом. А ровесники его, дожившие до пенсии, по старости, привыкли стоять в очередях, ими столько помыкали в благодарность за то, что родину спасли...

Но каково человеку, для которого, бывало, когда он в театр ехал, на площади Москвы все движение перекрывалось, каково ему прийти сюда, толкаться!.. Да ведь в лицо знают, узнают, каждому любопытно... Какую обиду, какую боль надо было в сердце своем запереть, смирить себя, решиться... «Гришин скончался 25 мая в возрасте 77 лет в Краснопресненском райсобесе, куда пришел переоформлять пенсию. На приеме у инспектора ему стало плохо, он потерял сознание и перестал дышать. «Скорая помощь» прибыла через 13 минут, но все, чем могла помочь, – это констатировать смерть от острой сердечной недостаточности. Гражданскую панихиду провели в ритуальном зале морга бывшей Центральной клинической больницы 4-го Главного управления при Минздраве СССР в Кунцево, на ней выступили дети Гришина».

Будущего своего людям знать не дано, и вновь и вновь я убеждаюсь: хорошо, что не дано.

А было ему, значит, тогда ровно семьдесят, когда позвонили мне утром, что надо, мол, ехать на совещание, и я так понял, что это он созывает. И хотя считалось подобное приглашение престижным, да и посмотреть хотелось, я прикинул мысленно: до автобуса идти – три километра, автобусом до Москвы – час, да по Москве, да возвращаться – вот день и пропал. А как раз работалось, жаль мне стало день терять. Я отказался: не могу, да и не на чем. Однако вскоре опять позвонили: за вами пришлют машину.

В нашем иерархическом обществе, где все регламентировано и каждому отмерено ровно столько, сколько полагается, ничего так просто не бывает. Мне бы догадаться, происходит нечто чрезвычайное. Но потому ли, что писал, мысль другим была занята, я как-то всю эту механику не сопоставил.

И даже на другой день, прибыв, пройдя проверку вниз, а потом еще и на пятом этаже, где два офицера КГБ вновь удостоверились, что я – это я и фамилия есть в списке, все еще я не понимал, где нахожусь, меня на этот этаж заветный, где судьбы репаются, никогда прежде не звали.

И вот – приемная. Уже несколько руководящих писателей здесь, и странное, общее для всех сдержанное сияние на лицах, предощущение чего-то. Чего? Разделенные в обыч-



ное время множеством незримых перегородок, они держатся здесь, «распри позабыв». Пройдет время, и тончайший знаток аппаратной жизни разъяснит мне эту мудрость: «В присутствии с а м о г о все равны. Но – до дверей. А вышел за двери, и опять каждый знай свое место». И уже в себе начинаю замечать здесь нечто подмывающее, словно бы в своих глазах расту: допущен, причислен... А я давно для себя решил: умею сохранять дистанцию. Иначе попадешь в стаю, а там закон один: лай, не лай, а хвостом виляй. И тот, кого признаешь над собой хозяином, тот тебя холопом и сочтет.

Вдруг мощной когортой вошли писатели – депутаты, как с боя, с заседания Верховного Совета, из Кремля, все в блеске лауреатских медалей и Золотых Звезд. Они еще дышали воздухом кремлевских залов, кремлевских коридоров, они внесли его с собой, и сразу будто светлей стало, сияния и блеска прибавилось, когда все они вот так вошли. Мог ли кто думать тогда, что этот Верховный Совет, куда назначали, – последний, а дальше... О том, что дальше, еще поговорим.

И вот когда вспоминаю и вижу, как они вошли, видится мне и другое, не мною испытанное: «Входя сквозь лагерные ворота, зэки, как воины с похода, – звонки, кованы, размашисты – пасторонись!» Несопоставимо? Несовместимо? Но так оно и совмещалось десятилетиями: одни – в царские врата, другие – в лагерные ворота. И немало было тех, кто из кремлевских палат – да на нары, и в холодных, голодных лагерных снах былое снилось в дымке золотой. На том и держались, чем выше горы, тем страшней бездны.

Наконец всех нас позвали в зал, и мы проходили, сопровождаемые прямо-таки родственными взглядами хорошо вышколенных мужчин, стоявших у дверей, чем-то незримо одинаковых, сидевших за столами при входе женщин в белых блузках. А я по первому своему жизненному опыту, по армии, по фронту усвоил прочно: когда ординарец встречает тебя глазами дяди родного, входи смело, от начальства беды не ждать.

Зал этот я видел прежде на фотографиях: и стол поперечный для президиума, и длинный стол торцом к нему, и столики у стен, до половины обшитых темным деревом, а сами стены выше дерева – белые. Открылась дверь боковая, не очень даже приметная на первый взгляд, из нее ход прямо в президиум. И вошли... Нет, не Гришин, его и подъезд, и этаж другой, и созывать к нему должен был не Верченко, а московский оргсекретарь, но все это, по незнанию иерар-

хии, я позже сообразил. Вошел Горбачев, за ним – Лигачев и Яковлев.

Горбачева вот так вблизи я видел впервые. Могу сказать: он был моложе. Нет, не на семь минувших лет, намного моложе он был тогда – и духом, и лицом. И весь дышал уверенностью, энергией и силой.

О чем он говорил на протяжении примерно так получаса? В дальнейшем я не раз это слышал и по телевизору, и при встречах, и многое из того – теми же словами, хотя время менялось, требовало уже других слов и дел, но тогда, впервые услышанное, поражало откровенностью. Ведь не на московской кухне, где за рюмкой водки и не такое говорят, а здесь, в святая святых власти, генеральный секретарь ЦК говорит, какой отдельный коммунизм построили для себя высшие и как народ живет, говорит убежденно, страстно. И не старческая слеза застилает взгляд, которая всей стране светила целых восемнадцать лет, а живой ум в глазах. И губы, произносящие слова, – свежие, твердые, еще не начавшие вянуть. Да и выговор его южный, близкий к воронежскому, приятен был мне на слух: «хфакт», «жисть»... Хотя и думалось не раз в дальнейшем: неужто он отвыкнуть не может, так уж непросто для него слово «жизнь»? Или и это – политика, вот так ненароком, незаметно подчеркивается народно-комбайнерское происхождение? Но это позднейшие наблюдения, а тогда он понравился мне, поверилось в него, мне давно хотелось верить.

Он говорил и отпивал изредка из стакана что-то молочного-кофейного на цвет, как бы и не смачивая губ. Многих, я знаю, интересовало впоследствии, что же это ему приносят, говорили, тонизирующее что-то, даже вопросы такие в печати я встречал. Но одна мелочь меня смутила: отопьет едва на треть, и входит официант – грудь белая, пиджак черный, под пиджаком мощные мышцы груди, спины, рук ощутимы на расстоянии, – входит, жестом фокусника сдергивает крахмальную салфетку, ставит новый стакан, а этот уносит под салфеткой. Но ставит ему одному, ни Яковлеву, ни Лигачеву не ставят ничего. И на наших на всех столах – блокноты с золотым грифом ЦК КПСС, замечательно отточенные карандаши.

В какой-то из своих вещей Солженицын возмущался задним числом, что и на фронте, где, казалось бы, перед смертью все равны, даже там было разделение: офицерам, в отличие от солдат, полагался дополнительный паек. Прочел я и поразился: неужели есть в чем каяться? Был я солдатом (в начале войны говорили не «солдат», а «боец»), видел не

раз, как для командира батареи повар из общего котла в отдельный котелок снимает «пробу»: сверху – пожирней, из глубины – погуще. Был офицером, командирам взвода, полагался мне дополнительный паек: банка рыбных консервов или сало, пачка печенья, полпачки легкого табаку... Но получать шел кто-нибудь из разведчиков и делилось поровну на всех, кто в этот момент находился со мной на передовом наблюдательном пункте в пехоте. Неужели ж в одном окопе сидим, а табачок врозь?

Вот этот персональный стакан из-под крахмальной салфетки отвлекал внимание, озадачивал меня. Думалось: ну, уж следующий раз, наверное, поставят всем троим. Нет.

В остальном же, повторяю, Горбачев понравился мне, говорил увлеченно, видно было, как мысль рождается. А еще не забылся анекдот про Леонида Ильича, как звонят в дверь, он надевает очки, достает записку из кармана, прочитывает: «Кто там?..» Да если бы анекдот!.. На встрече с французским президентом по бумажке читал свои ответы и громко спрашивал переводчика: а вот это, дальше, тоже читать?..

Закончил Горбачев вопросом: «С кем вы, мастера культуры?» Первым встал, а он первым и сидел, Георгий Мокеевич Марков, при жизни удостоенный памятника на родине и, как балерина Уланова, – двух Золотых Звезд Героя. Еще не так давно Брежнев всенародно целовал его в Кремле в обмен на Ленинскую литературную премию, которую Георгий Мокеевич самолично вручал ему, и в газетах и на многих фотостендах красовалось это торжественное целование. А еще помнят редактора издательства, как приезжал он из Сибири – не Брежнев, разумеется, Марков, – приезжал с бидончиком для масла, когда редактировали первый его роман. В том нет позора, некогда Сибирь вывозила масло за границу, что сделаешь, если дожили: из Сибири ездили за маслом в Москву. Просто хочу сказать, помнят его тихого, скромного, с бидончиком.

Или вот приезд Твардовского в Сибирь. Застолье. И заметил Александр Трифонович, что свою рюмку Марков не выпивает, а незаметно выливает под пальму, в кадку позади себя. (Он вообще не пил и никогда не летал самолетами, жизнь свою доверял только поезду и автомобилю, хотя статистика свидетельствует, что железнодорожные катастрофы и автотранспорт уносят куда больше человеческих жизней). Но Твардовский, находясь уже в подпитии, заметил и оскорбился: с ним пить не желают!.. И был человек там, который все это мне рассказал, тоже участвовал в застолье, он

будто бы и предрек: мы еще доживем до того времени, когда Марков станет во главе Союза писателей. Тогда ли было явлено пророчество или, как многие умные мысли, родилось задним числом, не поручусь.

Георгий Мокеевич Марков был идеальным руководителем брежневского царствования, время позвало его, и он пришел, и к нему «на ковер» являлись востребованные и Твардовский, и Солженицын. Осторожный, осмотнительный исполнитель высшей воли и сам – высшая воля на вверенном ему посту, он умело осуществлял главный принцип: не колыхай, доплывем. Куда доплывем – не обсуждалось, престарелое руководство полагало уверенно; на его век хватит, страна большая; еще и Ломоносов оставил заверение: богатства наши будут прирастать Сибирью.

Марков встал, говорил, как и положено здесь, тихим голосом, интонация, успокаивающая, благодатная, заверяла: он понимает, знает, одобряет заранее и не сомневается, что все останется по-прежнему. А уже ссутулилась его спина от возраста ли, от привычки ли держать себя принагнуто в присутствии высших руководителей, это не зазорно, в том – особое достоинство служилого человека: ты считаешь, тебя почитают... А видно было со стороны, видно, чего, возможно, он и сам не сознавал: минуло его время.

И Чаковский поднялся следом, опытнейший царедворец, он еще при Сталине прошел школу жизни. Как-то он сказал: «Знаете, почему Аджубей сгорел?» Я думал, тут все ясно: свергли тестя, пострадал и зять. «Не-ет! Он сгорел потому, что недооценил силу аппарата, привык все наверху решать. А я, когда иду на самый верх, я потом во все кабинеты спущусь, я и к инструктору зайду поговорить, он знает, откуда я иду, оценит, что я к нему зашел...» Тут я возьми и скажи: «Ну, ваша близость к Брежневу известна». – «Никакой близости особой у меня нет, слухи распускают!» – «А что вы так напугались?» – «Изучайте историю...» Тем удивительней, что на этой встрече он сразу захотел показать всем, что уже бывал здесь, успел заручиться поддержкой; может, потому, что опытен и умен, и знал, что умен, поскольку начал с первых же слов: «Прошлый раз, когда мы с вами, Михаил Сергеевич, беседовали здесь...» Позже обнаружится тактика Горбачева – ничью сторону не принимать явно, ни правых, ни левых, ни средних, оставлять себе простор для маневра. Но тогда это «мы с вами...» прозвучало, скажем так, неуместно, многие это заметили.

Мне ничего не было нужно, я делал главное дело своей жизни, пост какой-нибудь занимать или играть роль, ка-

кую мне поручат, нет, к этому я не стремился. Но поверил: вот человек, который действительно хочет изменить постыдную нашу жизнь. Я поднял руку, мне дали слово.

— Не знаю, Михаил Сергеевич, представляете ли вы, какую тяжесть на себя взваливаете. Плохо ли, хорошо, но люди привыкли так жить, знают, как быть в этой жизни, и для себя, для детей, для внуков продумали жизнь наперед. И вдруг все заново? На это надо решиться, поверить надо.

Ни имени моего, ни в лицо меня он не знал, но слушал, я видел, слушает. В высоком собрании не станешь говорить о мелочах, а как раз незадолго до этой встречи ездил я с плотниками на склад за досками, там разгрузили несколько платформ леса. По всему двору на штабелях отобранного леса, на досках сидели разомлевшие от жары бабы, накрывшись платками, стерегли: из-под них не вытащат. Мужья тем временем где-то добывали транспорт. Отобрали и мы. Два продавца в вельветовых джинсах, здоровые, как лоси, проходили, не замечая: обмеряют только на машинах. Но грузить на машины самим или нанять кого-то нельзя: три алкаша халтурят при складе, у одного из них левая рука сухая, висит плетью. И машины есть, трайлеры стоят за забором. Они — государственные, но шоферам позволено халтурить здесь, разумеется, не задаром. И вот как вся цепь выстраивалась: грузчики две трети отдают продавцам, соответственно отстегивает и шофер, потому продавцы в будний день в вельветовых джинсах. Отъехали мы километров десять, нагоняет милицейская машина, она заранее стерегла. И милиции отстегнули по таксе. Так это же — прообраз всего нашего государства, где каждая шестеренка смазана, потому только вращаются они, вся жизнь — по двойной бухгалтерии, кто ж откажется добровольно? Вот об этом я сказал. И еще — о законах.

В тот момент как раз вышли два закона: о развитии инициативы — один и о борьбе с нетрудовыми доходами — другой. Как два поезда пустили их навстречу друг другу. И было совершенно ясно, какой закон сразу примут к действию: тот, что призывал к борьбе, здесь все накатоно, механизм отлажен, сколько живем, столько боремся. И милиция, и прокуратура, и добровольные помощники — все сразу пришло в действие. В Москве милиционеры отбирали у старух пучки зелени, выращенные на грядках, нетрудовые их доходы. Только и слышалось: «Сыночки, сыночки!». Но сыночки суровы, они при исполнении, ногой опрокидывают ящик с товаром. А в Саратове партийная власть посадит пэтэушников на машины, железные прутья — в руки, и от-

правит громить помидорные теплицы пенсионеров, ветеранов войны. Все это легко было предвидеть, зная нашу жизнь. И я сказал на той встрече:

– Закон не должен рождать преступления, а получится вот что: на эту весну солдатские вдовы останутся с невспаханными огородами. Раньше тракторист за бутылку вспашет, а теперь бутылка – нетрудовой доход.

Горбачев перебил:

– Вот я им это на политбюро говорил.

– Но вы помните, Михаил Сергеевич, – сказал я, – меня на политбюро не было.

Они сидели так: Горбачев – посредине, Яковлев – по левую руку, Лигачев – по правую. Очень наглядная расстановка сил. И я попросил, обращаясь ко всем к троим:

– Нельзя допустить, чтобы от самых лучших намерений старые женщины остались с невспаханными огородами, я просто прошу, может, можно как-то через райкомы, что ли, подействовать...

Смешно, конечно: через райкомы. Когда свершаются космические перемены, до старух ли? Да они и привыкли – всю жизнь не до них.

Несколько дней спустя сидели мы с Расулом Гамзатовым в Доме литераторов за столиком, и он, уже рюмку подняв, сказал, как бы для себя что-то решая:

– Ты разговаривал с н и м, как равный с равным.

У меня не было таких намерений, и не об этом я думал. Но Расул полжизни провел в президиумах, ему видней. И хотя занимал он массу официальных и почетных постов, не растерял ни таланта, ни юмора. Когда родилась у него вторая дочь, снова – дочь, а был Расул в это время на сессии Верховного Совета в Москве, и ему позвонили поздравить, он закричал: «Куда смотрел обком!..»

Пройдет семь лет, и Михаил Сергеевич Горбачев, уже не генсек, не президент, а экс-президент, вернется из Соединенных Штатов Америки, где он читал лекции, где экс-президент Рейган принимал его на своем ранчо. Его обидит невнимание нашей прессы: «Я четырнадцать тысяч километров исколесил по Америке, десятки самых разных встреч... И всюду – внимание, тишина. Две недели вся американская пресса, все телекомпании освещали визит. Не может же быть так: их интересует одно, а нас это вообще не интересует».

А в нашей прессе в майский день, как раз когда он вернется на родину, будет напечатано в «Известиях» письмо из Донецка:

«16 января в 6 часов 30 минут умерла мама. Обегал 18

телефонных автоматов – все раскурочены. Лишь в медицинском институте от дежурной дозвонился до «скорой»: «Стариков в морг не берем. Обращайтесь в поликлинику».

Из регистратуры направили к терапевту. «Это не мое дело», – был ответ. Пошел ко второму, от него – по той же причине – к третьему, третий послал к руководству. Заместитель заведующей поликлиникой № 2 горбольницы № 3 Донецка отправила меня во ВТЭК, оттуда – опять к заведующей поликлиникой, которая поручила врачу Париге выдать справку о смерти матери.

Со справкой в руках пошел в городское похоронное бюро – заказать гроб, но это, оказывается, дефицит, хотя и стоит 1300 рублей\*. Потом отправился за свидетельством о смерти. В загсе минут через 20 после того, как я отдал справку, выяснилось, что врач неправильно списала из паспорта номер дома и поэтому документ мне выдать нельзя.

Расстояние от поликлиники до загса километра три, расположены они друг от друга так, что можно добраться только пешком, а мне 63 года. Пришел в поликлинику, там уже другая смена, врач Парига прием окончила. Никто и слушать не хочет. Побежал к заведующей: «Ничего не знаю, ищите врача, которая вам выдала справку». Со скандалом выписали справку без ошибок. За пятнадцать минут до закрытия загса получил свидетельство о смерти матери.

На следующий день пошел в Сбербанк поменять 800 рублей на купоны – надо было готовиться к поминкам, да и вырыть могилу стоит 1450 рублей в купонах. Не меняли, несмотря на свидетельство о смерти. Гроб сколотил ночью сам: доски подобрал рядом с домом, а ночью наломал из забора (когда к нам приезжал Горбачев, на проспекте Ильича сделали хороший забор, чтобы спрятать мусорники).

Утром соседи помогли обить гроб материей, помогли и похоронить. Хорошо еще, что место на кладбище в Макеевке было – рядом с отцом. А соседский парень похоронил мать в огороде».

У каждого, как видим, свои заботы.

\* Цены 1992 г.

## ПУТЬ КРЕМНИСТЫЙ

В сущности, я жил замечательной жизнью, только потеряв и оценишь. С утра я садился за стол и до обеда писал.

День – лучше, день – хуже, бывала и такая полоса, что казалось, ничего уже больше не получится, и жизнь теряла смысл. Вот в такую пору откроешь прошлую свою какую-нибудь книгу, хоть ту же «Пядь земли» – да неужели это я когда-то смог? Но если каждый день работать, не дожидаться вдохновения, вновь наступает просвет. Вот тогда перед обедом сам себя поздравил стопочкой: заслужил. И бережешь в себе это счастливое состояние, никогда не перечитывал на ночь написанное, вдруг то, чему радовался, окажется стыдно читать. И еще одно правило установилось само собой, просто из опыта пришло: до дна себя не вычерпывать, не дописывать сцену, чтобы с утра интересно было, тянуло к столу.

И вдруг мне предложили, а лучше сказать – предложено было поменять жизнь: стать редактором журнала.

Случилось это после VIII съезда писателей, он проходил парадно, все политбюро во главе с Горбачевым сидело в президиуме, мог ли кто думать в эту пору, что это – последний съезд? В величайшем по военной мощи государстве, огражденном ракетами, флотами воздушными, подводными, надводными, в величественном этом здании каждый камешек был камнем краеугольным, тронь, шевельни – и все здание посыплется. Знали об этом отцы перестройки, ведали? Или неведение давало решимость? Помню, один из них, человек умный, много повидавший, спросил меня вдруг: «Вы, писатели, кожей чувствуете. Ну как, получится у нас?» Именно этими словами вот так было спрошено, и сам вопрос меня удивил. Я ответил: «Если есть экономический план, получится, нет – растрясет телегу», – то есть сказал то, что само собой разумелось.

Было это зимой 85-86-го года, в ту пору Горбачев еще заявлял в интервью французам, что никакого сталинизма у нас не было, и при имени Сталина военачальники, а за ними и весь зал вставал и аплодировал. Было это за городом, на одной из тихих дач, где составлялись доклады, проекты, готовили решения и в комнатах-кельях писали, писали и днем и за полночь, а потом из частных сводилось нечто общее. Черная «Волга» (номер ее сообщен был мне заранее), вся такая чистая, обдугая, словно только что с конвейера,



привезла меня к сплошным железным воротам, ворота расступились, и въехали мы в совершенно иной мир, где зима мягче и снег чище: снег, сосны, воздух легкий, таким только дышать и дышать. И оглушающая тишина. А в самом здании, хорошо натопленном, со сверкающим паркетом, белоснежными горничными – холодноватый казенный уют. Дважды довелось мне там бывать.

И представилось как-то: вот приезжает САМ в огромной машине, охраняемый, предваряемый, и сразу все обретает смысл. Каждое слово и недомолвка, и умолчание, и жест отмечается, все ловят на лету: и в каком порядке сели за стол, с кем чаще говорил за ужином, кто не был приглашен – вся эта сложная, сложнейшая система знаков, в новом облике унаследованная от минувших столетий. Нет, не одни лишь судьбы страны решались здесь, судьбы народов и стран в конечном счете подвластны времени, но всякий раз на незримых весах колебалась и взвешивалась судьба каждого. А своя рубашка, что ни говори, ближе к телу. И вот, окруженному особым воздухом, читая все в подвластных глазах и в лицах, как не вознестись, как голове не закружиться? Некий правитель сказал: я не поддаюсь лести. Значит, вам плохо льстили.

Немногим позже я спросил у одного из близко стоявших к Горбачеву людей, мы с ним пили чай у меня дома, он любил крепко заваренный чай, спросил я, подсчитано ли, во что обойдется государству шумно начатая в ту пору борьба с алкоголизмом? Нет, сказал он. Я не поверил: не может быть! Не мы первые вводим сухой закон, есть мировой опыт, запретное пьют больше и растет преступность, богатеет мафия, одним словом, это именно тот случай, когда закон рождает преступление. Но он, хорошо знавший, как у нас принимают решения, весь этот механизм, спокойно покачал головой: нет, никто не считал.

И все-таки я не поверил. Нанести такой силы удар по собственным финансам изнутри да еще в момент, когда на мировых рынках катастрофически упала цена нефти... Кремлевские старцы, давно уже махнувшие рукой на будущее, – после нас хоть потоп! – только нефтедолларами и поддерживали уровень жизни, распродавали нефть, газ – достояние наших детей, внуков и правнуков, как промотавшиеся помещики, а везли из-за океана пароходами хлеб, тряпки, создавали видимость благополучия. И все равно денег не хватало. А когда нечем было платить зарплату, гнали в регион несколько эшелонов водки, она тут же раскупалась, вот вам – зарплата.

Все мы, конечно, умны задним числом, но это – не мысли за дверь, не сегодня мне это пришло, ребенку и тогда было ясно, что пить не перестанут по мановению, только деньги мимо государства к самогонщикам потекут. И будут самогонщиков вылавливать, будут покалеченные судьбы... Но человек этот, умудренный долгой аппаратной службой, с усмешкой поглядел на меня: говорю вам, никто не считал.

Мне почему-то всегда хочется верить в лучшее, а жизнь многому должна бы научить. Начавшиеся в стране перемены я принял с величайшей надеждой, не мог поверить, что делается это на ощупь: вот, мол, раскрутим маховик, а там пойдет, само пойдет... И вскоре на одном из почетных заседаний, куда приглашены были главные редакторы газет и журналов, Горбачев приводил уже первые вдохновляющие результаты антиалкогольной кампании: на восемьдесят с лишним тысяч меньше стало инфарктов, сердечных заболеваний... Я знаю, говорил он, в очередях за водкой меня ругают, пишут на стеклах «Миша, ты не прав!» – я все знаю, мне докладывают. Природный артистизм, желание нравиться воспринималось как искренность, и верилось, хотелось верить, мы ведь не избалованы, а еще и вечное наше российское: может в самом деле, так надо?

Интересные это были сидения. Ты входишь, многократно проверенный, оцупанный пристальными взглядами, поднимаешься на заветный пятый этаж, в святая святых, куда немногие допущены, и это тоже пьянит, чего уж скрывать, сам воздух здесь такой пьянящий. Как же им-то не пьянеть, небожителям, когда приближенные с придыханием говорят, с обожанием смотрят. А размеры кабинетов, а безграничность власти... Ох, какой это крепкий напиток, как тут голову трезвой сохранить?

У самых дверей в небольшой зал, где происходили эти совещания – Медведев, начальник личной охраны и Брежнева, и Черненко, а теперь и – Горбачева, тот самый, что потом в Форосе предаст; скромно стоит у окошка, всех знает в лицо. Ну и, разумеется, несколько охранников в штатском рассажены будут в зале. Тут же – непроницаемый Болдин в огромных очках сидит за поперечным столом, присутствует, как скромный приближенный, не более того; кто тогда подумать мог, что этот серый человек уже сосредотачивает, сосредоточит в своих руках безмерную власть, будет отцеживать, что нужно знать Горбачеву, а что ему знать не следует, сокровит это в своих сейфах. И пока генсек блистает в заграничных под ликующие крики: «Горби! Горби!..», он, Болдин, неприметный, держащийся всегда в тени, уже за-

ворачивает, завернет его как в кокон в нити заговора, а потом, решившись и страпась, явится вместе с несколькими заговорщиками принимать у Горбачева отречение от власти, диктовать условия... Но это все будет не скоро, пока что это не представимо.

Пока что мы входим, чувствуя себя облеченными особым доверием, рассаживаемся попарно, как ученики за партами, а все политбюро — лицом к нам. По пять, по шесть часов длятся совещания, и все это время молча сидят они позади главного стола, за которым — Горбачев, Лигачев, Яковлев, еще кто-нибудь, но и эти все, кроме него одного, молчат.

Маршал Язов, он обычно во втором ряду помещался, угреется там в шерстяном кителе, спину ему распарит, и задремывает, и задремлет, благо, глазки, в морщинах сокрытые, небольшие, только тогда и заметишь, когда уже голову на грудь уронил. Но однофамилец начальника охраны, Вадим Андреевич Медведев, бдит. Странное у него лицо, будто однажды оно уже меняло кожу, а эта как послеожоговая, но белая-белая, не загорает и летом. И на белом, невыразительном лице — темные очки слепца.

Каков человек на самом деле, что он из себя представляет, узнается не тогда, когда он посажен на высокий трон и начинают творить о нем легенды, и все зависимые склоняются и льстят, и он уже сам себя таким видит и жаждет лести, а она неутолима, отныне лесть — единственная правда, которую он способен воспринять. Сажал же Иван Грозный на царский трон вместо себя Саин Булата Бекбулатовича, предварительно сведя его с мусульманского удельного княжества и женив его на овдовевшей дочери князя Мстиславского. А сам, отрекшись в его пользу от престола, Иванец Московский, как повелел именовать себя, слал челобитные вчерашнему басурманину, которого окрестил, дав ему имя Симеон. Правда, там за шутковством дела шли серьезные, начинался новый раздел государства на земщину и опричнину, очередной «перебор людшек», и, как пишет историк, «покатились по дворам боярские головы». Так ведь не день, не месяц просидел на троне татарский хан, а около года.

Когда сегодня поражаются нелепости обвинений 37-го года, как, мол, верить было возможно, что этот безвинный — английский шпион, а этот сразу японский и польский, думаешь: хоть глазом загляните в историю, все это было, ничего нового не выдуманно. Архиепископа новгородского Леонида, которого Грозный царь, по одной версии, будто бы

зашил в медвежью шкуру, «медведно ошив, собаками за-  
травил», а по другой версии – уморил в погребке, посадив на  
хлеб да на воду, его ведь, Леонида, судили как еретика и  
государственного преступника: с двумя королями, шведским  
и польским поддерживал изменнические связи.

И вот вижу недавно: не в машине в огромной, а пешком  
идет к метро Вадим Андреевич Медведев, обычный совет-  
ский служащий и даже не столоначальник. Так ведь таким  
и был, хоть высоко сидел.

Мысль моя проста: не тогда познается истинное вели-  
чие, когда на человека прожектора нацелены, а когда он  
вот, как Андрей Дмитриевич Сахаров, лишен всего, кроме  
того единственного, что и Богу неподвластно: своей сущно-  
сти. Но Сахарова в этом президиуме «не сидело». А сидел  
там еще Никонов, если помните такого. Ведал он сельским  
хозяйством, поилец наш главный и кормилец.

А тут вроде бы не только указания дают, но и выслуши-  
вают.

Однажды я сказал, что запретами да запретами мы из  
пьянства не выберемся, не водка, так пиво хотя бы нужно,  
его вся Европа пьет, Япония... И вреда большого нет, и для  
государства доходно. А рядом с трибуной, с которой я это  
говорил, фактически над его головой говорил, сидел Лига-  
чев, отец борьбы с алкоголизмом, по его приказу купленные  
за валюту пивоваренные заводы переоборудовали под про-  
изводство безалкогольных напитков, да так переоборудова-  
ли с нашим старанием, что не вышло из ветлы ни оглобли  
ни метлы. Ну, да не свои деньги угрохали.

Однако я забежал далеко вперед. А тогда, попив крепко  
заваренного чайку, вышли мы во двор, и я спросил этого  
весьма близкого к Горбачеву человека: неужели не найдется  
кто-либо сказать Михаилу Сергеевичу, чтобы он не брал жену  
в поездки по стране? За границу – другое дело, там по про-  
токолу положено, но на Север, к нефтяникам, где бабы – в  
телогрейках, а она в парижском пальто от кутюр... И хоро-  
шо бы стояла незаметно, а то ведь в камеру обязательно  
норовит, и в микрофон что-нибудь скажет назидательное,  
свободно перебивает его.

Дома я не стал спрашивать: он был человек, воспитан-  
ный в недрах системы, осторожность впитал в плоть и кровь,  
а телефон, прослушивается он или не прослушивается, мы  
его при разговоре всегда чувствуем третьим-лишним. Мы  
стояли под навесом кинотеатра, но не с парадной стороны,  
где поток людей, а со двора, отделенные капелью, мелкий  
дождик моросил, ждали вызванную им машину, и вот тут я

спросил его. Он усмехнулся наивности вопроса: «Этого ему никто не решится сказать. Никогда!» И правда, если сам не видит, сказать не решатся: своя голова дороже. А люди включали телевизор, когда столь же подробно, как его встречи, показывали, что посетила она с сопровождавшими ее лицами, кого и как поучала.

Муж и государственный муж – не одно и то же. Никому нет дела до невидимых миру слез. Но что простительно в семье, не прощается на вершине государственного гранита. Да еще после деспотии Сталина, который, подобно Гитлеру, как бы и не знал иной жизни, кроме служения народу, такой лепили образ. А тут – парижские наряды, сменяющиеся на экране телевизора не по одному разу на день, и это смотрит беднеющая страна.

Плохо мы изучаем историю, а не грех бы заглядывать в нее хотя бы одним глазом. Ныне, когда собирались канонизировать последнего царя, предстают царь с царицей, как голубок с голубицей. А ее ведь многие в России ненавидели, считали немецкой шпионкой, виновницей поражений и бед. И все за то, что при слабовольном царе посягала править империей.

Однако вернемся к рассказу, к тому, с чего начато. Было лето 86-го года, закончился VIII съезд писателей, и Сергею Залыгину предложили стать редактором журнала «Новый мир», мне – редактором «Знамени».

Не стану скрывать, хотелось мне этого, но – в свое время, думалось даже: вот уж я тогда... Потому и хотелось, что мне это не угрожало. Ничего бы я в ту пору не сделал, а кончил бы ранним инфарктом или инсультом, пример тому – подвижническая судьба Твардовского. В истории отечественной словесности «Новый мир» Твардовского остался, но сам он ушел из жизни раньше срока, такой ценой это далось. А ведь официальное его положение, оно у нас прежде всего в расчет принимается, было прочным: и депутат Верховного Совета, и кандидат или даже член ЦК, и чуть ли не всеми наградами награжден, словом, отмечен властью, приближен и любим. Но быть любимым властью означает быть подвластным. Перед тобой раскрываются многие двери, тебе даже разрешают открывать их ногой, но связывают руки, таков закон.

Твардовский был не рядовой приближенный, от которого отбери его пост, и ничего не осталось. Он был именем своим огражден, его «Теркин» давно уже стал народным достоянием, это и правители уразумели. Но проявил непокорность, и на очередных выборах в Верховный Совет народ

узнал, что отныне его избранник не Твардовский, а Чаковский.

Для Солженицына, который ненавидел этот строй, точнее сказать, не столько строй жестокий, сколько его идеологию (скиньте с себя эту кровавую рубаху, писал он в письме к вождям), для него подобные звания и должности вроде бы не должны были иметь значения, у него их и не было, а чего нет, невозможно отобрать. Хотя, случись такое чудо, избрали бы его вдруг в Верховный Совет, не уверен я, что он в ту пору непременно бы отказался, он искал тогда трибуну, почему эту не использовать?

Но то, от чего сегодня многие отрекаются с легкостью и выгодой для себя, для Твардовского это было его убеждением. На пути к нему он через многое в жизни переступил. И теперь собственную плоть отрывал от себя. Я видел, как оскорблен, мало сказать – оскорблен, унижен был, когда по выделенной квоте вместо него «избрали» в Верховный Совет Чаковского.

Помню шестидесятилетие Александра Трифоновича. Раньше, когда ему полвека исполнилось, он отказался от пышного празднования в Колонном зале: дайте мне лучше квартиру, сказал он. И вот – шестьдесят. Уже известно было, что ему пожалуют или, как официально именовалось, «присвоят» звание Героя Социалистического труда. Быть может, странно теперь покажется, но ему хотелось этой звездочки. А ведь имя его само по себе было выше наград, он награждал народ своей поэзией.

Но перед самым юбилеем сажают в сумасшедший дом Жореса Медведева, он написал книгу о Лысенко. Многие хотели бы совершать смелые, честные поступки, но каждый раз обстоятельства мешают: у одного вопрос квартиры решается, у другого дочка в институт поступает... Твардовский сказал: «Если не я, то кто же? Если не теперь, то когда?» И вместе с Тендряковым поехал в сумасшедший дом к Жоресу Медведеву, начал борьбу за его освобождение.

Разумеется, такой предрезостный поступок власть не могла оставить без последствий. Мы с женой были приглашены на грустное его шестидесятилетие, справлялось оно за городом, на даче. Он, Мария Илларионовна радушно встречали гостей. У большого во всю террасу стола хлопотала, еще и еще поднося из кухни, Оля, младшая, особенно, как мне казалось, любимая, даже с какой-то болью любимая дочь. Однажды, в тяжком запое (по времени это совпало с очередным запрещением уже сданного в набор номера «Нового мира») пригрезилось Александру Трифоновичу, что Оля

умерла. И плача, он рассказывал об этом, и невозможно было его переубедить, пробиться в помраченное сознание, страшно представить, что он тогда въяве пережил.

Гости съезжались, уже было известно, что награда снижена до минимума: орден Трудового Красного Знамени. Ниже — только многоцветный, как мордовский сарафан, новоизобретенный орден «Дружбы народов», еще ниже, в самом уже низу — «Знак почета», прозванный «Веселые ребята». Орден не хватало, горстями для ублаговления швыряли их из Кремлевского окна в народ, измысливали новые: беря себе, надо было давать другим. Это про императора Павла сказал Карамзин: «Он отнял у казни стыд, а у награды честь». О чести говорить уже не приходилось, но унижить наградой могли.

Александр Трифонович, виду на подавая, шутил с гостями, но еще не переступил он в себе ту грань, за которой человек свободен. И за стол не садились, ждали Шауру, слух прошел, что выехал, едет, ему поручено поздравлять...

Шауро, прозванный великим немым, еще не так давно был завучем в школе, всего лишь. Звездный час его настал, когда в республику с визитом прибыл Подгорный, был такой у нас президент. Шауро, к тому времени уже занимавший какую-то должность в ЦК Белоруссии, сопровождал его в поездке, понравился и вскоре был вызван в Москву, посажен в отдел ЦК: оттуда, с вершины руководить культурой. Обходительный, голос тихий, манеры мягкие, глаза лживые, но глядит с такой искренностью, прямо из души — в душу. «Народу вера нужна, — внушал он мне однажды у себя в кабинете, когда я в очередной раз пришел к нему ходатайствовать за Быкова, которого травили в республике, а я по дурости предположил, что, будучи сам из Белоруссии, заступится Шауро за земляка, поможет. Но он всякий раз пропускал мимо ушей то, что говорю я, словно вовсе ничего не говорилось, и продолжал с той фразы, которой кончил. — Вера нужна народу. Вот веру литература и должна дать, в этом главная ее задача». По вере ли это была тоска или по страху, который долго держал народ в повиновении, не знаю. Но вот ленинградский партийный царь и бог Романов выражался ясней: «Надо, чтобы люди любили, не рассуждая».

А я смотрю, бывало, в лицо Шауры, и вижу деревянную лопату: раньше из липы резали прямоугольные деревянные лопаты — снег убирать, — чуть вогнутые с лицевой стороны. Желтое продолговатое лицо Шауры было точно как эта лопата. Но — с глазами. И вот его-то ждали к столу, не садились некоторое время.

Маршала Жукова, с которого опала не была снята, при-  
был поздравить с днем рождения, верней сказать, высочай-  
ше посетил министр обороны маршал Гречко, получивший  
маршальское звание из рук Брежнева после войны. Доло-  
жили: «Маршал Гречко!». «Генерал Гречко!» – не выйдя,  
отчеканил Жуков. – Маршала такого не знаю!» Скинувший  
уже было на руки адъютанту шинель, Гречко надел ее в  
рукава и отбыл.

Больно мне было в тот день за Твардовского, когда мы,  
виду не подавая, прогуливались по участку, занимали себя  
разговорами. Трудно отрывал он от себя привычное прошлое.  
Но отрывал. А только тот и заслуживает уважения, кто себе  
в ущерб поступает по долгу и совести.

Когда летом 86-го года предложили мне стать редакто-  
ром журнала, я и этот юбилей вспомнил печальный: а не  
наденут ли на меня седло, не затянут ли подруги так, что  
и не вздохнешь? Первая, главная несвобода человека – дети.  
Много ли найдется таких, кто бы детьми пожертвовал, что-  
бы мысль свою доказать? Но кто и на это пойдет, страшный  
человек. А другая несвобода – дело, тут ты опять же не себе  
принадлежишь. Меня отговаривали дома: ради чего весь  
уклад жизни менять?

В пьесе «Пристегните ремни!», написанной мною вместе  
с Юрием Петровичем Любимовым, была реплика, которая  
всякий раз почему-то шла под смех и аплодисменты зала:  
«Самые опасные те люди, кому ничего не нужно. Каждому  
человеку должно быть чего-то нужно: кто квартиру просит,  
кому должность нужна... Это хорошо, это по-нашему, пус-  
кай. И после смерти человеку все равно чего-то нужно: где  
похоронят? какая пенсия семье? А вот те, кому ничего не  
надо, они-то и есть самые опасные, от них чего угодно жди!»

Рассказывали, в Ленинградский обком партии пригля-  
дели с завода толкового инженера: дряхлеющему телу тре-  
бовалось вливание свежей крови. Поработал немного, пред-  
ложили ему квартиру. «Спасибо, у меня есть». Предложили  
со временем дачу. «Спасибо, у меня хоть плоховькая, но  
своя, сам строил». И пришлось от него избавляться, рядом с  
ним другие неуютно начинали себя чувствовать.

Вот и мне, серьезно говоря, ничего не было нужно, жил  
я не дарованным, а заработанным. Но на журнал «Знамя»  
мощно рвались четверо. Одного подпирал Московский ко-  
митет партии, членом бюро которого он состоял. Другого  
двигало Главное политическое управление армии, немалая  
сила, надо сказать. Третий претендент сам сидел в деков-  
ском кресле: зав. сектором. Четвертый же по обыкновению



своему должность бы взял, возглавил почетно, а работать за себя посадил бы кого-нибудь.

Есть у Достоевского мысль про ошибки ума и ошибки сердца. «Недоумения ума, — писал он, — исчезают скорее и бесследнее, но ошибки сердца — это уже дух зараженный, это такая степень слепоты, для которой факты ничего не значат, она и факты перерабатывает на свой лад».

Этих четверых я хорошо знал: и дела их и лица. Вглядывайтесь в лица. Слова могут лгать, по лицам читается многое. И вот им отдать журнал?.. Виктор Астафьев, узнав, что я стал редактором, писал мне в дальнешем: «На это можно решиться только ради литературы».

Началась моя редакторская жизнь звонком инструктора ЦК: «К нам тут обратился автор... Вы прочитайте ее роман доброжелательным свежим глазом. Роман на важную тему...» Автор этот — пожилая накрашенная графоманка в мужской шляпе — уже успела побывать у меня, совала на стол свое изделие весом в пять-шесть килограммов. При двух прежних редакторах ей отказали, истратив на рецензии полтысячи. У меня лишних денег нет, сказал я инструктору. Ну вы найдете!.. Тон барственный, сверху — вниз, сказано так, что обсуждению не подлежит. Вот она, первая проба сил.

— Где это я найду? Я свою первую зарплату отдал на Чернобыль. Давайте из вашей зарплаты две с половиной сотни, пошлем на рецензию, не жаль.

Инструктора этого я немного знал: пожилой, седой, приличного вида. До войны кончил ИФЛИ, славившийся в то время институтом истории, философии и литературы. На втором курсе философского факультета учился там мой двоюродный брат Юра Зелкинд, погибший под Харьковом в срок втором году, погнали их в то бессмысленное, по сталинской воле предпринятое наступление, которое и открыло немцам ворота на Сталинград. ИФЛИ заканчивал Твардовский, гордился этим. И вот еще один ифлиец... Ему по его сединам не расти уже, не продвигаться вверх, его путь — с горочки, к пенсии, но — служит ревностно, пенсии тоже бывают разные. Я сказал: «У меня была намечена встреча с вами. Теперь я вынужден ее отложить». — «Нет, нам надо встретиться!» — всполошился он. В обязанности его входило «курировать» наш журнал, разузнавать, докладывать. И он приехал. Я поручил второму заместителю принять его и разговаривать. И все было хорошо, да мысленно я не один день с ним разговаривал: это же как надо пасть, старый человек... Не скоро научился я не пропускать все через сердце. Да и научился ли?

А тут второй звонок подоспел: бывший, как он представился, заведующий отделом черной металлургии ЦК персональный пенсионер такой-то. Очень приятно. Как раз шла редколлегия, говорил я при открытых дверях. Он начал с напором: известно ли мне, что роман Александра Бека, который мы хотим печатать, запрещен? Известно. А известно ли, что именно он и Шауро, два заведующих отделами, запретили роман? И это известно.

Мой приятель, служивший во время войны в разведотделе штаба армии, сказал: «Вам надо было сразу же спросить номер его пенсионной книжки». — «Зачем?» — «Тон сбить. Мол, обождите, обождите, я номер запишу...» Но я в разведотделе не служил, а тон был именно такой, каким этот бывший привык разговаривать с подчиненными: «Подготовленную к печати рукопись я требую прислать мне для ознакомления!» Ничего уже требовать он не имел права, но права не дают, права берут, он знал, сколько повсюду в креслах сидит его бывших коллег и единоверцев, им стоит кнопку нажать...

Набравшись терпения, я объяснял, что есть авторское право, что никому без согласия автора редакция не имеет права давать рукопись. Кстати, знает ли он, что роман уже издан в Италии? «Как издан? Кто передал?» Он буквально вскричал. И, действительно, они с Шаурой запретили, а в Италии ослушались, издали книгу. Я не мог отказать себе в удовольствии: «Это вас с Шаурой надо спросить, кто? Вы, читали, размножали, давали на прочтение... Вас и надо спросить: кто?»

Александр Альфредович Бек, рослый, крупный мужчина, когда умирал от рака, весил сорок два килограмма. Уже перед самой смертью доставили из Италии изданную там его книгу, умирая, он подержал ее в руках. Василий Гроссман и этой горькой радости был лишен: отсюда, из «Знамени», его роман «Жизнь и судьба» передали в ЦК, в КГБ, и серый кардинал Суслов, полагавший, что история тоже ему подвластна, предрек: и через двести лет книга эта не будет издана. И вот я разговариваю с одним из прежних душещипателей, он уже на пенсии, доживает свой век, но страсть к убийству не остыла в нем, звонит в журнал, требует...

Однако всех последствий я, конечно, предвидеть не мог, обвал писем обрушился на меня. А звонки телефонные, руководящие...

Первым яростное письмо на четырнадцать страницах, в котором А. Бека именовал он уголовником, прислал сын Тевосяна. Был такой сталинский министр Тевосян, талант-

ливый исполнитель, предавший в свое время Орджоникидзе, себя, свой талант. Он и был главный персонаж романа. И хотя фамилия его в романе – Онуфриев, и хотя подлинный Тевосян тоже действует в романе, никого это не обманывало.

Простить себе не могу, что по неопытности не сохранил тогда и это письмо, и все, что к нему было приложено. А приложено было много интересного. И жалоба жены Тевосяна Косыгину с просьбой запретить роман. Как же Косыгин мог отказать ей в такой просьбе, когда они с Тевосяном из одного гнезда?

Нам только кажется, что мы изобрели что-то новое, что наша жизнь строится на иных принципах, чем сто, тысячу лет назад. Есть основы, которые не меняются, как бы ни назывался строй. И я опять вернусь к любимому мной Толстому, на этот раз к «Анне Карениной»: «Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьевича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья – были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного были все ему приятели и не могли обойти своего...»

Половина Москвы и Ленинграда (так тогда назывался Петербург) не были родней Тевосяну и не знали его в «рубашечке», он родился в Нагорном Карабахе, но тем не менее, он был своим среди своих. То, что раньше складывалось столетиями, после революции стремительно создавалось в считанные годы, новые властители жизни, сильные мира сего, номенклатура, хотя периодически они и уничтожали друг друга, были, тем не менее, спаяны как никогда, и дать в обиду одного – значило подорвать устои. Косыгин наложил запрет. А когда срок запрета истекал, жена Тевосяна обратилась к Брежневу. И запрет был продлен.

Теперь с этим же сын обращался к Горбачеву: «Многоуважаемый Михаил Сергеевич!..» И были еще письма Лигачеву, в отделы ЦК. А оттуда пересылалось мне в особых конвертах с черной прокладкой изнутри, чтобы на просвет ничего невозможно было прочесть любопытному глазу. Случалось, фельдъегерь привозил. И – неременное требование: ответить автору, копию ответа – к ним, «наверх». Но «авторов» – целая рать. Писали на бланках: бывший министр... бывший замминистра... академик... член-корреспондент... На одном письме в столбик над текстом – пятнадцать бывших и ныне действующих должностных лиц.

И вот вместо того, чтобы писать свою книгу, я отвечал им. А потом пришла простая мысль: да что я, крепостной? Мне жизни на это не хватит. И я перестал отвечать: куда обращаются, оттуда пусть и отвечают. Просто взял и перестал отвечать. И ничего не случилось, земля не сотряслась. А директивные письма все шли... Мы и роман уже напечатали, а они в поздний след все требовали запретить его, наказать, привлечь.

Еще это дело не завершилось, как – новая напасть, вовсе для меня неожиданная. В Москве был сентябрь, за окнами редакции на Тверском бульваре – жесткая пыльная листва на деревьях, уже чувствовалось, скоро ей опадать. А на Черном море как раз начинался бархатный сезон. И вот, прилетевший оттуда, овеянный морскими ветрами, озолоченный пляжным загаром, входит ко мне в кабинет человек приятной внешности, и во взгляде, и в голосе, и в пожатии смуглой руки – особая, прямо-таки притягивающая мягкость. На нем по московской погоде легкое заграничное пальто цвета курочки-рябы, мягчайшее не яркое, но оттеняющее кашне, ничего броского, все дорогое, а я уже знаю, кто это, телефонный разговор с ним у меня был: зять Андрея Андреевича Громыко. Он достает визитную карточку, шикарная визитная карточка и ранг – дай Бог памяти – то ли посланника, то ли уже посла, иными словами, как говорят в их среде, упакован на всю жизнь. Небрежно, как ничего не стоящую тряпку, сбрасывает пальто на спинку кресла, но падает оно как козырная карта картинкой вверх: на шелковой подкладке фирменная этикетка – золото, пурпур, гербы с коронами – Париж? Лондон? Брюссель?

Он явился ко мне за ответом, позавчера прилетел оттуда, с моря Черного, а завтра возвращается на пляж, и должен привезти ответ Андрею Андреевичу Громыко. В журнале, еще до моего прихода, запущен был и печатался роман известного автора. И была там глава: наш разведчик, сидя в кабаке одной из стран Латинской Америки, читает в газете речь Громыко на Генеральной Ассамблее ООН. И вся эта скучнейшая, напечатанная во всех газетах, длиннейшая речь, смысл которой сводился к единственному слову «Нет!» целиком вставлена в роман. Автора устыдили, он вроде бы устыдился, забрал главу, но летом, оказавшись на пляже рядом с Громыко, будучи допущен поплавать рядом с ним, пожаловался, что вот он, мол, написал об Андрее Андреевиче, а из журнала изымают. Громыко выразил неудовольствие, и в Москву прибыл зять.

Мне тоже, если признаться, приходилось купаться с Гро-

мыко в Черном море: он – в Крыму, я – на Кавказе, но, может быть, та волна, что его ласкала, достигала и меня. Однако видеть Громыко вблизи, не таким, каким представлял он перед членами Генеральной Ассамблеи ООН, а выходящим из пены морской в одних плавках на старческом теле – избави Бог, я никогда не стремился быть прикосновенным к государственным тайнам.

И вот мы сидим с его зятем и решается вопрос: будет ли возвращена в роман речь Андрея Андреевича? Конечно, будет, вчера еще мы это решили между собой: и одна и две, и три таких речи ухудшить роман не могли; я не читал и читать не буду, но те, кто читал и редактировал, заверили меня. А главное, зачем журналу на самых первых порах обретать такого, мягко скажем, недоброжелателя? Громыко – член политбюро, Председатель Президиума Верховного Совета, на дворе только еще 86-й год, телефонное право в самом расцвете, ему бровью стоит повести, и надолго испортят нам жизнь, словом, игра не стоит свеч. Но мне интересно другое: неужели стыд не дым? Или там, на хладных вершинах, такого понятия вообще не существует? А ведь достигнуто в жизни все, достиг и того, что в радужных снах не снилось: «...с ключом и сыну ключ сумел доставить... пережил детей, внучат...», зять уже в ранге посла или посланника, но, оказывается, еще и вот это потребовалось, не упускают ничего. Я знал, редактору другого журнала, где было только упоминание о Громыко (кстати, в произведении того же автора), Андрей Андреевич по простому городскому телефону лично звонил и выражал благодарность.

– Главу мы напечатаем, – говорю я. – Но надо, чтобы Андрей Андреевич лично завизировал. Такое лицо!.. Тут каждое слово имеет особый смысл...

Зять мягко перебивает меня: в их семье я, оказывается, – любимый писатель, Андрей Андреевич очень любит мою повесть... И он без запятой, совершенно правильно произносит название.

Быть любимым в такой семье – да ведь это какие радужные открываются перспективы! Захоти я завтра, допустим, полететь на Мадагаскар, и посол будет меня встречать там. Нет, что ни говори, а интересное занятие – жить на белом свете.

– Но без визы – совершенно невозможно. Вдруг – неточность, запятая какая-нибудь исказит смысл... Помните: казнить нельзя помиловать...

Знаю я, знаю заранее: визировать он не будет, не станет оставлять следы. Все должно делаться устно. Да и не нужно

мне никакой визы, дурака валяю, интересно в глаза поглядеть. И вдруг находится решение: да ведь можно сличить с газетным текстом! Вот как непросто простые мысли приходят в голову.

Мы прощаемся, я облаская почти родственным взглядом маслянистых глаз. Мягкое пожатие загорелой на южном солнце руки. Я слышал, дипломаты проходят сложнейшую науку этикета. Но вот мужчина пожимает руку. По руке его, по тому, как он жмет, многое про него узнается. Интересно, это им объясняют?

Пройдет не так уж много времени, и Громыко, председательствующий на утреннем заседании XIX партийной конференции, предоставит мне слово, и я, стоя на трибуне (а он несколько выше позади меня сидел) скажу, что те, кто послал наших мальчиков в Афганистан, виновники этого должны быть известны поименно. А он-то и был одним из тех, кто принимал это преступное решение. И определенная часть зала будет топтать и хлопать, сгоняя меня с трибуны, но я скажу пятитысячному залу: «Вы не волнуйтесь, я выстою здесь, выстою».

Но и это все еще — впереди. А пока что мне предстояла встреча с цензурой.

## НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ

Какие цензоры бывали в России! Не всех подряд, но вспомним: цензором был Иван Александрович Гончаров. А Никитенко. Его дневники – это пища уму. Вот он писал: «Мнение или идея, старающаяся поглотить все другие и присвоить себе господство над умами, мне так же противна, как власть, которая хочет подклонить под свое иго всех людей с их действиями и правами». Он, государственный чиновник, писал: «...у чиновников есть начальство, а нет отечества». Или: «Чиновник считает канцелярию или департамент своим отечеством». А еще вот это он, цензор, пишет: «В продолжении моей жизни я видел много запретительных мер против печати, но ни одна не достигла своей цели, то есть не остановила потока мыслей, а только извращала его и заставляла уходить вглубь, чтобы затем вырваться из-под земли уже бурливым ключом в каком-нибудь темном углу.

Но да не смущается сердце ваше: верьте в живучесть и производительную силу мысли, а если бы не так, то деспоты и невежды всякого рода давно бы погасили ее».

Ну, а вот это не сегодня ли писалось: «Массы могут быть проводниками свободы, но не могут быть хранителями ее. Да и проводниками они бывают наподобие судоходных каналов, которые несут грузы от места к месту, но не знают, какие это грузы и из чего они состоят. Потому-то на массы, или на демократию, могут с равной для себя выгодой опираться самый суровый деспотизм и самый крайний либерализм».

Но одновременно и это сказано им: «В политической будущности России я не отчаиваюсь, потому что народ есть все-таки сила, но я отчаиваюсь в том, чтобы в России установилась когда-нибудь хорошая администрация... чрезвычайная редкость найти в истории государя, который бы добровольно захотел подчинить свою волю законам».

И вот все это понимая и записывая, он, тем не менее, был цензором. Почему? Да потому, наверное... Впрочем, еще раз процитирую его самого: «...нетрудно мужествовать со ста двадцатью тысячами дохода и когда знаешь, что в нынешнее царствование тебя за то ни в крепость не посадят, ни в Сибирь не сошлют».

Так будем хотя бы заочно снисходительны к нашим все нищим цензорам, в страхе воспитанным, в страхе пребывавшим всю свою жизнь. Много я от них натерпелся, ка-

жду мою книгу пытались они искалечить и калечили, но для того они и выставлены были против нас, заградотряд мирного времени. А впрочем, кто заставлял их влезать в эту подлую шкуру, где дня без лжи не прожить, где ложь становится твоей сущностью?

Вот так однажды должна была идти в театре имени Вахтангова моя пьеса, уже принятая художественным советом, уже журнал «Театр» печатал ее в пятом, майском номере. И вдруг, как после я узнал, вызывают редактора Министерства культуры (а там тоже она одобрена) в цензуру и говорят ему: «Что тут, мы до конца понять не можем, но чувствуем: тут что-то есть». И с тем дают ему пьесу под мышку, и он уходит.

А в Москве – апрель, тает, солнце жаркое, и вот, размеренный солнцем, благополучный, вхожу я в редакцию журнала «Театр», зачем-то мне верстка пьесы понадобилась. Обычно автора, чья вещь печатается, встречают как родного, а тут вижу – шарахаются от меня. Что такое? Никто ничего не говорит, каждый стремится исчезнуть. И уж редакторша моя – «Только на меня не ссылайтесь, я не имею права!» – сказала потаенно: цензура запретила, пьеса вынута из номера, срочно заменили другой...

И вот предстоит мне уже в ином качестве встретиться с цензурой: в двенадцатом номере «Знамени» все за тот же 86-й год запретили очерк Елены Ржевской о маршале Жукове.

Ржевская была на фронте переводчицей в штабе армии, которая брала Берлин. И в ночь, когда закончилась война и гремели салюты и пили и плакали от радости, Лена держала под мышкой парфюмерную коробку, в которой была челюсть Гитлера, по этой челюсти, по ее строению, по всем ее пломба и мостам личный врач засвидетельствовал, кому она принадлежит, чей обгорелый труп найден.

Долгое время это держалось в тайне. Уже и труп Гитлера привезли в Москву, есть у меня фотография: над ним, лежащим на столе, – люди в белых халатах. А может, это и не он, кто их разберет со всеми их тайнами. Для меня и Гитлер, и труп его – падаль, но преврати его в сувениры, выставь на аукцион по костям, так ведь безумные деньги будут платить: шутка сказать, кость такого злодея у меня хранится, гостям показать, дать потрогать... И хоть Сталин знал все документально, до конца дней ему все мерещилось, что Гитлер жив, где-то скрывается.

Но умер Сталин, прошли годы, Елена Ржевская смогла опубликовать книгу, в которой рассказано, как и где их



разведгруппа нашла обгорелый труп, что показал врач на допросе. Маршал Жуков прочел, и для него это, по меньшей мере, был удар по самолюбию. Он, командующий фронтом, которому все подчинено, ничего не знал, в тайне от него по приказу Сталина совсем другое ведомство ведет розыск, и он узнает обо всем из книги, годы спустя после войны. Он позвонил Ржевской, пригласил к себе; был он тогда в опале, не у дел. Об этом дне у маршала Жукова с большим тактом, глубоко и сердечно написала Ржевская, сохранив и дистанцию и достоинство. И этот очерк запрещен. И в редакции ждут: что я решу? Это проба сил, очередная проба сил.

Ох, не хотелось мне ехать в цензуру, как не хотелось! Я и всегда-то обходил ее, как грязное место. Многие именитые писатели, трибуны и громовержды заводили с цензорами негласные папши, старались ублажить сами или через опытнейших жен, меня от этого Бог хранил. А вот теперь придется. А если и дальше так день за днем и одно за другим будет на тебя валиться, зачем мне? И что это за жизнь?

Считается, чтобы писать, нужны особые условия, определенное место, тот же вид перед глазами... Нужно, чтобы душа была спокойна. Под Новый год стоял я в очереди за подарком, за духами жене, очередь была долгая, но ничуть мне это не мешало, потому что мысленно я писал в это время письмо к матери, письмо мальчика, воина, героя моей книги. Я ничего не знал, что будет с ним дальше, обычно все-таки знаешь наперед, а тут я не знал его судьбы, как сам он ее не знает. Утром — бой, предощущение боя, а жив ли он останется — откуда знать ему? Но и это не главное. А главное, что любим не он, вот самое главное и больное. Только что видел он человека, которого любит Рита, он видел его своими и видел ее глазами, и понял ясно: ему нет места в ее сердце. Была ли это влюбленность, любовь? Когда из всей жизни тебе остались не дни даже, а часы, чувства обостряются, и неизвестно, что сильнее: любовь или потребность быть любимым. И он вернулся к себе в землянку, шел один под южным звездным небом, и мысленно слагалось письмо к матери перед боем, конечно, он не отправит письмо, но кому же еще, как не матери, осталось сказать: «Родная моя!»

Наверное, в магазине было душно, женщины расстегивали шубы, скидывали на плечи платки, а у меня мурашки шли по щекам, когда он, то есть — я, в этот момент я был им, так его чувствовал, мысленно говорил то, что написать ему было не суждено.

Что мы знаем о тех письмах ненаписанных, о мыслях

невьсказанных? Вместе с мальчиками ушли они в бой, и нет их, растаяли, как пар на восходе солнца. И, отстояв очередь, я шел домой счастливый, спешил все это еще раз пережить и записать. Да, это было счастье.

А вот сейчас надо было ехать в цензуру. Я сидел, думал, собирался, пока не разозлил себя. Тогда я снял трубку телефона, позвонил начальнику Главлита (так называлась наша цензура), и в этот момент, когда звонил, я сознавал себя имеющим право; нельзя начинать дело, если не уверен, это чувствуется, передается. Я сказал, что нам надо познакомиться, второй зам. присутствовал при этом разговоре. Как можно было ожидать, начальник Главлита уезжал в командировку, завтра он как раз уезжает в Чехословакию. Руководство у нас все время уезжает, словно все наши дела не здесь, а там, за границей, и чем выше ранг, тем — дальше, преимущественно в страны со свободно конвертируемой валютой.

— Я могу приехать сегодня. Назначьте час.

По всем аппаратным правилам игры, ему проще всего было переложить на заместителя, он понимал, зачем я еду: начальник добр, он ничего не запрещает, но зам. свиреп, обычный расклад карт. Просчитал ли он что-то в уме, но, поколебавшись, назначил время.

И вот впервые я подъезжаю к этому зданию в Китайском проезде, где на последнем этаже — система пропусков и все такое прочее. В кабинете начальника Главлита Болдырева уже сидят двое: его заместитель и цензорша. Но не та, что приставлена к нашему журналу, та мала для такого разговора, а рангом повыше. И весь исчерканный красными и синими карандашами очерк Ржевской на столе. Подготовились. И сценарий, надо полагать, расписан, роли распределены. А мне за недостатком опыта придется, как плотники говорят, «по месту» решать, как обстоятельства сложатся.

Но подали чай (хороший знак!), подали печенье в вазочке. У нас все — по рангу: кого — к пустому столу, кому подать чай и с чем.

Однако, разминка закончена, действие началось. Не помню уже фамилий тех двоих, кого спустили на меня. Вот так же, когда Любимов ставил нашу с ним пьесу «Пристегните ремни!», спущена была на нас свора испытанных бойцов.

Да, повторяю, надо быть снисходительным к нашим цензорам, воспитанным в страхе, служба у них тяжелая. Но это — на отдалении, когда не соприкасаешься, не видишь их лиц. Как они меня рвали с двух боков, как зажигались друг от друга! Еще она не кончила, он нетерпением горит. И какой гнев благородный, как искренни оба.

— Вы посмотрите, как она Сталина подает!

Не забудем — восемьдесят шестой год, о гласности, по сути дела, и речи нет. После Хрущева, который приказал вынести Сталина из мавзолея и сжечь, но и сам, испугавшись под конец своей смелости, заявил, что во всем он — ленинец, а в том, что касается литературы, — сталинец, после него — восемнадцать лет брежневского царствования, и Сталину уже установлен памятник у кремлевской стены. Помыслить тогда было невозможно, что мальчишка-пэтэушник специально приедет в Москву, перелезет через ограду и стальным прутом отобьет каменному Сталину нос и не будет за это судим. Впрочем, нос уже восстановлен.

— Вы — фронтовик! С именем Сталина мы шли в атаку!

Это они-то шли? Он шел? Но я киваю глубокомысленно, я как бы соглашаюсь с правомерностью подобных чувств. Мне важно понять, на испуг берут или у них такой пункт в инструкции восстановлен. А может, он и не исчезал? Тогда они стеною каменной ограждены. Я отхлебываю чай, и вспоминается мне вдруг фраза чеховской госпожи Мерчуткиной: «Нынче кофий пила без всякого удовольствия...» Без удовольствия, без удовольствия... Но на душе все же легче: слишком уж гневливы, сильному достаточно тихо сказать.

— А Жуков как у нее представлен! Человек, имя которого войдет в историю, приглашает ее приехать к нему, а у нее, видите ли, путевка в санаторий, она не торопится. Да кто она в сравнении с ним!

И ведь — искренни, вот что самое интересное — искренни!

Имя опального маршала Жукова они вымарывали отовсюду, упоминания о нем не допускали, и они же теперь готовы за него жизнь положить. Это даже не ложь, это высшее нечто. Когда самим себе отвыкают говорить правду, нет страшней такой лжи. И для таких людей нет ничего святого.

Я понял, вот он момент, когда надо встать да воспылать гневом праведным: а вам какое дело, поехала она в санаторий или не поехала? Это что, тоже входит в обязанности цензуры? Да выйти, да дверью хлопнуть. Пусть посидят да поглядят друг на друга, знают, что перебрали. Я бы это сыграл, это бы я смог. До войны, в Воронежском авиатехникуме, где я год учился на втором курсе самолетно-монтажного отделения, прежде чем пойти на фронт, я за исполнение монолога Скупого рыцаря получил первую премию, тогдашних пятьдесят рублей, а стипендия была — семьдесят пять. Но не так даже деньгам я обрадовался, хотя они были нужны, мне надо было злейшего врага моего, Володьку Ки-

селева одолеть. Он был на четыре года старше, ходил в драмкружок, жаждал первой премии, а я вырвал ее у него.

Но вот я хлопну дверью, а они вдруг не испугаются. Перезвонятся с кем следует и пока что не будут подписывать номер в печать, им торопиться некуда. Завтра сядет он в самолет, рейс Москва – Прага, и засвистят турбины...

За каждым из них, за всей этой организацией такой многолетний опыт безнаказанности! Еще никого у нас не наказали за то, что книгу удушил, а вместе с нею и автора утопил, как младенца в ванночке. Но вот если не то слово пропустил, недовольство «наверху» вызвал, конец карьеры. Нет, мне надо, чтобы подписали номер в печать, мне штамп нужен, я не имею права не сдержаться.

С тех пор, как я стал редактором журнала и притерпелся к этой мысли, я чувствую, будто несю корзину с яйцами, не переколотить бы их. На встрече нашего журнала с читателями в библиотеке имени Ленина (ныне – Государственная Российская библиотека), я даже заслужил упрек от микрофона из зала: в журнале вы смелей, чем отвечаете на вопросы. Милая, похорошевшая от волнения женщина требовала, чтобы общество выявило и покарало тех, кто так или иначе способствовал всем нашим бедам, всех покарать. А я сказал, что нельзя этого делать, иначе на каждой лестничной площадке люди окажутся врагами друг другу. И все силы общества уйдут на эту борьбу, и ничего мы не сделаем. Нельзя, чтобы волна смывала волну, иначе конца этому не будет. Она упрекнула меня в робости. Не очень это приятно, однако переживем, есть ради чего. Я не себя шел показать, мне журнал дорог.

И на другой встрече, в Доме актера, на Пушкинской площади, где зал был полон, и в фойе, куда открыли двери, стоял, дышал народ, только что на люстрах не висели, а я перед выходом на сцену попросил товарищей моих – и Николая Шмелева, и Юрия Карякина, – слово с них взял не упоминать всуе имя Лигачева. Только что произошел скандал в «Московских новостях», где мы, несколько человек, подписали некролог умершему в Париже Виктору Некрасову. И Лигачев только что не орал на редактора, Егора Яковлева: как, мол, посмел вообще печатать некролог! В седую его голову и мысль такая не вступала, что лишись он завтра своей должности, и кто он? Старец никому не нужный, мало ли уже сменилось таких временщиков, некогда всемогущих: Лигачев? Кто такой Лигачев? А книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» уже осталась в литературе, в истории нашей культуры.

Товарищам моим не терпелось под смех зала цитировать Лигачева, ведь что ни слово – золото. Но, говоря аппаратным языком, решался вопрос о помещении для журнала «Знамя», у нас уже оба этажа залило, потолок внизу подперт цитами и бревнами даже неошкуренными, в редакцию войти невозможно. Они выступят эффектно, зал поаплодирует, а Лигачев завтра снимет трубку телефона – и остались мы сидеть посреди потолка.

Не раз в дальнейшем ради журнала приходилось мне делать то, чего никогда для себя делать бы не стал: где просителем представиться и не стыдиться этого, а где и на ногу наступить, хотя вот это мне более всего противно.

Но сейчас требовалось терпение, возможно, они и ждут, чтобы я взорвался, наговорил лишнего и тем самым развязал им руки, возможно, весь сценарий с таким расчетом разработан. Я сидел, слушал, наблюдал. И новый начальник Главлита Болдырев, с которым в дальнейшем установились у меня приемлемые отношения, тоже наблюдал. За могучим, просторным столом – сколько судеб через этот стол прошло! – он сидел в высоком кресле, как бог Саваоф на пушистом облаке, а его «воинство земное» рвало меня с двух боков только что не до живого мяса.

Еще не так давно, перед XXV или XXVI съездом партии, все они теперь слились в нечто равно безликое, а тогда каждый из них подавался как всемирно-историческое событие, цензура срочно заменяла на афишах названия классических спектаклей: вместо «Много шума из ничего» – «Любовью за любовь», «Перед заходом солнца» переименовали во что-то жизнеутверждающее... Родилась ли эта гениальная идея на Старой площади, или отсюда была подана услужливо, но осуществили ее здесь, в этих прокуренных кабинетах, где сам воздух отравлен. Он впитался в поры стен, в души людей, да разве выветришь его?

А у меня в самых ближних планах было – напечатать поэму Твардовского «По праву памяти», которую ему, редактору «Нового мира» не дали напечатать при жизни. Она уже была набрана в типографии, и в последней надежде он разослал ее членам редколлегии, как бы единомышленникам своим, поддержки ждал. Среди них были и депутаты, был член Президиума Верховного Совета. Никто не откликнулся, ни один. После кончины Александра Трифоновича они напишут о нем прочувствованнейшие слова, и будет там: «джигит упал с коня...», но при жизни не поддержали «джигита». А другой, кого Твардовский выпестовал в Лауреаты Ленинской премии, что в дальнейшем открыло перед ним

многие двери, не постеснялся даже зайти в редакцию «Нового мира». «Я вам послал верстку моей поэмы», — напомнил Твардовский. Тот спокойно выдержал взгляд: «Я ее не получил...»

— Но не сказал: дайте!

И Твардовский, рассказывая мне это в маленьком своем кабинете на нижнем этаже дачи, где все стены — сплошные книжные полки, стол светлого дерева под окном да лежанка сбоку, повторял недоуменно: «Но не сказал: дайте!» И пухлым кулаком ударял при этом по столу.

Здесь же и читал он мне вслух свою поэму, волнуясь, куря сигарету за сигаретой, прижигая одну от другой. И от сочувствия к его беде, хотя никакими возможностями я не располагал и ничего реального не предвиделось, я сказал тогда: если что-либо от меня будет зависеть, я сделаю все, чтобы напечатать поэму. И, став редактором, я на третий день пришел к вдове Твардовского, к Марии Илларионовне, и попросил дать поэму в «Знамя». И она уже отправлена в набор. В этом разговоре и ее судьба в какой-то степени решалась, как начнешь, так и пойдет дальше.

Когда-то я неплохо играл в карты: в очко. Любимая моя карта была девятка, на ней я всегда шел ва-банк. Туз на руках — еще задумаешься: вдруг мелочь придет вразрез. Но на девятке банк снимал беспроигрышно. И вот в госпитале, в Красном Лимане, сидим мы друг против друга на кроватях, поджав ноги, беру карту — валет. Дает вторую — дама. Сам после удивлялся, как спокойно у меня получилось: «Бери себе...» Стал он набирать. Семнадцать. А у меня две карты на руках, на двух оставливаются когда девятнадцать, двадцать очков. Ох как не хотелось ему брать еще, как колебался. Но — взял. Перебор! «А у тебя сколько?» — «В двух картах перебора не бывает...» И снял банк на пяти очках.

Вот и сейчас на руках у меня было пять очков, говоря тем языком, никто и ничто за мной не стояло. А надо было снять банк.

Я поставил чашку на блюдце, поблагодарил.

— Ваши гражданские чувства, вашу озабоченность я понимаю вполне. Я тоже, можете поверить, озабочен. И я рад, что у нас возникло такое взаимопонимание. Но как редактор я должен стоять на почве закона...

Разговор длился более полутора часов, я успел продумать, что буду говорить, и почему-то мне особенно вот эта фраза, эта поза понравилась: как редактор я должен стоять на почве закона. Портрет маслом можно с такого редактора писать, был бы тут свод законов, я бы для лучшего эффекта еще и руку на него положил.

Я попросил показать мне параграфы инструкции или что там у них есть, дающие право снять в рукописи то-то, то-то, то-то. Есть – соглашусь, нет – под мою ответственность. Прямо здесь, на верстке напишу: «Под мою ответственность».

Они имели право снять всего лишь один абзац, в котором упомянут был еще не рассекреченный документ. Всего лишь.

Было поздно, когда я подъехал к редакции. Свет наверху, в кабинете, горел. Ждали.

И вот я поднимаюсь по лестнице, вхожу. На лицах – «Ну?» Успокаиваю: подписано в печать. Потери – один абзац. И – общее ликование, автор Лена Ржевская (мы с ней когда-то вместе учились в институте), выдержанная, не склонная к восторгам, говорит мне какие-то восторженные слова.

Некоторое время мы сидим, не расходимся, час поздний, но это, как нам кажется, победный час, и нам хорошо вместе. Курить я бросил давно, а впервые закурил в пять лет: сухие листья сирени. И в кабинете у меня не курят. Однако сейчас говорю: «Курите!» Конечно, надо бы ради такого дела бутылочку открыть, да нету, нет. Жаль.

Но вот цензуры не стало, и – странное дело – вместе с ней ушли из литературы известные, просто исчез целый ряд известнейших имен. Как знать, быть может, создавались они по тому же принципу, по которому в свое время дозволена была некоторая вольность «Литературной газете», ей одной: умеренная оппозиционность и за это – хороший буфет.

## ПАРОДИЯ

На VII съезде Союза писателей произошел со мной некий казус, другого слова не подберу.

Обычно съезды проходили торжественно, на несколько дней писателей допускали в Кремль, в тот самый зал, где еще со сталинских времен собирали съезды партии, пока посреди старинных соборов не воздвигли стеклянный сарай — Дворец съездов. И все дни на съезде писателей обычно присутствовало правительство: в первый день до перерыва сидело политбюро в полном составе, потом сменяли друг друга, но все равно было кому надзирать. Присутствие высшей власти предопределяло: ничего лишнего, возмущающего слух, сказано делегатами не будет, каждый, кому разрешат выйти на трибуну, вышьет свои узоры по готовой канве. Да и узоры-то эти просматривали заранее: видел я, как тогдашний зам. зав. отделом культуры ЦК водил пальцем по строчкам заготовленной и отпечатанной на машинке речи известного писателя, в прошлом — фронтовика, моего ровесника, и тот послушно вычеркивал то, что «не так может быть понято». А внешне все выглядело вполне пристойно: беседуют дружески писатель и партфункционер. Ну, а уж кого посадить в президиум, — эти списки утрясались, взвешивались, согласовывались и окончательно их утверждали в высоких кабинетах.

И вот — съезд, в зале речь о духовных ценностях, а в гостинице «Россия», в полуподвальном этаже, тем временем уже раскладывают на прилавках богатства иные: сюда устремятся вечером делегаты с женами: покупать! И какие страсти разгораются, какие обиды. Кто-то будет ошарашен, кто-то уязвлен: как в кремлевском зале.

Дня за два до съезда Георгий Мокоевич Марков собрал у себя в кабинете делегатов от Москвы, знакомя в общих чертах с расписанным сценарием, и, как бы между прочим, сказал, что там, в президиуме, в Кремлевском Дворце, может быть прохладно от кондиционеров, потому он советует быть в костюмах и в галстуках. Мне бы то как раз и прислушаться, оценить деликатность и даже тонкость этого замечания: я сидел в летней полувоенного вида рубашке с короткими рукавами. И вот в таком виде явился в Кремлевский Дворец. Началось ритуальное действо, выбирали тех, кому сидеть все дни лицом к залу, в президиуме, рядом с правительством. Вдруг слышу свою фамилию. Голосуют.



Поднявшись с разных мест, идем из зала в президиум, обрзается у подножия ступеней небольшое скопление, и Грибачев бубнит мне в спину: «Костюм надо было надеть...» А я — не оборачиваясь: «Вы знали заранее, вам там сидеть, а я откуда мог знать?» Но в том-то и дело, что знать ничего не требовалось, надо было просто прочесть. Всем делегатам выдали так называемые дипломаты, в них — набор скучнейших отчетов из всех республик, которые никто не читал и читать не станет, а еще — блокнот, ручка, записная книжка — стандартный набор. Я как получил «дипломат», так и поставил дома, даже не заглянув туда. А напрасно. В этот раз и на моей записной книжке, оказывается, было золотое тиснение:

Президиум  
VII съезд  
писателей СССР  
Москва 1981 г.

Но выдвигают, голосуют: «Кто — за? Против? Воздержался?», а имена тех, кому в президиуме сидеть, уже в бронзе отлиты. И вот — политбюро в полном составе, правительство, высшие армейские чины, мундиры, костюмы, галстуки, один я в чем-то летнем с короткими рукавами. И уж не знаю, от кондиционеров ли, от взглядов, но мне и правда холодило спину.

Однако было это в 81-м году. И вот июнь 1986 года, еще звучны, не стерлись слова «перестройка», «ускорение» (надо же такие подобрать), но уже появились частушки веселого содержания: «Мой миленок сделал в койке лишнее движение, думал, выйдет перестройка, вышло ускорение». Позже пойдут и анекдоты: «У нас, как в тайге: вершины от ветра шумят, а внизу — тишина...» Но в среде интеллигенции, особенно столичной, — небывалый энтузиазм. Уже на съезде кинематографистов так разгорелись страсти, что безо всякой подготовки свергли старое руководство, ожидалось нечто и на нашем съезде.

Всегда что-то ожидается, тем и живем от слуха — к слуху. На прошлом съезде, когда Брежнев был уже в полном маразме, зашептались, зашептались по кулуарам, что, дескать, решено: Федин, почетно возглавлявший Союз писателей, подает в отставку, председателем станет Марков, первым секретарем — некто помоложе. «Писатель без власти — не писатель», — в простоте душевной изрекла одна из руководящих писательских жен, и фраза эта стала крылатой. А этот «некто» известен был своей ненасытной жаждой власти. Власть у нас — все. От нее — и благополучие, и даже талант. Это где-то талант — от Бога, а у нас им власть наделяла.

Он только что получил и орден Ленина, и Ленинскую премию за длиннейший, многосерийный во славу Сталина фильм, в нем была представлена вся галерея маршалов, и ныне здравствующие, как на подбор, были и умней, и заслуженней, и куда значительней умерших. Специально для избранных был устроен просмотр, маршалы глядели на себя и одобряли. А Епишев, начальник Главпура, удостоенный звания Героя Советского Союза через тридцать три года после окончания войны, так тот на экране даже поучал маршала Жукова, как ему воевать: Жуков в то время был в опале, а Епишев – в силе, от него зависело, быть фильму или не быть. Имея такую, можно сказать, бронетанковую поддержку, с такими заслугами да Маркова не одолеть!..

Но Симонов поехал к Федину, объяснил положение вещей, уговорил не уходить с поста, и, когда Марков, Верченко и заведующий отделом культуры ЦК Шауро прибыли в Переделкино принимать отставку, Федин, имевший прозвище «чучело мертвого орла», а в жизни – прекрасный актер с богатыми голосовыми модуляциями, встретил их на даче такими словами: «О, хитрецы, хитрецы! Знаю, приехали уговаривать меня остаться. Ладно, остаюсь...» И, как сказано у классика, «пошли они, солнцем палимы», а точнее – расселись сообразно чину в «Чайки» и «Волги» и отбыли докладывать Сулову. И верховный идеолог Сулов сказал: «Федин – это Федин...» Достойные войти в историю, слова эти означали: не будем менять декорации, они хоть и обветшали, но еще послужат верно.

Но на VIII съезде ожидалось иные перемены, пло закулисное шептание: «Маркова будем валить...» Однако началось все, как всегда: Марков вышел на трибуну, положил перед собой доклад, рассчитанный на час с небольшим; сделать, скажем, получасовой доклад было бы просто неприлично, не соответствовало величю происходящего. И вот он ровным голосом читает скучнейшее это произведение канцелярской мысли, отпечатанное без единой пометки на лучшей финской бумаге. Во время такого успокоительного чтения кому-то и вздремнется, а другого, наоборот, захлестывает вдохновение. Однажды плод такого вдохновения, забытый вместе с газетой, попался мне на глаза, и я прочел на полях: «Ты послушай меня, будь ласка, я вернулся, друзья, из Дамаска...» И дальше, сама собой, была и «сказка», много чего было дальше: в порыве чувств писал человек по принципу: «Не могу молчать!...» Неужели эти вирши так и пропали, утрачены навеки?

Но всегда настает момент, которого более всего ждет зал:

начинается распределение по рангам, называют имена, книги. И все обращается в слух: «Упомянут? Не упомянут?..»

И упомянутые в докладе, оглашенные вскоре выходят, смущая несолидным поведением кремлевскую охрану в дверях: правительство сидит в президиуме, а эти бродят. Но внизу – кремлевский буфет, нежнейшие сорта рыб, икра, настоящие, нецеллофанированные сосиски, вкус которых обычными советскими гражданами давно забыт. Помимо сиюминутного удовольствия, эдакого поглаживания по самолюбию, быть упомянутым в докладе означало и нечто более вещественное: переиздание книг, прочие, прочие блага. Упомянут, значит, ты есть – в отличие от тех, кого как бы и нет. И упомянутые ели с аппетитом, принимали поздравления. Ели, хотя и без аппетита, и упомянутые, презирая упомянутых, всем своим видом давая понять, что им это вовсе и не нужно.

А Марков стоял на трибуне, аккуратно перекладывал прочитанные страницы, скопческое лицо его, на котором почти ничего не росло, блестело гладкой кожей, маленькие зоркие глаза поблескивали, голос поздравителен и тих. Вдруг на какой-то фразе запнулся. Помолчал. Опять ту же фразу прочитывает заново... Молчание... И уже смотрят на него с тревогой, тревога прошла внизу. Снова, как в забытьи, читает он с запинаниями все эту же фразу... И разворачивается, разворачивается боком к залу, взгляд отрешенный, меркнущий... Из президиума рванулся к нему Верченко, из зала – врачи. Все произошло как-то быстро, умело. Подхватили, осторожно сводят под руки, свели, ведут к дверям... После краткого замешательства поручили Карпову читать доклад, он извинился, что текст ему не знаком, и читал, как по кочкам ехал.

В перерыве все кинулись допрашивать врачей: «Что? Как?» – забыв, что есть такое понятие: врачебная тайна. Отвечали: инфаркт. Позже – спазм. А еще позднее распространился слух, и говорили уверенно: все это – инсценировка, знал, предвидел, что произойдет на съезде, а лежачего не бьют... Не знаю, не решусь утверждать. Я сидел с правой стороны, как раз туда и разворачивало его на трибуне, я видел отрешенное его лицо, на миг меня даже страхом обьяло: рухнет.

Тогда же, в перерыве, подошел ко мне Залыгин: «Ну как после этого станешь его критиковать?» Оба они сибиряки, были на «ты», за что-то Залыгин держал на него обиду. Собирался ли он в самом деле критиковать Маркова, – не знаю. У меня этого и в планах не было. Каждому овощу –

свое время. Сталинскому царствованию требовались пышные декорации, личности, они еще были, отстрел шел плановый, не всех истребили враз. И социалистический реализм обосновывал Горький (знал ли он, что это такое?). Его со временем, не сразу, сменил на посту Фадеев, тоже человек незаурядный. Отдавая писателей на погибель, одного за другим, он на адовой этой службе и талант свой погубил, и душу продал дьяволу. А, видно, болела душа, не зря заливал ее вином, так и жил под наркозом.

Александр Трифонович Твардовский рассказывал мне, как был у него разговор с Фадеевым про аресты, какие идут по стране. Я выясню, сказал Фадеев, и при следующей встрече разъяснил: арестовано всего... Он назвал цифру с точностью до единицы: девятьсот с чем-то человек. Миллионы уже сидели по лагерям, миллионы расстреляны, уморены голодом – девятьсот с чем-то... «Если ты не веришь, – тебе не место в партии». Вот так он сказал. И взгляд у него был в тот момент... Впрочем, я и сам наблюдал у него этот взгляд человека, который все человеческое оставил за чертой, переступил.

Маркову выпало возглавлять Союз писателей в пору, о которой у Булата Окуджавы сказано: «Римская империя времени упадка сохраняла видимость строгого порядка, главный был на месте, соратники – рядом, жизнь была прекрасна, судя по докладам...»

Безликому времени нужен был безликий канцелярист. И из нашего ведомства литературы тоже исходили поздравительные доклады. Все строилось по образу и подобию, повторяя даже в мелочах то, что делалось «наверху». И почему, в самом деле, Маркову не возглавлять Союз писателей, если во главе страны – Брежнев? Да ведь и он не худший, если на его окружение поглядеть, оно так и подбиралось, чтобы главный, даже в маразме, оставался на полголовы выше других.

Мало кто помнит, что до Брежнева президентом числился Подгорный, про которого говорили, что он в своем президентском достоинстве принял итальянского посла за испанского и имел с ним дружественную беседу... В день, когда без всяких объяснений его отправили на пенсию (как сметают с подоконника засохших мух), я остановил на улице Горького «левую» машину. Был это черный ЗИМ, возможно, ранее возил он кого-то из министров, большая машина, сиденье двуспальное, шофер солидный. Слово за слово, и он говорит: жаль Подгорного. А чем вы его можете вспомнить, что он вам хорошего сделал? Ну, наверное, все же обидно ему теперь... С этим не поспоришь.

В своем окружении, которое Марков сам же подобрал, был он заметной фигурой. Взять хоть того же Сартакова, тоже призванного на должность в Москву из Сибири.

Вот, кстати, интересный феномен: в сорок первом году спасти Москву, на помощь московскому ополчению, на помощь остаткам кадровой армии прибыли сибирские дивизии, и много под Москвой полегло сибиряков. Но наши руководящие сибиряки, в послевоенное время хлынувшие в Москву, почему-то все, как один, не были на фронте, родина наша хранила их в тылу, как золотой запас. Зато к 40-летию Победы, когда награждали орденами Отечественной войны, первым, вместе с Героями Советского Союза, получил боевой орден и Георгий Мокеевич – прямо в Союз писателей, в кабинет к нему прибыли высокие армейские чины, и там происходило торжественное вручение.

Так вот – Сартаков. Он когда-то пробовал петь, но повредил голосовые связки, и нам уже досталось слышать просто-таки женский сиплый голосок, из-за этого однажды совершил я непростительную ошибку: позвонил ему, а секретарши на месте не было (не помню, как ее звали, допустим, Мария Павловна), и трубку телефона, чего ожидать было невозможно, снял он сам. «Мария Павловна?» – «Это – Сартаков!..» Мне бы затихнуть, положить трубку, а я извинился и продолжал разговор. Какое после этого должно быть ко мне отношение, если я спутал его с женщиной, с секретаршей?.. А еще была у него склонность, как у всех не шибко образованных людей, иностранное слово подпустить в разговоре. Вызвав к себе консультанта иностранной комиссии, на которую пожаловались арабские коммунисты и ее из-за этого увольняли, он так разъяснил причину: «Вы – персона не грата... Понимаете?»

После неудавшейся певческой карьеры стал Сартаков бухгалтером, писал годовые отчеты, а там и романы пристрастился писать. Его и определил Марков контролировать финансы и ведать изданиями, то есть самое главное держать в руках: кого не издавать, чью книгу издать, а кому и собрание сочинений поднести к юбилею. Уж тут-то он себя не обижал.

И вот в издательстве «Художественная литература», в «Роман-газете» печатается очередной его роман под названием «Козья морда». «Роман-газета» в те времена выходила с фотографией автора на обложке. И представил себе зрительно директор издательства Косолапов, как это будет выглядеть: резко сужающееся к подбородку лицо Сартакова, а под фотографией – «Козья морда»...

Летели мы с Косолаповым в Болгарию, и он, смеясь, рассказал, как звонил автору: мол, прочел ваш роман, прочел, огромная в нем философская глубина, хорошо бы, чтоб и в названии это как-то отразилось... И вместо «Козьей морды» назван был роман «Философский камень», так и подписано было под фотографией.

Нет, повторяю, Марков был не худший, дела при нем в свете исходивших сверху указаний велись исправно, а сам он определенно возвышался над своим окружением. Бывало, подъезжает к старинному «Дому Ростовых»... Если это действительно дом Ростовых, описанный в романе «Война и мир», как тут не вспомнить возвращение Николеньки с войны:

«Ростов, забыв совершенно о Денисове, не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную, большую залу. Все то же, те же ломберные столы, та же люстра в чехле; но кто-то уже видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери и стало целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой, третьей двери; еще объятия, еще поцелуи, еще крики, слезы радости. Он не мог разобрать, где и кто папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и целовали его в одно и то же время...

Петя повис на его ногах.

— А меня-то! — кричал он.

Наташа, после того, как она, пригнув его к себе, расцеловала все его лицо, отскочила от него и, держась за полу его венгерки, прыгала, как коза, все на одном месте и пронзительно визжала.

Со всех сторон были блестящие слезами радости, любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя».

Черная «Волга» Георгия Мокеевича Маркова осторожно въезжала в ворота, огибала скверик, где на каменном пьедестале задумался Лев Толстой, и останавливалась у главных дверей. Открывалась дверца, нога в вычищенном до блеска ботинке ступала на асфальт, зимой — на разметенный снег. И, не испачкав подошв, в шубе с бобровым (или из выдры?) воротником, добротной такой шубе, какую шьют один раз и на всю жизнь, не успевший раскраснеться на морозе, прямо из теплой машины в тепло, Георгий Мокеевич поднимался по двум маршам мраморной лестницы, и мраморная нагая дева в нише, по мере того как он пушистой меховой шапкой достигал ее подошв, коленей, выше, выше, прикрывала мраморной рукой свое очарование.

Отразясь на последней ступеньке в полный рост в старинном зеркале, он сосступал с мрамора на паркет навстречу самому себе, выходявшему из зеркала, а уже разносилось дуновением: «Прибыл! Идет!» И все живое почтительно уступало дорогу, и во всех комнатах и отгороженных клетушках, над всеми канцелярскими столами охватывал служащих трудовой энтузиазм.

Он же, в шубе и шапке, мерным шагом шел мимо белых старинных закрытых дверей той самой залы, где теперь не ломберные столики, а буквой «Т» сплошной огромный стол для заседаний под зеленым сукном, где и воздух, и сукно, и стены впитали запах окурков, входил в приемную, в свой кабинет, увешанный дарственными коврами, раздевался, причисывался, садился за стол, и согласно рангу и чину начинали входить к нему с папками для доклада. Департамент оживал.

Не могу опять не отвлечься. Однажды в Дубултах, в июльский жаркий день, когда и солнце и море слепили настолько, что без защитных очков невозможно было смотреть, появился на пляже Георгий Мокеевич. Он только что прибыл и шел по песку в своих черных, вычищенных до блеска кожаных ботинках, в темном костюме, в галстуке, а в море плескались, а на белом песке, как на лежбище, грелись загорелые тела, они выглядели неприлично обнаженными, когда он проходил мимо.

Возможно, совпало так, но в тот день всех писателей и их чад и домочадцев кормили в обед икрой.

И другое совпадение: к вечеру, когда огромное на закате солнце уже коснулось моря, и море на всем пространстве тихо сияло, по берегу, тоже в ботинках, в костюме и в галстуке, прошел, гуляя, премьер, Алексей Николаевич Косыгин, прибывший на отдых в свою резиденцию. Не было замечено торпедных катеров на рейде, но со стороны суши его сопровождала охрана: спереди, сбоку и в арьергарде. У каждого охранника в руке — маленький чемоданчик. Прошел он по пляжу в сопровождении охраны и на следующий день, но был уже без галстука, лицо его, обычно сумрачное, нездоровое, лицо человека, который вслед за жизнелюбивым Брежневым считает и считает, подсчитывает, во что в рублях обходится бодрое царствование, было на этот раз слегка освежено загаром. Но Георгий Мокеевич и на другой день в жару прогуливался по пляжу в темном костюме, в галстуке, и среди множества следов босых ног на мокром песке четко печатался след его ботинок. Обнаженным, купающимся видеть его не довелось.

И вот врачи под руки сводят его с трибуны и дальше, дальше, и дворцовые двери закрылись... И заволновался съезд. О чем? Да все о том же. В министерстве и волнения все — министерские: кого назначат, что кому от этого перепадет? Хотя, казалось бы, единственная власть, которой может и должен обладать писатель, власть духовная, власть над душами и умами людей. И достигается она не должностью, не внешними отличиями, а единственно силой таланта, силой нравственного примера. Но в залах, в коридорах, во дворцовых палатах, в Георгиевском зале, где золотом по мрамору — имена героев, кому благодарно отечество, шло великое шептание. Не просто так прогуливались по наборному паркету властители дум, составлялись партии, зрели планы... А может, просто воздух дворцовый таков? Какие только планы и заговоры не зрели здесь, каким еще суждено быть!

И позади президиума, там, куда не всех допускают, для чего и поставлены у дверей вежливые люди в штатском, тоже шло незримое борение. Каюсь, в том, что первым секретарем Союза стал в конце концов Карпов, есть и моя доля вины. Не решающим был мой голос, далеко не решающим, знаю и других, кто его предлагал, а еще больше — не знаю. Была незримая рука, которая двигала его и, кажется, не одна рука, в этом я в дальнейшем мог убедиться.

И ничему не учит опыт жизни. Когда нет имени, авторитетного для всех, когда рвутся к власти самые ярые, решают до наивности просто: надо, чтобы кто-то занял место, хоть шляпу на кресло положить.

Мог ли я тогда думать, что пройдет не так уж много времени, и Карпов потянет и журнал «Знамя», и меня в суд, и будет происходить нечто позорное? Но это — отдельный рассказ.



## МЫ ВАМ ПЕРЕКРОЕМ КИСЛОРОД

Оглядываясь в недавнее прошлое, все больше убеждаюсь: закон о печати приняли по недосмотру, просто депутаты оплошали. Нынешние на за что не пропустили бы его. Где это видано, чтобы власть сама на себя надевала смирительную рубашку? Но помогли два обстоятельства: некоторый дух воляности, который опутило общество, и твердое убеждение, что законы у нас пишут для наглядности, исполнять их не обязательно. Приняли и этот.

Что же до мнения народного, то за свою историю немного пословиц о законе сложил наш народ, куда больше – о начальстве, о приказе, о послушании: как жили, так и сложили. Но и в тех немногих – твердое убеждение: где закон, там и грех. А потому – «Что мне законы, когда судьи знакомы».

А вообще у нас, как в той районной бане, про которую, возможно, не все знают, тогда надо рассказать, потому что это не выдуманно, все так было. Отремонтировали баню, лавки новые, чистые, каждому над лавкой – свой персональный душ. Но рукоятки управления, краны все вынесли на одну, главную панель. Вот сквозь пар идет намыленный человек включить над собой душ, и стал в недоумении: где его кран, где чей?.. Повернул один, кто-то с криком вскочил, ошпаренный. Повернул другой, кого-то холодной водой окатило.

Журналы наши тоже, хотя и располагались по разным лавкам, но краны все на одну панель в Союз писателей были вынесены. Туда подадут команду, они и поворачивают кран. Хорошо, если умелой рукой, но наверх-то рвутся не те, кто умел, а кто смел.

Покойный ныне Михаил Ильич Ромм рассказывал, как встретил он однажды на улице бывшего министра кинематографии Ш. Возможно, должность эта называлась тогда иначе, например, председатель комитета или нарком, но суть не в названии. Разные люди в разное время возглавляли наш кинематограф, побывал в этом кресле даже глава Воронежского НКВД Дукельский и тем остался памятен, что, бывало, докладывает ему секретарша, мол, режиссер такой-то пришел на прием. «Введите!» Так вот встретились они как раз у Мосфильма, и Ш. пожаловался с тоскою: «Не то мне обидно, Михаил Ильич, что меня сняли. Я за этот год начал уж было в кинематографии разбираться, и вот тут меня как раз снимают...»

Помню, прочли мы закон о печати, увидели, что отныне

можем сами стать учредителями журнала, независимыми, никто над нами не будет поворачивать ручки кранов, а нас то ошпарит, то окатит ледяной водой, одним словом, разрешено жить своим умом, прочли и себе не поверили. Однако пригласили юристов, они растолковали нам: можете, составили все нужные бумаги, и 1 августа 1989 года ровно в девять утра, к началу регистрации был я в комитете по печати. Но не один, с юристом, он за меня знал все наши права. Месяц оставался до конца подписки, и весь этот месяц комитет мог решать, регистрируют нас или не регистрируют, то есть, в сущности, быть нам или не быть.

Начало не предвещало добра: сорок с лишним минут отсылали нас из комнаты в комнату, а комнат было много, еще больше столов, и все эти милые барышни и дамы министерские с яркими ноготками, тенями на веках и помадой на губах, успевшие подкраситься или занятые этим, все они почему-то были очень недовольны нами: «Вот начнут теперь ходить все подряд!..»

Наконец, попали мы к девице, у которой на столе лежала большая книга для регистрации. «Оставьте ваше заявление», — сказано было нам холодно, и «заявление» прозвучало, как «прошение». Но не зря юрист сопровождал меня, он потребовал тут же записать нас в эту амбарную книгу, дать номер, под которым мы значимся в ней от сего числа. Как после мы убедились, дело тут было не в обычной неразберихе. Система подала сигнал — «Горим!» — и сомкнулись начальство и рядовые служащие, каждый бежал, кто с ведром, кто с багром, отражать надвигавшийся на них закон.

Проделав всю канцелярскую процедуру, поднялся я наверх, к первому заместителю председателя комитета (кресло председателя в ту пору пустовало, вакантно было, ждало), к Дмитрию Федоровичу Мамлееву, знакомы мы с ним были не один год. Секретарша, одетая как манекенщица на последнем показе мод, пошла доложить, овеяв меня французскими духами, по их запаху, как по следу, я и шел в кабинет, в распахнутые наружную и внутреннюю двери. Мамлеев встречал по-братски, шумно. Темный стол письменный, такой же темного дерева стол для заседаний, высокие потолки, переливчатым пурпурным шелком обтянутые стены — богатый достался ему в наследство кабинет.

— Вы бы сразу ко мне! — узнав, что я тут чуть ли не битый час кожу, повозмущался он. У меня тоже, если честно сказать, был такой позыв, сразу — к начальству, и чтоб оттуда, сверху пошло вниз, но юрист Левон Левонович Григорян, годившийся мне в сыновья, мудро предостерег: сна-

чала соблюдения все необходимые формальности. Я это оценю со временем.

— Ко мне надо было, а я бы уж вызвал сюда...

И он вызвал другого зама, рангом ниже, но юриста по образованию, Горковлюка. Первое впечатление — точное впечатление. Горковлюк вошел с доброжелательностью во взгляде, поздоровались, и через его руку, через рукопожатие я почувствовал: тут жди беды. Сели. Обычный, ни к чему не обязывающий разговор, расположение Мамлеева отражалось на его лице, и первое впечатление постепенно стиралось. И тут Горковлюк предложил мне:

— А почему бы вам самому не стать учредителем журнала? Вы в своем лице — учредитель. Вы имеете на это право.

То есть, чтобы я был не только редактором, но и как бы владельцем журнала. И даже не как бы... И смотрит мне в глаза. А у меня, когда я решился стать редактором, намерение было простое: вот налажу дело, перевалю половину забот на заместителей и буду писать, много ли мне жизни осталось?

— Поверьте, — внушает Горковлюк, — я целиком на вашей стороне, вы мне гораздо ближе, чем Карпов.

Странно. Мы видимся первый раз. Карпов возглавлял в тот момент Союз писателей, наше министерство по делам литературы, министерство ближе министерству, с этим ничего не поделаешь. И я не сомневался, еще и до редакции не доеду, а отсюда уже доложат по правительственному телефону в ЦК и в Союз писателей сообщат: мол, не опоздайте подать заявку, журнал вознамерился стать независимым. Так все и произошло. На третий день Союз писателей прислал бумагу, что учредителями будут они, на волю нас не отпустят. И настолько не сомневались, настолько чувствовали себя в своем праве, что даже не стали утвержденную законом заявку подавать, решили, простой записки хватит. На пятый день родителей заботливых стало у нас уже двое. Раадался авнонок из управления делами ЦК, говорил некто Костров. Мы не были знакомы, но говорил он директивно:

— Вашими учредителями будем мы.

— Как же вы можете быть нашими учредителями? — удивился я, — когда мы не журнал «Коммунист», не «Блокнот агитатора», а литературно-художественный журнал?

— Вот нам как раз и нужен литературно-художественный журнал.

— Прекрасно. Создайте себе.

— Создадим. Вместо вас.

— И думаете, это легко? Сразу люди захотят подписы-

ваться?

— В общем, так: либо ваши учредители — мы, либо издательство «Правда» не будет вас печатать.

Дело серьезное, прикажут — и не будет. А нам тогда деться некуда. Но каждое действие, как известно, рождает равное по силе и обратно направленное противодействие, жизнь этому учит.

— Хорошо, — говорю, — тогда мы подсчитаем, сколько за все эти десятилетия дал издательству «Правда» журнал «Знамя», а много дал, и поставим вопрос о разделе имущества. Разводиться, так уж разводиться.

Можем ли мы «поставить вопрос», где его «ставить», ничего этого я не знал, слышал только или прочел, что в Сибири то ли издательство, то ли газета начала тяжбу с обкомом, и вот об этом напомнил:

— И хорошо вы будете выглядеть?

На седьмой день — семь дней, как вы помните, потребовалось Господу, чтобы сотворить и небо и землю, и отделить свет от тьмы, и назвать сушу землею, а собрание вод морями, и населить землю, и человека сотворить по образу и подобию своему, вдохнуть в него душу живую и, убедившись, что хорошо весьма, почить от дел своих, вот в этот седьмой день, когда Бог почил, Горковлюк завершил свое дело. Той самой рукой, которой дружески пожимал мне руку, написал он, а «Советская Россия» напечатала информацию. В ней рассказывалось, как усердно трудится комитет во исполнение нового закона, но вот журнал «Знамя» они пока что, к сожалению, зарегистрировать не могут: не решено, кто станет нашим учредителем. Сам же скликал желающих, а вот теперь как бы оказался бессилён перед этим внезапно открывшимся обстоятельством.

По прошествии времени могу оценить изящество и тонкость работы Горковлюка. Его информация канцелярской поэзией дышала, возможно, созидая ее, он истинное вдохновение испытал. И это был точно рассчитанный удар под ребро. Читателей, по сути дела, извещали, что, если учредитель не определится, журнала может и не быть. Как же подписываться на такой журнал? Как верить тому, что мы обещаем напечатать, когда решать, возможно, будем не мы? Шквал телефонных звонков, телеграмм обрушился на нас. По сути дела, нас тихо удушали, брали измором в науку другим: уже несколько журналов вслед за нами решили стать независимыми.

А тем временем все больше объявлялось желающих стать нашими учредителями: и Союз писателей, и издательство

«Правда», и еще кто-то, и даже – типография издательства. Интересно, знал ли кто-нибудь в типографии, что они – желающие? Или один Костров за них знал?

Сколько беззвучных монологов было произнесено в эти дни... И думалось: здесь, в Москве, где властей много, и то выворачивают закон наизнанку, как же во глубине России добиться своих прав крестьянину, если он, допустим, захотел фермером стать? Вся пирамида египетская над ним: и председатель колхоза, и пьянь, которая вокруг него сплотилась, из его руки чужим трудом кормится, а еще соседи косятся нелюдимо – лучше меня захотел жить?.. – а райком, а обком... Да это как из темных глубин океана подняться на поверхность, всю толщу воды преодолев над собой.

Однажды я все же не выдержал, позвонил Мамлееву:

– Дмитрий Федорович, мы еще недавно вроде бы уважали друг друга, неужели жизнь ничему не учит? Многие каются теперь за прежние грехи. Так для чего новые набирать? Все это минет, вы уж поверьте мне, минет, а позор останется. Не обижайтесь, рано или поздно я об этом напишу.

Тем временем мощные силы собирались в комитете, в роскошном этом здании. Приезжал и Карпов от главного Союза писателей, приезжало черносотенное руководство СП РСФСР, приглашали на подмогу прокуратуру, законодателей Верховного Совета, требовали изменить закон о печати, в муках рожденный.

И представил я себе однажды: хорош бы я был, последуй дружескому совету Горковлюка, заяви, что хочу стать учредителем и владельцем журнала. Сколько грязи на меня вылилось бы! И не докажешь, что не нужно мне это, мыслей таких не имел. Но это к слову. А журнал надо было спасать, пока его не растащили на части.

Я не ходил на эти толковища. Сидеть там, слушать, включать магнитофон, эту обязанность исполнял второй заместитель Виталий Петрович Гербачевский. Мне надо было сохранять спокойствие, хотя бы внешнее. И по телевидению я заверил читателей, чтобы они не сомневались, подписывались на журнал, в случае чего мы к ним обратимся: тираж журнала достиг в то время миллиона экземпляров, то есть читателей – минимум миллионов пять.

Как-то позвонила Ирина Мишина, ныне она ведет программу новостей, телезрители знают ее в лицо. Вместе с оператором поехали они по доброй воле в Союз писателей расспросить, что же происходит на самом деле? Дать интер-

вью им отказались, но Колов, исполнявший должность секретаря, сказал через дверь: «Мы им перекроем кислород», нам то есть.

Но пока мы еще дышали. И вот руководство Союза пригласило нас на переговоры. Подумали мы, подумали и решили: пусть они едут к нам. Накрыли стол, самовар кипящий на столе. Глянул я в окно с третьего этажа – въезжает во двор черная «Волга», стала, распахнулись дверцы, из передней вылез Карпов, из задней – Колов. Так они и шли к подъезду: Карпов – впереди, Колов с кожаной папочкой в руке за ним поспешает. Если вспомнить всех, кто до него сидел в этом кресле, он самый молодой, но уже заметно раздобрел, общее выражение лица такое, будто горячего пашлычка только что поел, еще мясо в зубах застряло, весь вкус во рту.

Вошли. Мы с Карповым однокашники, когда-то на одном курсе учились в институте. Но люди растут, должность прибавляет веса. Прощелся он хозяйски по кабинету:

– Ну что? Из этого помещения мы вас, конечно, выгоним!..

Хорошее начало разговора. Но пока не выгнали, зовем к столу.

– Как же, интересно, ты выгонишь нас? – спрашиваю его. – Ты нам это помещение давал?

По старой традиции новому руководству принято у нас что-то давать для почина, как бы начиная новый отсчет времени. Выехала отсюда «Строительная газета», и это помещение отдали нам.

Но Карпов, вижу, не шутит, придя гостем, сел хозяином. На лацкане пиджака – красный эмалевый значок депутата Верховного Совета СССР, и он уже не кандидат, а полный член ЦК, так что это его «мы» солидно звучит. Еще недавно, на VIII съезде писателей, когда к власти рвались самые ярые, решили посадить кого-нибудь ничем не выдающегося, как вот кладут шляпу на стул, мол, занято место. И хотя голос мой не был главным, я как раз Карпова предложил. Ах, не читаем мы классику, Гоголя забыли.

Пройдет время, и отставленный от должности, встретив меня в поликлинике, Карпов скажет голосом болезненным и слабым: «Гриша, не держи на меня сердце. Время было такое...» Я не держу, мне тогда порой жаль его становилось. Но он это время и создавал.

Когда появилась мракобесное письмо Нины Андреевой, то самое, собрались в Союзе кинематографистов руководители нескольких творческих Союзов, чтобы ответить на это

письмо. Карпов отдыхал в правительственной Барвихе. Я позвонил ему. «Да нет, обожди... Так это не делается. Должна быть дана команда сверху». Я еще стал объяснять, что тут команды ждать нечего, это дело совести каждого. «Ну, дай подумать...» А думал он там, как потом выяснилось, не один, Лигачев там отдыхал в это время. И снова звоню ему, звонят из Союза кинематографистов. «Дайте подумать...» Словом, время тянул. Выступили все Союзы, только Союз писателей отмолчался. Тогда мы, несколько человек, от себя написали в главную газету тех времен, в «Правду». Но вернулся из командировки Верченко, сразу все понял, и было организовано отдельное письмо Союза писателей, лучше бы оно не появлялось: рядом с именами достойных людей стояли фамилии тех, кому руки не подадут. Но обзванивали по одиночке.

К слову сказать, Верченко – единственный в этой должности, кто не стал членом Союза писателей. Даже его заместитель был уже «принят в писатели», а он как бы полагавшейся взятки не взял, нарушил обычай.

И вдруг как-то утром звонят мне от Лигачева: Егор Кузьмич (вернее – Юрий Кузьмич, так почему-то надо было называть его при личном общении) желает встретиться. У меня такого желания никогда не возникало, но раз хочет, почему не встретиться, любопытно все же. И быстро я свое любопытство удовлетворил, увидев в приемной его секретарей. Незабываемые лица. На них было написано все: и уровень их, и уровень их хозяина. И то, что могло бы ждать нас всех. Вошел я в кабинет, и Лигачев, пожимая приветственно руку, сказал мне вот что: «Поздравляю вас со сто восемнадцатой годовщиной со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Я принял поздравление: действительно, в этот исторический день была как раз сто восемнадцатая годовщина...

За свой Барвихинский подвиг, за то их совместное с Лигачевым осадное сидение Карпов был из кандидатов переведен в полные члены ЦК: Лигачев отблагодарил.

Имея такую опору за спиной, он и заявлял уверенно: мы вас выгоним. И надо было напугаться, но всегда мне в такие моменты думается: ничего, Бог не выдаст, свинья не съест.

В последние дни августа, буквально за три дня до конца подписной кампании, Министерство печати и массовой информации России, само только что созданное, зарегистрировало нас, журнал был спасен. И мы уже было вздохнули легко, но тут новая беда: издательство отказалось от аренды помещения: вы, мол, независимы, сами арендуйте, добивайтесь разрешения у исполкома.

Принесла эту весть завхоз. Дама крупная весьма, она шла по коридору тяжелой поступью и возвещала: «Погибли-и!..» И тут впервые за долгое время стало мне смешно. Покойный ныне писатель Борис Бедный, не по своей воле отбывавший годы в республике Коми, рассказывал мне, будто у народа коми есть выражение: «пукси да вакси» – садись и смейся. Вот когда уж совсем худо станет, когда некуда податься, садись и смейся. Но мы не думали в тот момент, что нас еще суд ждет.

Пятеро в лавке – Колов с Карповым, Суровцев со Скворцовым, да еще Н. Горбачев – от имени семидесяти с лишним секретарей Союза, которых об этом не спрашивали и не извещали, подали иск: соответствующие слова в соответствующей последовательности были напечатаны на бланке, иск приняли и дело завертелось. И хотя виднейшие писатели, гордость нашей литературы, заявили письменно, что они не давали права от их имени судиться с журналом, это уже во внимание не было принято: они – просто писатели, те – должностные лица, они пишут на простой бумаге, те – на бланке. Кто главней?

В очередной раз встретились мы с Карповым в Доме литераторов: бургомистр Берлина давал прием.

– Гриша, – говорит мне мой друг-приятель, – передай мне вон тот бутербродик с икоркой.

– А ты сам возьми.

– Ну, будем цивилизованными людьми.

И лицо у него вроде бы такое симпатичное. И – фронтовик. Что-то оттаяло у меня в душе:

– Володя, – говорю, – забери иск из суда, не позорься, еще не поздно. Все было: и сажали, и со света сживали, и журналы закрывали, но чтобы Союз писателей судился с литературно-художественным журналом, этого еще не было. Ну для писателей же – позор. С этим и войдешь в литературу. Забери иск.

А у него на лице вдруг улыбочка появилась, жестокая и ласковая к жертве:

– Не заберу.

Я отошел, вышел рюмку водки, тут Колов возник:

– Григорий Яковлевич, а суд вы проиграете. Смотрите, статья седьмая, одиннадцатая и тринадцатая говорят, что...

И наливает по рюмке, а хитрость из глаз так и прыщет, он и скрыть не пытается. Ему, конечно, полагалось по должности иметь какой-то кагэбэшный чин, но он так усиленно давал понять, что сотрудничает, что сомнительно становилось: хочет – да, но, может, его туда и на порог не пускают?



Рюмку я выпил, не чокаясь с ним:

— Вы от меня аргументы наши хотите услышать? Услышите в суде.

— А мы туда не пойдем. И вам идти не надо. Пусть наши адвокаты решают дело между собой.

— Нет, так не получится. Я пойду. И вы пойдете. Это будет известный процесс.

И вот прилетает Карпов из Египта. Нил, пирамиды, в детстве не снилось все это повидать. Само собой, что лететь туда не было никакой надобности, но валюта в кассе Союза еще не исчерпалась, своя рука — владыка, чего не полететь первым классом, со всеми удобствами. Вернулся. Депутатский зал, жена встречает, шофер за ним, бывшим чемпионом Узбекистана по боксу, несет чемоданы к машине. А как приятно, вернувшись домой, разобрать подарки, принять душ, выспаться после дороги в своей постели. И завтра — в Кремль, на пленум ЦК. Но на завтра ждала его повестка в суд. И вот в суде впервые мне стало жаль его. Не в тот момент, разумеется, тогда мы были противные стороны, так это называется. Но — по воспоминанию. В тесном зале стоял он с шапкой в руке, отвечал на вопросы, путался в ответах, а в это время высшие его товарищи заседали в Кремле... Посмел бы прежде обычный судья тревожить повесткой, в такой день такое лицо вызывать? При одной мысли этой дерзновенной у судьи уже бы телефон раскалился на столе.

Но по-настоящему мне было жаль Карпова после писательского пленума, на который я не пошел, зная, во что хотят его превратить. Уж, кажется, все он сделал: при закрытых дверях вдвоем втроем учредили они газету «День», в обход закона, нигде ее не регистрируя, выпустили первый номер, раздали на руки делегатам, и после этого шпана литературная криками сгоняла его с трибуны, он сделал дело, уже не нужен им. И не ожидавший такой неблагодарности он ушел со слезами на глазах и подал в отставку.

Помню, после войны, был я еще студентом, послали меня в командировку на Кубань с корреспондентским удостоверением. И как раз в тот день приезжает в колхоз высокая комиссия из крайкома партии. Ходят по полям, дают председателю ценные указания, даже мне, городскому человеку понятно: ну, ерунду же несут. А он — вдумчиво: «От это вы правильно указали...» Угостили их хорошо, посадили улагодворенных в машину, пыль схватилась за ними следом по степной дороге, тут я спрашиваю председателя: «Что ж вы теперь будете делать?» — «Как что? Пахать и сеять». Вот и

мы хотели немного: пахать и сеять. И чтоб каждый, кому вздумается, не давал нам ценные указания. Но для этого, оказалось, надо было через суд пройти.

Декабрь, мороз небольшой, но ветрено, сухая поземка. Через обледенелые трамвайные пути спешим бывало в перерыве в забегаловку дощатую, куда сходится вокзальный люд, дрожащий с переоя, выстаиваем там очередь. Голодные мы, в суде как-то быстро все в тебе перегорает. Зато здесь освободим местечко, сдвинем к краю неубранную грязную посуду, стоим тесно, толкают нас, дым табачный глаза ест, но дружно, весело, это дорого стоит. Беда сплачивает, если общая: и страну сплачивает, и самый малый коллектив. В беде познается, кто-кто. Крепости не извне, изнутри берут.

А впрочем, беда ли это? К нам, в наш зал в суде – по коридору налево. А направо – закрытые стеклянные двери, вооруженная охрана, овчарки жарко дышат, высунув языки, и – смотришь – конвой проводит стриженных парней., руки у всех назад. Вот она беда. Все познается в сравнении.

Но бывали смешные моменты. Как-то я возьми да скажи: нет, это не гражданский, это процесс политический. Знал, что Колов сразу ухватится за слово, оно у нас с давних времен – страшное: политический! Так и случилось. А тут как раз незапланированный перерыв образовался, искали кого-то из свидетелей, и я попросил у судьи разрешения прочесть любопытный абзац из газеты.

– Мало ли чего теперь в газетах пишут! – заранее отмахнулся Колов.

– Но это – «Правда». И вот сказано: «Конфликт, возникший между СП СССР и отдельными редакционными коллективами выходит за рамки юридического спора. Он приобретает политический характер».

– Кто это пишет?

– А пишет... – я будто в самом деле ищу, кто же это написал, пишет... Да вот внизу сказано: Владимир Карпов. Первый секретарь правления Союза писателей СССР.

Общий хохот, даже судьи улыбались.

Мне кажется, истцы наши так и не поверили, что суд – это всерьез. Они создавали себя частью Системы, которая десятилетиями была неподсудна. Нам еще повезло, что от Министерства печати и массовой информации ответчиком был М. А. Федотов. Тихим голосом, ставя точные вопросы, он раздевал истцов догола, и выяснилось, что из огромного перечня обязанностей, которые возлагаются на учредителя, Союз писателей фактически ни одного обязательства не выполнял никогда, а может, и не подозревал, что кроме прав,

у него есть и обязанности. И хорошо говорил в суде Ю. Д. Черниченко, он не только прислал заявление, он сам пришел свидетельствовать.

Их защищал сначала один, потом – два, потом – три адвоката.

Одному из них я сказал:

– Неужели союз писателей никого поумней найти не смог?

Червин, наш адвокат, выговаривал мне за это в коридоре:

– Вы что хотите, чтобы у них действительно был умный адвокат?

Червин – фронтовик. Одна рука у него – своя, живая, вместо другой нечто железное торчит из рукава. И – множество орденских планок на груди. Вот этой железной рукой в самый гололед он лихо водил машину.

Мы отстаивали правое дело, мы действовали по Закону, и тем не менее, судье Емышевой на многое нужно было решиться. Это было первое явление Закона о печати на суд, новый Закон и Система вошли в противоречие. И вот прозвучало последний раз:

– Встать! Суд идет!

И мы стоим. Обманет меня предчувствие или не обманет? Несколько раз я замечал, казалось мне, и заседатели и судья вроде бы больше к нам расположены. А это опасно: та сторона, к которой судья не скрывает своего расположения, обречена, приговор вынесут не в ее пользу. Все видели, судья добр, но закон суров. Я смотрю не на судью, стою, опустив глаза. И вся наша редакция так стоит, пока читают приговор. И вот: «Обсудив все собранные доказательства в их совокупности, судебная коллегия пришла к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат.»

Тишина. Долгая пауза. Смысл прочитанного доходит до нас не сразу и не по словам «в их совокупности», а по лицу нашего адвоката мы поняли: победа. И мы аплодируем суду.

– Ну, прямо как дети! – пытается сохранить серьезность судья Емышева.

Был конец декабря, а начиналось все в августе. И все это время мы выпускали журнал, как бы между делом. И думалось: а ведь и страной вот так же занимаются между делом, весь пар уходит в свисток, борются наверху, кто – кого.

Но нам предстоял еще один суд. Зима сменилась весной, весну сменило лето, и вот уже в июне Верховный Суд России признал законное – законным, подтвердил нашу правоту. Сбылось то, о чем в одном из своих стихотворений пи-

сал, почти что молил Твардовский: «Не стойте только над душой, над ухом не дышите...»

Был ясный солнечный день. От здания Верховного Суда до нашей редакции – рукой подать. Мы шли по улице гурьбой, наверное, шумно шли. По дороге что-то купили, наспех собралось дружное застолье. И решили на радостях, что пусть среди государственных праздников будет и наш собственный: День независимости журнала, 7 июня, нерабочий день.

Десять с лишним месяцев нам «перекрывали кислород», но в конце концов, как полагается в хорошей сказке, добро победило, зло наказано. Как? А вот как в старой песне с веселым припевом: «Потом его, конечно, разоблачили, и дачу он тогда себе купил...» Это и произошло. Зато, как любил говорить Михаил Сергеевич, все мы сидим в одной лодке. Не беда, что гребцы гребут в разные стороны.

Впрочем, и это все, такое еще недавнее, и это все – уже прошлое. Новому дню хватает новых забот, довлеет дневи злорадия его. Нас оторвало от берега и влечет, а мы не замечаем этого, как не замечают люди вращения Земли.

Редки моменты, когда ощущим становится неслышный, подспудный ход истории. Мне было двадцать лет, в рассветном сумраке, когда лица солдат кажутся бледными, испытанными, стоял я в окопе. Ждали начала артподготовки, считанные минуты оставались до нее. И я вдруг почувствовал, что все сдвинулось, движется, и это уже не зависит ни от кого из нас, и этого не остановить. Никто не знал, кому из нас сколько осталось жить, а чувства в такие минуты обостряются. Явственно ощутил я как вся эта махина из тысяч и тысяч людей и всего вокруг, как будто еще неподвижного, строулась, движется уже не чьей-то волей, а сама, начав свой ход, неостановимо движется к последней черте.

И полыхнет сейчас во тьме за нашими спинами, толкнется в уши, и будет грохотать и сверкать, а потом мы выскочим из окопов и побежим по полю, бодря себя криками...

С того берега, от которого оторвало нас ходом истории, странно видеть, наверное, как люди все сражаются, сражаются друг с другом, не замечая, что всех их вместе влечет течением в распахнувшееся впереди открытое море, в нико-му не ведомое будущее.

## СОДЕРЖАНИЕ

Вот и кончилась война.....	5
Бабичев.....	13
Бурки.....	17
Надя.....	28
Был месяц май.....	33
Помню как сейчас.....	46
Как я потерял первенство.....	56
Вещие сны.....	64
Остановить мгновение.....	71
Он был и останется.....	95
Круг человеческого братства.....	103
Вот он уже открывает калитку.....	111
Пока мы были молодыми.....	132
Входите узкими вратами.....	136
Старый старичок.....	142
Но жаль того огня.....	146
В ожидании милостей.....	155
Неужели – опять?.....	167
Партия выматывает нас.....	173
Люди и роли.....	186
Как бросить курить.....	192
В начале было слово.....	200
У каждого свои заботы.....	205
Путь кремнистый.....	217
Невидимые миру слезы.....	232
Пародия.....	241
Мы вам перекроем кислород.....	250

**Г. Я. Бакланов**  
Б 19 **Входите узкими воротами Невыдуманные рассказы.**  
М.: РИК «Культура», 1995, 262 с.  
ISBN 5-8334-0033-3

В новую книгу Григория Бакланова – известного писателя военного поколения, лауреата Государственной премии, автора полюбившихся читателю повестей «Пядь земли», «Карпухин», «Навеки – девятнадцатилетние», романа «Июль 1941» вошли воспоминания о фронтовой юности, о первых послевоенных годах, о литературной жизни 60-х – 80-х гг., о начале эпохи перестройки, когда автор возглавил крупнейший литературно-художественный журнал «Знамя». Документально-художественная проза Г. Бакланова – не только свидетельство очевидца и участника многих важнейших исторических событий в стране, но и публицистически яркое осмысление пережитого, своего рода «предварительные итоги», которые будут интересны самому широкому читателю.

Б 4700000000-018  
Б 59(02)-95

ББК 84Р7-4

Бакланов  
Григорий Яковлевич

**ВХОДИТЕ УЗКИМИ ВРАТАМИ**

Редактор *Е. Шкловский*  
Художник *А. Шлосберг*  
Художественный редактор *А. Верцайзер*  
Технический редактор *Н. Карпушкина*  
Корректор *Н. Лаховская*  
Компьютерная верстка *Л. Ланцовой*

ЛР №020022 от 06.09.1991г.

Сдано в набор 25.03.1995. Подписано в печать 1.06.1995.  
Формат издания 60x90/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура «Школьная». Офсетная печать.  
Уч.-изд.л. Изд. № 197. Тираж 5000. Заказ 503  
РИК «Культура», 121835, Москва, Арбат, 35.  
Отпечатано с готовых диапозитивов в Московской типогра-  
фии №2 РАН, 121099 Москва, Шубинский пер., 6.

*Е. Шкловский*

## **ЗАЛОЖНИКИ.**

**Рассказы**

Персонажи московского прозаика — действительно заложники: кто — времени, кто — собственных чувств, представлений, желаний... Тонкий лиризм повествования сочетается с остротой коллизий и напряженностью переживаний героев, пытающихся найти в бытии свою нишу, постичь смысл существования, ответить на самые трудные вопросы. В центре размышлений автора — быстро уходящее время, чья переменчивость часто застает человека врасплох, побуждая его к самым неожиданным решениям и поступкам.



*А. Кургатников*

РУССКАЯ СТАРИНА.  
ПОВЕСТВОВАНИЕ О РУССКОМ XVIII ВЕКЕ  
ОТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ДО ПАВЛА I

Увлекательное повествование о русской истории XVIII века, об интригах и переворотах, фаворитах и фаворитках, быте и нравах царского двора, об утверждающихся вместе с российским самодержавием устоях бесконтрольной авторитарной власти и чиновно-бюрократического произвола. Книга создана на материалах дореволюционного журнала «Русская старина», сопровождаемых современными комментариями.

*А. Белинков*

**СДАЧА И ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОГО  
ИНТЕЛЛИГЕНТА.  
ЮРИЙ ОЛЕША**

**А.Белинков (1921-1970), известный своей книгой «Юрий Тынянов», человек трагической судьбы. Пройдя фронт, пережив смертный приговор (замененный тринадцатью годами заключения), долгие годы борясь за права издать свои произведения, писатель был в конце концов вынужден эмигрировать. Книга о Юрии Олеше писалась им 12 лет и была опубликована на Западе только спустя 6 лет после смерти автора. Написанная со страстью и горечью, пером ярким и острым, книга показывает драму советского писателя, сломленного в результате мелких и крупных компромиссов с властью.**

*Л. Тихвинская*

## КАБАРЕ И ТЕАТРЫ МИНИАТЮР В РОССИИ 1908 – 1917

Это первая книга об увлекательных и сложных судьбах кабаре и театров миниатюр предреволюционной России. Привлекая множество неизвестных или забытых документов, разысканных в архивах, взятых из газет и воспоминаний современников, автор рассказывает об истории знаменитых русских кабаре – таких как «Летучая мышь», «Кривое зеркало», «Бродячая собака», «Привал комедиантов» и др.

Книга позволяет с неожиданной стороны взглянуть на творчество Вс.Мейерхольда, Н.Евреинова, К.Станиславского, Е. Вахтангова и многих других выдающихся деятелей театра, которые были связаны с жанром кабаре.

*Н. Любимов*

## НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ

В книгу старейшего русского переводчика Николая Любимова, широко известного своими переводами произведений Рабле, Сервантеса, Пруста, вошли воспоминания о детстве и ранней юности, проведенных в уездном городке Калужской губернии. Мир дореволюционной российской провинции, ее люди: учителя, духовенство, крестьяне описываются автором с любовью и признательностью, живыми, точными штрихами. Вторая часть мемуаров посвящена 20 – 30-м годам.

Автор рассказывает о своем знакомстве с выдающимися деятелями отечественной культуры – Э.Багрицким, В.Качаловым, Т.Щепкиной-Куперник и др., о сгущающейся грозной атмосфере в обществе, связанной со сталинскими репрессиями.

*В. Александров*

## ПОТУСТОРОННОСТЬ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

В обширной мировой литературе о творчестве замечательного русского писателя Владимира Набокова, чьи произведения долгое время находились у нас под запретом, видное место занимает книга профессора Владимира Александрова, известного ученого, руководителя кафедры славистики Йельского университета. Отличаясь академической строгостью стиля, эта книга в то же время полемически направлена против влиятельной тенденции прочтения Набокова исключительно под углом зрения литературной техники. Анализируя наиболее значительные сочинения писателя — «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар», «Лолита», «Ада» и другие, автор выявляет тесную взаимосвязь эстетики писателя с его этикой и метафизикой. В результате такого подхода Набоков предстает как творец, размышляющий над фундаментальными вопросами человеческого бытия, резко обострившихся в нашем тревожном столетии.

На русский язык перевел книгу Николай Анастасьев — автор единственной пока изданной в России монографии о творчестве Владимира Набокова.

*В. Казак*

## ЛЕКСИКОН РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Первый литературно-биографический справочник (лексикон), специально посвященный русской литературе XX столетия и трактующий ее как единый феномен, независимо от различной территориально-государственной и партийно-идеологической "прикрепленности" писателей, эту литературу создавших. Лексикон содержит около 1000 статей, в том числе, помимо "персоналий" более 100 понятийно-теоретических. Эта книга — плод многолетнего труда известного немецкого ученого-слависта, профессора Кельнского университета Вольфганга Казака.

Альманах  
«МИР ИСКУССТВ»

В альманахе «Мир искусств» Российского государственного института искусствознания публикуются статьи, сообщения, эссе о живописи, архитектуре, музыке, театре, эстраде. Перед читателями предстанет в отдельных фрагментах история искусств от древнейших времен до наших дней. Речь пойдет о художественной культуре Европы, Азии, Америки, Африки. В предлагаемом альманахе читатель найдет портреты выдающихся мастеров прошлого и настоящего, статьи, посвященные общим проблемам истории искусства и отдельным шедеврам, публикации архивных и малоизвестных документов, он узнает о средневековой церковной архитектуре и русской живописи XIX века, о режиссуре Таирова и Витеза, о мексиканской живописи и искусстве китайской каллиграфии, о Бетховене и Бородине, об изобразительном искусстве Древней Индии и творчестве Дали...